

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА
М Е М У А Р Ы

Эрнст фон Вайцеккер

ПОСОЛ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА



ВОСПОМИНАНИЯ
НЕМЕЦКОГО ДИПЛОМАТА

1932–1945

Эрнст фон Вайцзеккер
**Посол Третьего рейха.
Воспоминания немецкого
дипломата. 1932-1945**

«Центрполиграф»

фон Вайцеккер Э.

Посол Третьего рейха. Воспоминания немецкого дипломата.
1932-1945 / Э. фон Вайцеккер — «Центрполиграф»,

В книге представлены воспоминания германского дипломата Эрнста фон Вайцеккера. Автор создает целостную картину настроений в рядах офицерства и чиновников высших государственных структур, а также детально освещает свою работу в Лиге Наций, ведет летопись постепенной деградации общества после победы Гитлера. Высказываясь по всем важнейшим событиям политической жизни, опытный дипломат дает яркие характеристики Риббентропу, Гессу, Гитлеру, с которыми близко общался; его точные зарисовки, меткие замечания и отличная память помогают восстановить подлинную атмосферу того времени.

Содержание

ДЕТСТВО (1882 – 1900)	6
СЛУЖБА В МИРНОЕ ВРЕМЯ В ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ (1900 – 1914)	8
ВОЙНА (1914 – 1918)	17
МЕЖДУ ОКОНЧАНИЕМ ВОЙНЫ (1918) И МОИМ ПЕРЕХОДОМ НА СЛУЖБУ В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ (1920)	29
СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ (1920 – 1921)	32
СЛУЖБА КОНСУЛОМ В БАЗЕЛЕ (1921 – 1924)	34
КОПЕНГАГЕН (1925 – 1926)	38
БЕРЛИН И ЖЕНЕВА (1927 – 1932)	41
ЖЕНЕВА И ОСЛО (1931 – 1933)	54
БЕРН (1933 – 1936)	61
БЕРЛИН (1936 – 1937)	71
ОТСТАВКА НЕЙРАТА, ПРИХОД В МИНИСТЕРСТВО РИББЕНТРОПА (февраль 1938 г.)	79
АНШЛЮС АВСТРИИ (март 1938 г.)	82
Я ЗАНИМАЮ ПОСТ СТАТС-СЕКРЕТАРЯ (апрель 1938 г.)	84
СУДЕТСКИЙ КРИЗИС (лето 1938 г.)	89
МЮНХЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (сентябрь 1938 г.)	100
ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ ПОСЛЕ МЮНХЕНА (осень 1938 г.)	104
БЕРЛИНСКАЯ ЗИМА (1938/39)	108
ЧЕШСКИЙ КРИЗИС И ВТОРЖЕНИЕ В ПРАГУ (март 1939 г.)	114
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ (весна 1939 г.)	120
ФИНАЛ ГЕРМАНО-ПОЛЬСКОГО КРИЗИСА (август 1939 г.)	132
ПОЛЬСКАЯ КАМПАНИЯ (осень 1939 г.)	141
ПОПЫТКА СОХРАНИТЬ МИР (зима 1939/40 г.)	144
СКАНДИНАВСКАЯ КАМПАНИЯ (весна 1940 г.)	150
ВОЙНА ВО ФРАНЦИИ (май – июнь 1940 г.)	154
ПЕРЕД ВОЙНОЙ С РОССИЕЙ (осень 1940 – весна 1941 г.)	161
НАЧАЛО ВОЙНЫ С РОССИЕЙ (1941)	171
ЯПОНИЯ И США ВСТУПАЮТ В ВОЙНУ (декабрь 1941 г.)	174
ВРЕМЯ КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА В ВОЙНЕ (конец 1942 – начало 1943 г.)	179
Я ОСТАВЛЯЮ БЕРЛИН (весна 1943 г.)	186
В ВАТИКАНЕ (1943 – 1945)	188
СОЮЗНИКИ В РИМЕ. ПЕРЕЕЗД В ВАТИКАН (лето 1944 – весна 1945 г.)	197
КОНЕЦ ВОЙНЕ (весна 1945 г.)	202
ПРЕБЫВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ГОСТЯ В ВАТИКАНЕ.	205
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (1945 – 1947)	

Эрнст фон Вайцзеккер
Посол Третьего рейха
Воспоминания немецкого дипломата
1932 – 1945

Охраняется Законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

ДЕТСТВО (1882 – 1900)

Рассказывают, что, когда я родился, мой отец воскликнул: «Начинается серьезная жизнь, Эрнст!» Поскольку я был вторым сыном, мои родители сразу же решили меня назвать Эрнстом. Тогда, в начале восьмидесятых годов, мой отец занимал должность всего лишь младшего чиновника в Вюртембергском департаменте юстиции и зарабатывал жалкие гроши, но, похоже, нас это вполне устраивало.

Моя семья жила на улице Александра, дом двадцать, совсем рядом с местами, описанными в начале стихотворения Шиллера «Прогулка», – домом в предместье Штутгарта, откуда открывался вид на всю долину. В доме всегда имелось достаточно еды, так что однажды королева Вюртемберга (Вюртемберг был в 1871 году включен в Германскую империю на правах королевства, существовавшего до 1918 года. – *Ред.*) остановила нашу няню Луизу Шеллинг, гулявшую со мной в саду, чтобы спросить у нее: «Чем же вы кормите это дитя?»

Луиза, как мы всегда называли ее, была дочерью крестьянина из Нерена близ Тюбингена и относилась к тем людям, кто воспринимает мир в категориях добра и зла. Она прожила в доме моих родителей сорок два года и нянчила меня с самого начала, за что следует воздать должное как ей, так и моей матери. Всем сердцем она согласилась с моим выбором жены, но покинула наш дом, как только объявили о нашей помолвке.

Вспомню еще об одном моем преданном друге. На первом этаже нашего дома на улице Александра жил мальчик моего возраста по имени Куно Пробст. Его семья относилась к ревностным католикам, поэтому с раннего возраста мы привыкли уважать чувства тех, кто придерживается иного вероисповедания. Когда в 1915 году Куно был убит на русском фронте, оказалось, что он завещал нашему сыну Карлу Фридриху 200 марок, которые следовало выплатить по достижении совершеннолетия. Так что и спустя много лет Куно продолжал оставаться нашим добрым старым приятелем.

Когда я был ребенком, дифтерия считалась одним из самых опасных заболеваний, ибо сыворотку для ее лечения еще не открыли. Один из моих товарищей даже умер от этой болезни, и сам я тоже заболел. Доктор посчитал, что я уже приговорен, но моя мать не смирилась с этим. Я до сих пор отчетливо помню, как она не отходила от моей кровати, наблюдая за мной и заставляя полоскать горло. В конце концов она оказалась права и я выздоровел.

После двух лет пребывания в начальной школе я отправился в грамматическую школу, или Гимназию Людвиг Эберхарда. Она считалась одной из самых уважаемых в Вюртемберге. Наверное, Цицерон, Цезарь и Гораций заплакали бы от умиления, узнав, с каким прилежанием вбивались их сохранившиеся творения в наши юные швабские головы. Однако сам я никогда не жалел о затраченных мною усилиях, даже находясь в совершенно иной среде и проходя службу в военно-морском флоте, где стал заниматься точными науками и современными языками.

Путь в нашу школу пролегал через Старый и Новый замки. Поэтому четыре раза за день и примерно десять тысяч раз за всю мою школьную карьеру я оказывался в центре нашего маленького государства. Популярность короля Вильгельма Вюртембергского была поистине всенародной. В связи с его двадцать пятым юбилеем социал-демократы написали в своей газете *Stuttgarter Tagwacht*, что, хотя в принципе они являются сторонниками республики, тем не менее, если бы им предоставили право выбора, они оставили бы нашего короля в качестве президента.

Нам же, школьникам, было известно, что существует и парламент, поскольку мой дед Вайцзеккер в течение многих лет исполнял обязанности канцлера Тюбингенского университета и представлял университет во второй палате парламента в Штутгарте.

Наш дед был сыном священника из Эрингена и зятем пастора из Дерендингена, что в окрестностях Тюбингена, и сам был богословом и евангелистским священником. Правда, в семейном кругу он никогда не проявлял свои религиозные убеждения. Внуки проводили с дедом каждое лето, наслаждаясь оказываемым ему окружающими почтением.

В памяти моей матери сохранилось много воспоминаний о Тюбингене, поскольку ее отец, Виктор фон Мейбом, был профессором права в университете. Поскольку он происходил из Гессен-Касселя, а учился в университете в Ростоке, ему вряд ли предложили бы кафедру в Швабском университете, если бы уже тогда фон Мейбом не прослыл выдающимся ученым. В 1866 году мои деды придерживались одинаковых политических взглядов, в глубине души ни тот ни другой не был на стороне Австрии и поддержавших ее в войне против Пруссии государств Южной Германии (войну Австрия проиграла, и гегемония среди германских государств перешла к Пруссии. – *Ред.*). Именно в Тюбингене и познакомились мои родители.

Итак, начиная наше повествование, заметим, что мир в те годы вращался для нас вокруг Штутгарта и Тюбингена, нашего маленького столичного городка, и находящегося в нем университета.

В нашей семье слово отца было законом, и я охотно подчинялся его веселой высшей мудрости. Он часто оживлял разговор своими едкими замечаниями о поведении людей, усиленными его швабским диалектом. Главным событием юности отца было основание Империи. Поэтому в семье ежегодно отмечалась годовщина боя при Шампиньи-сюр-Марн, близ Парижа, где в декабре 1870 года моего отца ранили и даже оставили на поле боя, считая умершим. Несмотря на случившееся, он не испытывал ненависти по отношению к французам и часто приводил слова женщины, в чьем доме его разместили на постой: «Oh, quel malheur pour nous et pour vous et pour tout le monde!» {Какое же несчастье для нас, для вас и для всего мира эта война! (*фр*) (*Здесь и далее примеч. пер.*)}

Мой дед Вайцзеккер также приветствовал образование Германской империи (с 1871 года) как исполнение его желаний. Но для нас, его детей, выросших в Штутгарте, империя всегда воспринималась как нечто незыблемое. Среди книг нашей библиотеки, уничтоженных во время английских бомбардировок в 1943 году, был один из первых экземпляров Гражданского кодекса 1900 года, поскольку мой отец участвовал в создании этого документа, утвердившего немецкое единство.

Неуклонно приближалось время, когда мне следовало выбрать будущую карьеру. Почему я, человек глубоко сухопутный и несведущий в морском деле, решил связать свою судьбу с морем? Мое представление о море ограничивалось наблюдением за сплавом стволов деревьев, срубленных в Шварцвальде, по реке Неккар, впадающей в Рейн; дальше их транспортировали к морю.

Во время обучения на третьей ступени грамматической школы мне удалось решить несколько математических задач, считавшихся необычайно сложными. С того времени все решили, что у меня имеются математические способности, впрочем, и я сам думал так же. Я специализировался в алгебре, геометрии, науках и современных языках. Очевидно, что я не был лишен и военных способностей. Казалось, все указывало на то, что я могу стать морским офицером.

Я легко принял решение уехать из Вюртемберга и служить Империи. Как сына шваба-протестанта и гессенской матери, меня тянуло в широкий мир. Возможно, существовали и более глубокие причины (о которых я в ту пору не подозревал), которые и привели меня в императорский военно-морской флот. Итак, в один из первых апрельских дней я покинул родные пенаты, отправившись в Киль, и именно там мне было суждено впервые увидеть море.

СЛУЖБА В МИРНОЕ ВРЕМЯ В ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ (1900 – 1914)

Наверное, мой отец предпочел бы видеть меня армейским офицером. Он говорил, что именно пехота решила судьбу Германии в последней войне (Франко-прусская война 1870 – 1871 годов, в которой прусская пехота, несмотря на очень тяжелые потери от огня французских митральез и игольчатых ружей Шасспо, выполняла поставленные командованием задачи. – *Ред.*). Однако он согласился с моим выбором карьеры и даже лично представил меня высшему командованию в Киле. В то время военно-морской флот переживал время расцвета. Лучше других родов войск он выражал единство империи, поскольку здесь сплавлялись воедино представители всех земель страны. Поэтому мы, младшие офицеры, быстро стали одной командой, и, пожалуй, больше никогда в жизни мне не довелось встретиться с таким чувством товарищества.

Я ощутил флот своим родным домом, близким мне по духу, гораздо быстрее, чем смог привыкнуть к северогерманскому наречию. Суровость военной службы почти не досаждала мне, но я совершенно не понимал плоские сальные шуточки, хотя северогерманский диалект и был родным для моей матери.

Однажды ясной средиземноморской ночью, когда я нес вахту на учебном корабле «Шарлотта» и не смог назвать звезду, штурман выпалил: «Вам бы оказаться на Луне!» Но я не был поклонником Жюль Верна и не оценил скрытый смысл его фразы.

Впрочем, репутация меня мало волновала. Со временем я понял, что в силу своего швабского характера нередко забывал о субординации, недостаточно дистанцируясь от подчиненных или когда слишком хвалил их.

В гимназии я твердо усвоил принцип «*In dubio abstine*» («Сила в сомнении»), поэтому никогда не отличался решительностью. Став же офицером, я начал придерживаться принципа: «Всегда действуй. Лучше поступить неправильно, чем бездействовать». Только гораздо позже мне довелось на собственной шкуре понять, к чему может привести такая «активность» и фанатизм. Пока же я отказывался руководствоваться только порывом, продолжая надеяться на разум. В юности жизнь протекала для меня относительно гладко.

Молодой офицер гораздо меньше задумывается о себе, чем его гражданский сверстник. Вся его жизнь жестко регламентирована уставами и наставлениями, так что приходится только подчиняться командам. Какая-либо инициатива или стремление занять определенную должность недопустимы. Следует подчиняться решениям вышестоящих офицеров и стараться не задумываться о своей судьбе. В моем случае подобная выдержка сыграла мне только на руку.

Вскоре сбылось мое желание увидеть чужие страны. За пять лет службы мне довелось много плавать по Мировому океану, побывать на Дальнем Востоке, в Индии и в Северной Африке. Служба заполняла все время, за исключением кратких стоянок в портах. Правда, далеко не все горели желанием сойти на берег и увидеть что-то новое. Мне довелось встречать многих путешественников, которые в конце своего жизненного пути совсем не сгорали от любопытства и не стремились увидеть еще одну достопримечательность. Мы же пока не были обременены подобным чувством.

Мне трудно выделить, что больше всего поразило меня: может быть, это была мрачная грандиозность фьордов Норвегии, яркие краски Средиземноморья, оживившие мое воображение и напомнившие обо всем, что я изучал в школе о Римской империи, Греции и Египте, или колониальная жизнь в Германской Восточной Африке (современные Танзания без Занзибара, который был английским, Руанда и Бурунди. – *Ред.*), яркие тропики Голландской Вест-Индии, своеобразное очарование императорской Японии или спокойствие и неторопливость Китая.

Когда-то родители устроили для меня частные уроки акварели. Именно благодаря им я не уставал восхищаться представавшими передо мной в этих путешествиях пейзажами, были ли это темно-синие воды бурного Бискайского залива, где солнце играло на гребешках волн, или великолепная игра красок на скалах Гибралтара, в Неаполитанском заливе, храме Ахилла в Корфу, Пик (видимо, господствующая над гаванью гора Даушань, 957 метров. – *Ред.*) в Гонконге или вулкан Ундзен, расположенный неподалеку от Нагасаки (40 с лишним километров к востоку, 1359 метров над уровнем моря. – *Ред.*).

Какое же удивительное разнообразие впечатлений мне довелось пережить – от призрачных поблескиваний северного полярного сияния до тропического великолепия восхода солнца, поднимающегося над долиной Брахмапутры близ Дарджилинга, когда в утреннем тумане вырисовываются громады вершин Гималаев.

Я не получил достаточно разностороннего образования, чтобы судить о великих архитектурных постройках. И тем не менее они отчетливо встают в моей памяти, когда я пишу эти строки. Я вижу величественный и изысканный дворец-крепость Альгамбра в Гранаде, возведенный в XIII – XIV веках маврами в самом центре завоеванной ими пятью веками ранее Андалусии.

Императорский дворец в восточной части Пекина, окруженный мощными пологими стенами, Великая Китайская стена, по сравнению с которой Стена Аврелиана (оборонительная стена вокруг Рима, увеличившая его защищенную площадь в III веке н. э. – *Ред.*) в Риме казалась простой забавой. Храмы и дворцы Пекина поразили меня своим благородством и грандиозностью, восхитительными линиями и пропорциями. Сначала китайское искусство и архитектура показались мне менее значительными, чем японские (японские архитектура и искусство вторичны и развились под влиянием Китая; так, столица и первый настоящий город Японии Нара был построен в 710 году по образцу китайской столицы Чанъаня. Лишь много позже японская культура стала приобретать самобытные черты. – *Ред.*), но спустя некоторое время они все более поражали меня, удивляя великолепным вкусом и безукоризненным чувством пропорций. От них веяло особым внутренним спокойствием, которое свойственно только древним памятникам.

Иногда я даже сомневался, справедливо ли мы навязываем свою западную культуру Дальнему Востоку, должны ли мы посылать туда наших христианских миссионеров, которые далеко не всегда соответствуют своей высокой миссии.

Именно в то время я впервые познакомился с жизнью императорского двора. Двери во дворец открылись после того, как на наш крейсер «Герта» поступил третий сын кайзера принц Адальберт Прусский. Самым примечательным нам показался прием, устроенный императрицей в Запретном городе Пекина. При дворе последней маньчжурской императрицы (Цыси, р. 1835, правила фактически с 1861 по 1908 год; через три года после ее смерти революция 1911 года свергла власть маньчжурской династии Цин, правившей в Китае с 1644 года, в лице малолетнего императора Пу И. – *Ред.*) царил жесткий средневековый этикет. В ее присутствии все, даже послы, были обязаны вставать на колени. Лицо императрицы было покрыто гладким слоем краски, на котором отчетливо выделялись глаза. Рот казался таким большим, что мой приятель Рабе фон Паппенгейм прошептал мне: «Она может целиком съесть стебель спаржи».

Многокомпонентная и торжественная процессия следовала из одних ворот в другие, из комнаты в комнату, одни приветствия сменялись другими, в прием входил и завтрак. Когда он подошел к концу, я заметил, как по сигналу главного лакея официанты собрали наполовину полные фужеры с шампанским и перелили их содержимое через воронку в пустую бутылку. Вернувшись домой, я рассказал об увиденном королю Вюртемберга, пригласившему меня отобедать с ним и поделиться своими впечатлениями. Он рассмеялся и предложил своему управляющему подумать над столь передовой методикой.

С тех пор мне довелось побывать при многих дворах: в Сиаме (Таиланде), Греции, Италии, Испании, Германии, Норвегии и конечно же в Берлине. Ни один из них не мог сравниться по величине и великолепию с китайским.

Ту же самую элегантность мы увидели во дворце в Бангкоке, расположенном посреди шумного и элегантного Сиама (Таиланда). Там я был поражен, увидев среди людей в униформе человека в сюртуке. Сиамский чиновник объяснил мне, что это был американский финансовый советник, оказавшийся единственным иностранцем, с чьим мнением здесь считаются. Нам пожаловали орден Белого слона, говорили, что его обладатель получал право приобрести огромное число жен, для чиновника моего класса их число доходило до двух сотен. Думаю, что это всего лишь домысел.

Отчетливо помню одно происшествие. Это случилось в Калькутте на балу, который давал вице-король Индии лорд Керзон. Находившийся в то время в середине четвертого десятка лет своей жизни, Керзон торжественно принимал гостей в огромном зале, где против дверей располагалось возвышение, на котором стояли два трона.

Я подумал, что один из них предназначен для вице-короля, а другой для принца Адальберта. Каково же было мое изумление, когда Керзон предложил второй трон индийскому магарадже, оставив стоять нашего германского принца. На другой стороне зала, полускрытый рядом колонн, засунув руки в карманы, расхаживал взад и вперед мрачный лорд Китченер. Он полагал, что гости здесь явно неуместны.

Больше всего во время моих путешествий я удивлялся размерам Британской империи, самоуверенности ее правящего класса, разбросанности по всему миру британских баз и силе флота, обеспечивающего связь между этими базами. Мы, морские офицеры, чувствовали, что нас гораздо сильнее тянет к нашим приятелям в Британском военно-морском флоте, чем к представителям других наций. Такое отношение друг к другу было взаимным.

Мы, немцы, считали Британский военно-морской флот эталоном боевых качеств кораблей и эффективности обучения экипажей. Нарращивая свою военно-морскую мощь, мы в известной степени готовились к испытанию наших сил, но никак не могли представить, что однажды настанет день, когда мы вступим в реальную войну друг с другом.

В то время германский флот называли Флотом риска, рассматривая его как защиту от любых непредвиденных случаев. Правительство считало его гарантом нашей сильной, но мирной внешней политики и процветающей внешней торговли.

Жизнь юного германского морского офицера тех дней, если он действительно был увлечен своей профессией, была беззаботной и искрящейся, как воды Кильского залива, но в то же время суровой и беспокойной, как штормовое море. Не стоит и говорить, насколько ревностно мы относились к своим обязанностям. И горе было тому молодому человеку, который думал иначе, для которого морская жизнь ничего не значила. Мы полностью отдавались службе, вдохновленные тем, что именно развивающийся военно-морской флот считался воплощением величия Германской империи и ее главным символом. Особая любовь кайзера к флоту переполняла нас гордостью. Рейхстаг выделял огромные суммы на вооружение флота и строительство новых кораблей. Правда, более консервативно настроенные политики сомневались в необходимости подобных трат, когда на флот уходила половина военного бюджета.

Могла ли империя вынести подобное двойное бремя? Конечно, мы не испытывали недостатка в вооружении, все зависело от количества оружия нашего вероятного противника и определенного времени, которому мы стремились соответствовать. Германская империя, расположенная в центре Европы, в первую очередь ждала нападения с суши, поэтому армия была обязана находиться в постоянной боевой готовности, ибо нельзя было оставить незащищенным хотя бы кусочек наших границ.

На море мы обладали большей свободой выбора. Чтобы защитить североморское побережье и морские границы, требовался флот больших размеров. Вот что, по крайней мере, думали

жители Великобритании, называя наши боевые корабли «роскошью» или «игрушками Вильгельма».

В самом же флоте не имелось четкого представления о том, как нам следует защищаться в морской войне с Англией. С 1909 по 1913 год флотом командовал адмирал Хольцендорф. Его стратегия заключалась в том, что в случае войны следует вывести большую часть флота через проливы Эресунн (Зунд) и Большой и Малый Бельт, базируясь на Киль на Балтике, а затем заманить превосходящий по численности британский флот, поставив его в сложное положение в незнакомых ему водах. Это был образец оборонительной стратегии, направленной на защиту германского побережья и акватории Балтийского моря.

Однако адмиралы в Берлине придерживались другой точки зрения. Они хотели, чтобы флот базировался в гаванях Северного моря, в так называемом «мокром треугольнике» (военно-морские базы на острове Гельголанд, в Вильгельмсхафене и Куксхафене. – *Ред.*), где можно было создать мощную группировку, достаточную для того, чтобы атаковать Англию, предоставив Балтику самой себе. По сути, то, что они советовали сделать, фактически оказывалось оборонительной, а не наступательной стратегией.

Расхождение во взглядах оказалось настолько непримиримым, что примерно в 1911 году сам кайзер почувствовал, что необходимо собрать адмиралов на совещание. Адмирал Хольцендорф, чьим флаг-лейтенантом я являлся, рассказывал мне, что каждая сторона упорно отстаивала свою точку зрения и угрожала отставкой в случае ее неприятия. Внимательно выслушав собравшихся, Вильгельм II поднялся, отодвинул свой стул от стола и велел главе своего кабинета адмиралу фон Мюллеру через сорок восемь часов доложить о соглашении сторон. Так был достигнут компромисс.

К 1914 году, когда началась мировая война, одержали верх сторонники североморской стратегии. Только в ходе войны выяснилось, что обе точки зрения основывались на ложной предпосылке, что Англия станет осуществлять блокаду наших берегов и проводить наступательные действия с этой целью. Причиной столь фундаментальной стратегической ошибки стало отсутствие традиции стратегического руководства войной на море.

Если бы мы осознали ее до начала войны, то смогли бы избежать соревнования между Германией и Англией в строительстве больших боевых кораблей, да и политическое противостояние наподобие того, что случилось в 1911 году, возможно, протекало бы не так остро, и наши попытки достичь взаимопонимания в 1912 году, вполне вероятно, оказались бы более успешными. В данном случае серьезным противником оказался адмирал Тирпиц, строитель германского флота (Альфред фон Тирпиц (1849 – 1930) – с 1903 года адмирал, с 1911 года генерал-адмирал (гроссадмирал), морской министр Германской империи с 1897 по 1916 год. – *Ред.*). Он яростно сопротивлялся любым попыткам нарушить его кораблестроительные программы.

Тирпиц считался одним из самых выдающихся немецких адмиралов, его патриотизм не вызывал ни у кого сомнения, и все же он был противоречивой личностью. Благодаря своим организаторским способностям он и стал строителем германского флота. Как политик он отличался невероятным честолюбием. Со своей расчесанной на две стороны бородой он казался настоящим морским волком. Тирпиц был также известен как первоклассный агитатор.

Со всей риторической яростью (искусство полемики практически тогда не было известно в правительственных кругах) он играл на романтических настроениях масс. Правда, Тирпиц не был оратором. Чтобы не отстаивать каждый год свою идею строительства флота в рейхстаге, он представил многостраничную программу. Заметим, что Тирпиц заранее отвергал любую критику специалистов. Вот почему никто так и не удосужился разобраться, а сможет ли германский флот выполнить свою задачу, если против него будет задействована вся мощь британского флота?

Очевидно, что и сам Тирпиц не до конца представлял последствия своего решения и тот политический ущерб, которым оно чревато. В соответствии с здравым смыслом Германии следовало забыть о морском соперничестве с Англией и прийти к полюбовному соглашению. Однако Тирпиц отвергал саму постановку такого вопроса, зная, что может рассчитывать на поддержку самого кайзера Вильгельма II, если кто-нибудь выразит сомнения в политической благонадежности его догм.

Поэтому во время обсуждения ни Булов (рейхсканцлер в 1900 – 1909 годах), ни канцлер (Теобальд Бетман-Гольвег, рейхсканцлер Германии с 1909 по 1917 год. – *Ред.*) не высказали никаких возражений. Только Гольштейн (пока был жив) пытался выразить свое мнение. Хорошо известно, что он был убежден, что британский лев и русский медведь не придут к соглашению и не объединятся против Германии. (Присоединение в 1907 году России к англо-французской Антанте и отход от союза с Германией и Австро-Венгрией Италии ознаменовали крах политики Фридриха Августа Гольштейна (1837 – 1909), фактического руководителя (до 1906 года) внешней политики Германии. – *Ред.*)

Командующий флотом Хольцендорф, выступивший на конференции, о которой шла речь выше, был главным оппонентом Тирпица. Как образованный человек, он был врагом всяческих догм и бумажной рутины. Будучи прекрасным оратором, он любил приглашать гостей на свой флагманский корабль, когда происходили маневры флота. Обладая замашками светского льва, он слыл дамским угодником. За несколько лет до описанных мною событий на Дальнем Востоке мне довелось наблюдать за ним на купальном пляже в Циндао, где он учил дам плавать, отдавая предпочтение откровенным купальным костюмам.

Являясь командующим флотом, Хольцендорф больше всего любил давать балы на флагманском корабле. Однажды после одного из таких балов я заметил, как он прощается с гостями на сходящих. Одной из последних оказалась хорошенькая английская девушка. Он сказал ей, что, как главнокомандующий, имеет право поцеловать последнюю даму, покидающую корабль, и как сказал, так и сделал.

Сам кайзер не устоял перед обаянием Хольцендорфа и иногда делился с ним своими самыми сокровенными политическими мыслями. Я жадно впитывал услышанное, если удавалось чести присутствовать при подобных разговорах. Самые яркие воспоминания такого рода относятся к 1912 году, когда однажды новый английский морской атташе, по-моему Вильсон, предложил Хольцендорфу прекратить морское соперничество их стран.

Конечно, в связи с этим встала вечная проблема – поможет ли сокращение вооружений установить добрососедские отношения или приведет к новым проблемам. Лично мне эта идея понравилась, но обе стороны так и не оказали друг другу должного доверия.

Только однажды, еще до начала Первой мировой войны, мне довелось услышать мнение молодых офицеров, что мы ошибемся в выборе своей профессии, если хоть однажды не примем участие в сражении. Вместе с тем ни на одном собрании я не слышал разговоров о войне между Англией и Германией, не говоря уже о том, что кто-то желал такой войны. Короче говоря, готовность пожертвовать своей жизнью ощущалась повсюду, но не наблюдались милитаристские наклонности или взгляд на войну как на приятное приключение. Пишущие о таких настроениях занимаются мифотворчеством.

Все сходились на том, что главное – сохранить в целостности наследство Бисмарка, но не более того. Вопрос об овладении новыми территориями даже не ставился. Рано умерший министр иностранных дел Кидерлен-Вехтер говорил моему отцу, который был его старым школьным приятелем, что не позволит вовлечь Германию в новую войну. Его соображения против войны казались неоспоримыми.

Ганзейские города тогда казались мне воплощением мирной жизни. Однажды Хольцендорф взял меня с собой на завтрак в Гамбург, где мэр города, доктор Буркхардт, и глава пароходной линии Гамбург – Америка Баллин говорили о страстном желании во что бы то ни стало

сохранить мир. Баллин безуспешно пытался воздействовать в этом направлении на кайзера. Позже, в Морском кабинете в Берлине, мне довелось прочитать множество его писем, подтвердивших то, о чем мне довелось слышать.

Германии вовсе не нужно было затевать военные действия. После 1871 года наши границы установились и благосостояние народа стало расти. Когда я ездил домой в отпуск и путешествовал с севера на юг, то мой путь пролегал через процветающую страну с множеством промышленных предприятий, где царили спокойствие и порядок. В мирные годы Германия хорошела год от года.

Что же касается моего дома и моих родителей, то перед ними открывались широкие горизонты. В 1900 году мой отец стал министром культуры Вюртемберга, а чуть позже пожизненным премьер-министром.

Для моей матери закончились хлопоты, связанные с воспитанием детей. Всю жизнь она стремилась следовать принципу, унаследованному от своей матери, которая была родом из Бремена: поступай так, чтобы впоследствии не упрекать себя, относись к другим как к себе. Моя мать обладала способностью ненавязчиво направлять людей на правильный путь. С этого и началась ее вторая, теперь уже общественная карьера. Моему отцу оставалось только признать, что она оказалась прирожденной главной фрейлиной.

Именно в «Уединении», нашем доме, расположенном неподалеку от Штутгарта, в 1910 году счастливый случай свел меня с моей будущей женой Марианной Гревениц. Она мне сразу же понравилась, хотя не могу сказать, что я быстро решился на большее, ведь человека часто влечет не разум, а чувство. Сегодня, спустя много лет, мне кажется, что женитьба была залогом моей удачной карьеры. Большого счастья я не мог пожелать.

Вскоре нам стало ясно, что наши судьбы тесно связаны с моей профессиональной жизнью. Наша свадьба должна была состояться осенью 1911 года. Однако разразившийся летом того же года кризис в Марокко едва не вмешался в наши планы. Во время нашего медового месяца на мысе Куллен мы прочитали в шведской газете о предстоящей войне. В те времена обычно говорили о боевых действиях, происходивших в ходе войны Турции и Италии, позже – о Балканских войнах.

Однако теперь не проходило и дня без того, чтобы даже в светской беседе не прозвучало слово «война». Нам приходилось менять свои взгляды. Сорок лет мирной и стабильной жизни испортили нас. Летом 1914 года я думал, что если мы благополучно преодолели несколько кризисных ситуаций, то справимся и с этой.

На флоте мы постоянно критиковали немецких дипломатов, и я не отставал от прочих. В 1914 году немецкая внешняя политика казалась мне слишком нерешительной, и я думал, что мы далеко отстали от добродушных австрийцев в попытке создания союза с ними. Но легкомыслие Извольского (А.Н. Извольский (1856 – 1919) – дипломат, в 1906 – 1910 годах министр иностранных дел Российской империи, в 1910 – 1917 годах посол в Париже. Действия Извольского – оформление в 1907 году Антанты, в 1908 году (боснийские кризисы – и др. способствовали обострению отношений России и Германии с Австро-Венгрией. – *Ред.*), стремление Пуанкаре (Раймон Пуанкаре (1860 – 1934) – президент Франции в 1913 – 1920 годах. – *Ред.*) к реваншу (за войну 1870 – 1871 годы. – *Ред.*) и *dolus eventualis* {Стремление к сиюминутной выгоде (*лат.*).} Грея (Эдуард Грей, лорд Фаллодон (1862 – 1933) – в 1905 – 1916 годах министр иностранных дел Британской империи. – *Ред.*) привели к тому, что разразилась Первая мировая война, доказавшая неуместность немецкой внешней политики. Совершенно ошибочно представлять кайзера Вильгельма II как «поджигателя войны».

Между 1909 и 1912 годами я часто видел кайзера на флагманском корабле, носящем его имя. В течение года он несколько раз посещал нас, и во время столь важных событий я отвечал за его прием и церемонию встречи, а также присутствовал на обеде. Обычно, завершив

прием пищи, офицеры не расходились, оставаясь за столом, поскольку на корабле не было специального помещения для отдыха.

Разговоры часто продолжались за полночь, и обычно их ход направлял сам кайзер. Он обладал живым умом и хорошей памятью, поэтому любая тема сразу же вызвала у него поток ассоциаций. Обычно он быстро реагировал на реплики собравшихся, слыл прекрасным рассказчиком, причем никогда не допускал критики в чей-либо адрес и говорил всегда аргументированно. Он также редко возражал собеседнику, чтобы ненароком не оскорбить кого-либо.

Когда кайзер посещал наш головной корабль и почти ежедневно позже, когда я уже служил в Морском кабинете кайзера в Берлине, мне довелось познакомиться с множеством военных и политических сообщений, вырезками из газет, в которых Вильгельм II делал заметки на полях. Среди них оказалось множество комментариев по политическим вопросам – собранные вместе, они никак не свидетельствовали о том, что кайзер придерживался определенной точки зрения.

Часто его заметки на полях противоречили друг другу и на одной и той же странице встречались совершенно противоположные мнения. Соответствующие министерства, и в первую очередь министерство иностранных дел, считали эти заметки реакцией на событие, а не прямым указанием или приказом.

Похоже, что и сам кайзер так же относился к своим постраничным записям, намереваясь развить их, когда собирался выразить свое мнение словесно. Вот почему публикация заметок кайзера в собрании документов, появившихся после Первой мировой войны под заглавием *Die grosse Politik* {«Большая политика» (нем.)}, вызвала неадекватную реакцию.

Сталкиваясь с мнением других людей, Вильгельм II всегда чувствовал себя не в своей тарелке. Так, кайзер жаловался, и, возможно, даже был прав, что в 1905 году тогдашний рейхсканцлер Бюлов, которому он сумел возразить, убедил Вильгельма II совершить известный визит в Танжер. Кайзер также утверждал, что в 1896 году его принудили послать «телеграмму Крюгера», вызвавшую столь яростную критику.

Постоянное предпочтение флота другим видам вооруженных сил, возможно, объяснялось тем, что в жилах Вильгельма II текла английская кровь. Находясь на флагманском корабле, кайзер был свободен от ограничений, которым был вынужден подчиняться на суше. В частности, здесь он не должен был рабски следовать предписаниям главного церемониймейстера. «Здесь я сам решаю, что делать», – сказал Вильгельм II однажды, находясь в Согне-фьорде (Норвегия), когда, нарушив все планы, оправился в путешествие на своей яхте «Гогенцоллерн».

Во время своих ежегодных круизов в северных водах кайзер не допускал на борт женщин и вообще не позволял им играть значимую роль при дворе. Хотя при мне Вильгельму II уже было за пятьдесят, было заметно, что он все еще не обтесался, проведя большую часть своей молодости на офицерских пирушках, а не в семейном кругу или среди гражданских лиц.

По мере количественного увеличения флота возрастало и его влияние на внешнюю политику. Наконец стало ясно, что необходимо разрешить постоянный конфликт между требованиями дипломатов и запросами моряков. Если мы не хотим менять свои планы в отношении флота, то следует улучшить наши отношения с Россией и, в частности, более строго контролировать политику Австро-Венгрии на Балканах.

В противном случае нам следовало прекратить увеличение германского военного флота и попытаться прийти к взаимопониманию с Англией. Однако ни одна из данных альтернатив не была принята. Кайзер так и не решился разрубить этот гордиев узел и, как говорили, сделать канцлером Тирпица. Мне кажется, что, если бы на Тирпица возложили столь ответственные обязанности, он в конце концов пожертвовал бы личными интересами в отношении флота и, сократив кораблестроительную программу, ограничился бы постройкой меньшего количества боевых кораблей, чтобы достичь взаимопонимания с Англией.

Похоже, что и сам кайзер больше всего хотел прийти к соглашению с Англией. Его случайные вспышки связывались исключительно с желанием скрыть свои сомнения. Один из французов даже назвал его Гийомом Робким. На самом же деле Вильгельм II был человеком, отличавшимся благими намерениями и прямым характером. Он был буквально потрясен (что, возможно, объяснялось династическими связями), когда в конце июля 1914 года неожиданно разразилась война.

В его памяти еще были свежи воспоминания о свадьбе дочери, где два иностранных монарха, английский король Георг V и русский царь Николай II, шли по разным сторонам от принцессы Виктории-Луизы в факельном шествии. Легко ли было ему смириться с необходимостью воевать с этими монархами? (К тому же родственниками. – *Ред.*)

В июне 1914 года английская эскадра участвовала в Кильской регате, и, возвращаясь, ее командующий, по-моему, это был Гудноу, телеграфировал немецким хозяевам: «Дружба навек». И как же могли властители Европы нарушить мирные соглашения, если Германия и Англия продолжали оставаться друзьями?

В последние недели июля 1914 года я оказался единственным офицером в морском министерстве на Бендлерштрассе в Берлине. В основном мы занимались кадровыми проблемами флота. Наш начальник, адмирал фон Мюллер, сопровождавший кайзера в круизе по северным водам, поведал мне о его большом беспокойстве. По его словам, Вильгельм II думал о дипломатическом решении проблемы или, по крайней мере, о локализации кризиса в отношениях с Сербией и ни в коем случае не хотел, чтобы противоречия между Англией и Германией разрастались, и вообще не верил, что подобные отношения возможны.

Доказательство я получил в телеграмме, посланной с его яхты «Гогенцоллерн», где кайзер разрешил флоту действовать только против России в Балтийском море и приказал соответственно изменить мобилизационные планы. Только за несколько дней до объявления войны стали ясны намерения Англии вмешаться. Не приходится сомневаться в том, что, если бы сэр Эдуард Грей служил делу мира, он раньше выложил бы свои карты на стол (Грей уже с 1912 года тайно подталкивал свою страну к войне). Но он сделал явно противоположное. Поэтому и случилось, что даже подозрительный немецкий морской атташе в Лондоне незадолго до начала войны сообщал неверные сведения, что после начала военных действий Англия останется в стороне.

Летом 1939 года я привел этот случай как пример излишней секретности, провоцирующей кризис, в ходе беседы с английским послом в Берлине сэром Невиллом Хендерсоном, указав, что опасно, когда одна сторона держится в неведении относительно намерений другой. Я добавил, что, хотя общественные угрозы могут обострить ситуацию, обычно в ходе дипломатических переговоров никто не хочет высказываться первым.

Правда, Хендерсон понял мою точку зрения и постарался донести ее по назначению. И все же в критические дни 1939 года Англия не смогла прояснить свою позицию. В рассмотренном мною втором случае вина легла все же не на Англию, а на германских политиков, отказавшихся верить, что она вмешается. Ведь они видели мир черно-белым.

В описываемые же мной времена день 31 июля обозначил конец имперского Берлина. Ничто не может оправдать так называемую эру Вильгельма, растранившего все достижения Бисмарка. Все произошло из-за недостатка чувства меры во внешней политике, основывавшейся на соображениях престижа, выразившейся в уже описанном мною нелепом соперничестве с британским военным флотом.

Непрочное положение Германии усиливалось ее географическим положением между подозрительными соседями и постоянным недоверием к союзникам. Чтобы сохранить целостность империи и продолжать мирную жизнь, были необходимы опытные правители, умевшие держать ушки на макушке.

В то же время не только верхушка общества, но и все население Германии находилось в состоянии ожидания, поддерживаемого долгими годами спокойной жизни и чувством собственного превосходства. Правда, вряд ли наши английские соперники не обладали теми же самыми качествами и возможностями. Нам недоставало только чувства меры и твердой политической линии как во внутренней, так и во внешней политике.

С другой стороны, государственная гражданская и военная служба являлись воплощением устойчивости и стабильности. В министерствах и администрации работа выполнялась совершенно незаинтересованно, жалованье было скромным, но едва ли кто-либо жил не по средствам. Все пытались сэкономить, чтобы оставить хоть что-то детям и внукам. Мне лично не довелось ни разу встретиться со случаями коррупции. Парламент и неподцензурная пресса осуществляли эффективную систему контроля над всеми государственными органами власти. Ничто не мешало развитию культуры и науки. Мне даже кажется, что общий моральный уровень был выше во времена монархии, чем в период Веймарской республики, не говоря уже об эпохе Гитлера.

ВОЙНА (1914 – 1918)

В день объявления мобилизации я без труда убедил моего начальника, адмирала фон Мюллера, что, как молодой офицер, я не хочу провести всю войну на Бендлерштрассе. Предвидя возможность призыва, я позаботился, чтобы никто не занял только что созданную должность штабного офицера при втором адмирале третьей эскадры линейных кораблей. Мне ее и отдали.

Я распростился со своим братом Карлом, служившим в министерстве иностранных дел, по телефону. Занимая должность советника в дипломатическом корпусе, он скептически относился к войне, был лейтенантом резерва в полку нашего отца, однако, оказавшись в армии, сражался доблестно и храбро.

Спустя пять недель после нашего телефонного разговора мои родители отправились в Сен-Дье в Вогезах, чтобы привезти его тело в Штутгарт, где Карла и похоронили на Пражском кладбище. Он был их первенцем. Я всегда буду помнить, что память о его службе в министерстве иностранных дел позже сыграла свою роль в моем переходе на дипломатическую службу. Имя моего брата внесено в список погибших на войне дипломатов на мемориальной доске, украшающей здание министерства иностранных дел на Вильгельмштрассе. Мой отец так и не оправился после гибели моего брата; он всегда напоминал слова Карла, что войны можно было избежать.

31 июля, через несколько часов после того, как получил необходимые документы, я без сожаления покинул морское министерство. Расставаясь со мной, моя жена вела себя как подбало дочери солдата. Я несколько раз поднял своего двухлетнего сына Карла Фридриха, игравшего на улице, и затем отправился со своим легким летним багажом на станцию, чтобы сесть в первый поезд, шедший в Вильгельмсхафен.

Позвонив со станции жене, я узнал, что почти сразу после моего отъезда нашли давно потерявшийся золотой браслет, подаренный ей в день нашей помолвки, который мы позже заменили похожим. Эту случайную находку мы сочли добрым предзнаменованием.

Поскольку в то время флот уже находился в пути из Киля в заливы Северного моря, я с трудом добрался до места назначения вовремя. В заполненном народом вокзале Лертер я встретил фон Хакстгаузена, личного адъютанта принца Альберта Прусского. Он предложил мне место в салон-вагоне принца, чтобы я смог совершить комфортабельное ночное путешествие в Вильгельмсхафен. Но я извинился и сказал, что если я опоздаю и прибуду на Северное море на час позже намеченного, то разминусь с флотом и не смогу участвовать в ожидаемом морском сражении, после чего уехал на более раннем поезде.

Другие судили о ситуации более спокойно и корректно. Когда стало известно, что английский флот вступил в войну 4 августа, заместитель командира корабля пришел к нам и заявил: «Теперь нужно достать кинопроектор, чтобы команда не скучала». Мы начали осознавать, насколько оказался прав японский адмирал, говоривший нам на основании своего опыта, полученного в Русско-японской войне 1905 года: «Морская битва сама по себе не представляет ничего особенного, невыносимо только ожидание».

В то время командующим немецким флотом был адмирал Ингеноль, которого я хорошо знал, ибо когда-то он был моим командиром на «Герде». Добрейший холостяк родом из Рейнланда, он пользовался всеобщим уважением за самоотверженность, объективность и чувство товарищества. Не питая никаких иллюзий по поводу его способностей, мы верили ему и чувствовали, что сможем хорошо поколотить англичан. Но он оказался слишком дисциплинированным, чтобы стать вторым Нельсоном.

И все же у нашего флота не было собственного боевого опыта (в 1864 году, во время войны с Данией, прусский флот был разбит 17 марта у острова Рюген датским флотом, кото-

рый позже, 9 мая, у острова Гельголанд разбил и союзный Пруссии австрийский флот. – *Ред.*) За свою короткую историю ему пришлось стрелять только на показательных маневрах в иностранных водах, причем наши соперники уступали нам. Поэтому нам и предстояло доказывать свои боевые способности, выступив против англичан, считавшихся первыми в искусстве морской войны.

Еще после первой инспекции в Вильгельмсхафене я написал адмиралу фон Мюллеру, что флот находится в прекрасном состоянии духа. Однако штаб практически не беспокоился о том, чтобы поддерживать этот высокий боевой дух. Наши военные приказы выглядели, грубо говоря, следующим образом: флоту следовало выйти из Гельголандской бухты и попытаться ослабить врага, нанося ему незначительный ущерб. Затем, при равенстве сил, при благоприятных обстоятельствах вступить в сражение.

Таким образом, Балтийское море было оставлено без внимания. После Русско-японской войны мы стали считать, что в русском флоте отсутствует инициатива и должное руководство. Я сам стал свидетелем того, как после сражения 10 августа 1904 года «Цесаревич», получивший только внешние повреждения (большие потери в личном составе команды, включая адмирала Виттефта. – *Ред.*), спустил свой флаг в гавани Циндао (германская военная база в Китае. – *Ред.*) и позволил себя интернировать, вместо того чтобы попытаться прорваться и присоединиться к своему флоту (у «Цесаревича» практически не было выхода – пробиваться в одиночку в Порт-Артур или Владивосток было равносильно самоубийству. – *Ред.*).

В первые несколько месяцев войны германскому флоту никак не удавалось выманить врага и заставить его сражаться в Северном море. Наконец реализация плана заставила нас признаться, что у англичан не было никакой необходимости в блокаде Гельголандской бухты и нашей базы на острове Гельголанд. Выходы из Северного моря через ЛаМанш и между Норвегией и Шетландскими островами были англичанами уже заблокированы обширными сетями с широкими ячейками.

Осознание необходимости выхода в море и вступления в бой близ английских берегов далеко от немецких баз ставило нас в неблагоприятное положение и определенно противоречило нашим стратегическим планам. Все это стало совершенно очевидным после переговоров Ингенюля и морских стратегов из Генерального штаба.

Тем временем наша армия, находившаяся на востоке, была атакована русскими в Восточной Пруссии, на западе она прошла Бельгию и вторглась в Северную Францию. Должен ли был флот бездействовать? Как мне стало известно от друзей, находившихся в морском штабе, адмирал Ингенюль явно страдал от бездействия. Он распорядился, чтобы флот провел несколько вылазок, быстроходным крейсерам предписывалось подойти к английским берегам и подвергнуть их бомбардировке, вынудив врага выйти в открытое море.

Сложность маневров заключалась в том, что большая часть флота продолжала подчиняться главному штабу. Горько сетуя на подобную разобщенность, мы должны были ответить наши тяжелые корабли в бухту Ядебузен (то есть в Вильгельмсхафен. – *Ред.*). Отмечу, что подобные маневры несли в себе известную долю риска, но не более того. Большие расстояния, разделявшие противоборствующие стороны, были на руку не нам, а противнику, который мог добиться «частичного успеха». Впрочем, так оно и случилось 24 января 1915 года.

Группа разведывательных кораблей без прикрытия дошла до Доггер-банки, то есть практически до середины Северного моря. Возможно, англичане разгадали наш маневр, во всяком случае, крейсера были перехвачены превосходящими силами противника. К сожалению, мы потеряли наш броненосный крейсер «Блюхер». Ингенюля сместили с его поста. Новым командующим флотом был назначен адмирал Поль.

Адмирал Поль был уставшим от жизни человеком с морщинистой кожей. Неизлечимо больной раком, он умер через год после своего назначения, разложив боевой дух флота своей апатичностью. В течение всего 1915 года я не припоминаю ни одного успешного действия гер-

манского флота. Время командующего заполнялось составлением записок по поводу морской войны с Англией. Меморандумы, прекрасно оформленные капитаном Михаэлисом, служили оправданием перед вышестоящим начальством, объясняя, почему, несмотря на все усилия, германский флот так и не смог схватиться с английским.

На земле, как и на море, успех немцев зависел от быстроты натиска. Тогда мы не поверили экономисту Хармсу, заявившему, что война должна продолжаться не более трех месяцев, после чего денежные запасы иссякнут. В 1915 году нам казалось, что война может продлиться в течение длительного времени, приведя к истощению основных сил Центральных держав (то есть Германии и ее союзников. – *Ред.*).

Вступление Италии в войну на стороне наших врагов было плохим предзнаменованием. Помню, как весной 1915 года я отправился на прогулку вместе со своим братом Виктором, только что прибывшим в Куксхафен с фронта, и обсуждал с ним вопрос о том, сможет ли монархия устоять в войне. На наши взгляды определенно повлиял мой отец, который даже летом 1914 года полагал, что нам следует как можно быстрее прийти к изменению строя. Он считал, что надо изматывать противника, всячески избегая столкновений с ним. Такие взгляды все больше отдаляли его от сторонников подводной войны с Англией. Но военные авторитеты все больше и больше склонялись в пользу идеи неограниченного использования подводных лодок.

Так обстояли дела, когда флот перешел из рук больного Поля к решительному адмиралу Шееру. В феврале 1916 года Вильгельм II появился в Вильгельмсхафене, чтобы передать Шееру командование флотом. Обращаясь к нам, кайзер высказал надежду, что подводные лодки добьются выдающихся успехов, «когда их будут использовать в полной мере, насколько позволит политическая ситуация». В качестве примера он привел конницу: «Когда-то их обучили атаковать, но сегодня они заняли позиции в траншеях, поскольку новые условия войны оставили кавалерии исключительно вспомогательные функции». Иначе говоря, все свое время.

Его речь никак нас не впечатлила, ибо все и так знали, что Шеер – это не инертный Поль. Известно было множество историй о нем, когда он был еще юным лейтенантом. Старые приятели даже прозвали его Бобом-терьером в связи с тем, что он любил науськивать своего любимого фокстерьера на своих друзей и особенно на их брюки.

Действительно, Шеер отличался живым характером, активным умом и простотой обращения. Правда, облачившись в адмиральский мундир, он приобрел некоторую степенность, сохранив не мешавшую ему жизнерадостность. Когда работа заканчивалась, он вновь был готов наслаждаться жизнью. Будучи противником всяческих схем, он старался каждую проблему анализировать под новым ракурсом. Офицеры его штаба даже прозвали его Primesautier {Импulsiveный (*фр.*)}, ибо нередко он действовал под влиянием порыва. Прежде всего он окружил себя людьми, которых знал и кому мог доверять, такими как Тротта и Леветцов. Поскольку мы с ним были давно знакомы, я снова занял свою старую должность флаг-лейтенанта.

Своей главной задачей Шеер считал возможно быстрое восстановление боеспособности флота. Прежде всего он отменил ряд ограничительных приказов, разрешив командирам свободу маневра. Эта мера позволила провести несколько успешных операций. Конечно, он отчетливо понимал, что его манипуляции вызовут ответные действия со стороны противника. Так оно и случилось в последние дни мая 1916 года, когда к западу от Ютландии, в одинаково удаленном от английских и германских баз районе мы столкнулись со всем английским флотом. Это сражение, вошедшее в историю под названием Ютландской битвы, было серьезным испытанием для каждой из сторон, став величайшим морским сражением в мировой истории.

Тотчас после битвы при Ютландии я составил отчет о том, что видел и пережил на борту флагманского корабля «Фридрих Великий», чтобы потом использовать свои сведения. В последнем предложении описания говорилось: «Провидение было явно благосклонно к нам».

Выходя 31 мая из порта, мы не верили, что повстречаемся с неприятелем. Внимание Шеера было целиком сосредоточено на тривиальном происшествии: он размышлял над укреплением двери на юте, чтобы она не гроыхала, ибо в прошлую ночь грохот мешал ему спать, и он вовсе не хотел, чтобы ситуация повторилась.

Когда я принес ему первое сообщение с дозорного судна о появлении английских кораблей, он отправился на капитанский мостик в спокойном состоянии, сохраняя такое же хладнокровие на протяжении всей битвы. Скоро он перешел из своей стальной конической башни на открытую палубу и оставался там, утверждая, что отсюда лучше видит поле битвы. В этой величайшей в истории морской битве отработанная нами в мирное время манера действовать оказалась весьма полезной.

Когда 1 июня мы вернулись обратно в Вильгельмсхафен, я телеграфировал домой: «Мы довольны своими действиями». На самом деле я еще не понял всей значимости произошедшего. Во время битвы Шеер сказал членам своего штаба: «Если мы проиграем, меня отправят в отставку».

На следующее утро, когда мы узнали о своих потерях, но еще не имели полного представления об ущербе врага (произошло это примерно в четыре часа утра), Шеер сказал мне: «Я пригласил на следующую субботу генерала фон Герингена. Сегодня мне пришлось отменить приглашение». Я же думал совсем о другом и не мог понять, как нам следует оценить исход битвы.

Конечно, не в первый раз противники покидали поле сражения, зализывая раны, не представляя, какого результата на самом деле удалось достичь. Мы искренне радовались, что плохая видимость на море, случившаяся 1 июня, обеспечила нам защиту. Наши самые мощные корабли так серьезно пострадали, что я писал в то время: «Мы действовали единственно возможным путем».

Правда, и наш враг, имевший почти двойное преимущество, пострадал не менее сильно. Когда мы получили достоверные данные о потерях англичан, Шеер подошел ко мне и сказал: «Теперь я не вижу никаких препятствий для того, чтобы после случившегося генерал фон Геринген отобедал с нами. Мы оставим наше приглашение в силе». Спустя несколько часов, когда мы вошли в бухту Ядебузен, по приказу Шеера на корабельный мостик вынесли бокалы с шампанским, и адмирал первым делом помянул погибших. Фактически английский флот потерял вдвое больше людей и кораблей, чем германский. (Английский флот потерял 3 линейных крейсера, 3 броненосных крейсера и 8 эсминцев, 6097 человек убитыми, 510 ранеными, 177 пленными, что составляло 11,4 процента от общей численности личного состава; германский флот потерял 1 линейный корабль (устаревший), 1 линейный крейсер, 4 легких крейсера и 5 эсминцев, 2251 человека убитыми, 507 ранеными, что составляло 6,8 процента от общей численности личного состава. – *Ред.*)

В отправленном кайзеру телеграфном отчете, составленном на борту до вхождения в гавань, содержались только конкретные факты. Широкой общественности не довелось узнать о потере линейного крейсера «Лютцов» и еще одного корабля (устаревшего линкора «Поммерн». – *Ред.*). Позже выяснилось, что умолчание о потерях было ошибкой. О погибших кораблях вскоре стало известно из английской прессы, что снизило впечатление от наших успехов.

Замечу, что и наши противники столь же неумело преподносили новости. Германский отчет о битве был опубликован за двадцать четыре часа до английского, поэтому именно он и вызвал резкую реакцию в мире. Сообщения, которыми разразились английские адмиралы, оказались настолько косноязычными, что Уинстон Черчилль, бывший в то время ни более ни менее как первым лордом адмиралтейства, решил лично доложить парламенту о случившемся. В своей речи он попытался смягчить негативное впечатление, которое произвел рапорт военных.

Сам же я в начале июня еще не понимал, насколько широко впоследствии осветят это событие. Прибывшие в тот вечер две поздравительные телеграммы я счел необязательными, однако на следующей неделе мне пришлось почти непрерывно отвечать на благодарности, направленные в адрес Шеера. Вскоре нас посетил сам кайзер и другие королевские особы.

На одном из вечеров после битвы на нашем офицерском собрании присутствовали прибывшие из Берлина адмиралы. Вскоре заговорили о том, как командующий использует разработки берлинских теоретиков тактики. Когда слово предоставили Шееру, он уже серьезно выпил и сказал: «Моя идея? У меня не было никакой идеи. Я только хотел спасти бедный «Висбаден». И тогда я подумал, что лучше всего будет запустить крейсера на полной скорости. А дальше все случилось само собой, как с девственницей, ожидающей ребенка». На что Хольцендорф ответил: «Но вы должны иметь в виду, Шеер, что кто-то обязан ответить за случившееся с девицей».

В рапорте, составленном мною после битвы, я воздал особые почести в связи с победой капитану фон Левецову и начальнику штаба Тротте. «Нет никаких оснований, – писал я, – пытаться понять, какой части успеха мы обязаны командующему флотом, ибо, взяв на себя ответственность, он действовал в соответствии со своими наклонностями, а не подчиняясь хладнокровному и логически выстроенному плану. Он действовал подчиняясь исключительно обстоятельствам». Если бы Шеер потерпел поражение, то вина была бы полностью возложена на него.

Летом 1916 года – скорее всего, это было примерно 18 августа, после того, как наши корабли оправились после повреждений, причиненных им в Ютландской битве, – Шеер снова повел флот на запад по направлению к Англии. Один из наших разведывательных кораблей столкнулся с врагом. Ошибки в сообщении о положении противника направили флагманский корабль по ложному курсу. Поэтому великая битва не состоялась.

Расстроившись, я писал в конце сентября 1916 года: «Флот упустил предоставившиеся ему благоприятные возможности, имевшиеся в течение первой половины войны, так что теперь едва ли мы сможем наверстать упущенное. Офицеры собираются и говорят только о политике».

Скоро единственной темой стало обсуждение подводной войны. Фактически она стала центральной проблемой нашей военной политики. Гинденбург и Людендорф, как самые влиятельные личности в Германии, несмотря на успехи в наземной войне (осенью 1916 года, после того как фактически захлебнулось германское наступление под Верденом, а союзники осуществили блестящий Брусиловский прорыв и операцию на Сомме, стало ясно, что поражение Германии и ее союзников не за горами, что и произошло, несмотря на события 1917 года в России, лишь оттянувшие неизбежное. – *Ред.*), никак не могли нанести решающий удар против Британских островов.

Поскольку германскому надводному флоту так и не удалось эффективно противостоять британскому Гранд-Флиту, единственной возможностью для Германии оставалось использование подводных лодок. Тем временем совершенствовались и английские оборонительные силы, направленные на защиту от подводных лодок. Но подводная война, которая велась по традиционной схеме (надо было предупреждать, спасать и т. д. – *Ред.*), оказалась недостаточно эффективной, что привело к потере множества подводных лодок.

Для достижения решительных результатов германским подводникам пришлось без предупреждения отправлять на дно любое судно, оказавшееся в британских водах. Однако имел ли такой метод политический эффект, адекватный военному или экономическому ущербу, нанесенному противнику? По этому поводу мнения расходились.

Сторонники неограниченной подводной войны в нашем морском штабе заявляли: «Совсем скоро, возможно уже через шесть месяцев, мы потопим такое количество торговых кораблей с их тоннами грузов, что Англия должна будет капитулировать. Если Америка действительно вступит в войну, ее помощь достигнет Европы слишком поздно».

Сам же я считал, что подобные прогнозы неверны. Проанализировав точки зрения статистиков и суждения более умеренных по взглядам командиров подводных лодок, я пришел к выводу, что нам потребуется не шесть, а не менее восемнадцати месяцев успешных действий подводных лодок, чтобы истощить Англию. Но кто среди нас мог на самом деле гарантировать, что мы выполним поставленную задачу?

Более очевидным для меня казалось, что мы, представители морского флота, не выйдем за пределы наших экспертных и технических рекомендаций и не предпримем никаких подобных действий. Но разве это не могло быть сделано в тот или иной год войны? Думаю, я оказался единственным членом нашего морского штаба, возражавшим против запуска неограниченной подводной войны.

В то время мой отец часто говорил, что, если бы у него были деньги, он построил бы в Вюртемберге сумасшедший дом, чтобы поместить туда всех, кто помешался на подводных лодках. Ту же самую идею он преподнес, правда в более деликатных выражениях, и канцлеру. Фактически тот бросил бразды правления в сентябре 1916 года, оставив выбор за Верховным главнокомандованием армии, судившим обо всем происходящем исключительно с точки зрения военных. 1 февраля 1917 года началась подводная война. В качестве благодарности Бетман-Гольвег получил *сoup-de-grâce* {Последний удар (*фр.*)} спустя несколько месяцев.

Мне довелось находиться в отпуске, когда Михаэлис, ставший новым канцлером, принимая дела, совершал свой официальный визит в Штутгарт. Мы принимали его и развлекали в нашем доме «Уединение». Лучшим свидетельством произведенного на нас впечатления может служить история, часто рассказывавшаяся впоследствии в нашей семье. Моя мать отправилась спать, и ей приснился кошмар, от которого она со страшными мучениями очнулась и закричала: «Только не это!»

Начало революции в России вскоре после объявления неограниченной подводной войны (с 1 февраля 1917 года. – *Ред.*) дезорганизовало некоторых сторонников новой стратегии. «Если бы мы только знали, что это произойдет, – заявляли они, – мы бы не заставили Америку воевать против нас».

Консерваторы считали, что Америка в любом случае выступит против нас. Но кто в самом деле мог в то время доказать подобное? И кто взял бы на себя право говорить о приобретении нового и могущественного противника, обладавшего огромным военным потенциалом? Думаю, что то, что было сделано по отношению к Америке зимой 1916/17 года, повторилось похожим образом в отношении России летом 1941 года.

В первые шесть месяцев неограниченной подводной войны Верховное главнокомандование становилось все более и более пассивным. Летом даже случился небольшой мятеж на одном из кораблей, ставший предвестником того, что случилось осенью 1918 года. Действительно, неприятель нес серьезные потери в тоннаже потопленных нами судов. Но вместе с тем он никак не собирался капитулировать или даже вступать в переговоры.

Тогда я казался штабным *beta noire* {Белая ворона (*фр.*)}, ибо все знали, что я не был расположен к подводной войне. Свое неодобрение я выражал как в своих письмах, так и устно, причем достаточно откровенно. Поэтому я был рад, когда меня направляли с разными поручениями. Так, мне приказали принять участие в рейде крейсеров «Брюммер» и «Бремзе», посланных найти и уничтожить конвой у Шетландских островов. Позже я стал офицером по навигации на броненосном крейсере «Фон дер Танн». К этому кораблю я испытывал особые чувства, поддавшись обаянию его командующего Моммзена, сына известного историка (Теодор Моммзен (1817 – 1903) – историк Древнего Рима. – *Ред.*).

Именно на борту «Танна» мне довелось принять участие в последней дерзкой вылазке под командой Шеера. Правда, несмотря на необычайно благоприятные погодные условия и великолепную видимость, нам не удалось вступить в контакт с врагом. Для меня это был последний поход в открытое море. Вскоре меня снова отозвали в морской штаб.

Когда штаб оказался не в состоянии управлять своими силами в буквальном смысле этого слова, он приступил к реорганизации. Деятельность флота фактически оказалась *raison d'être* { Лишенная смысла (*φρ*). }. Во всяком случае, высшие чины были сокращены под предлогом нехватки кадров для подводных лодок, торпедных катеров и минных тральщиков. Иначе говоря, это были «лейтенанты-командиры», как мы их тогда называли, и война под командованием младших офицеров. Большие корабли использовались только для обеспечения безопасности прохода меньших по величине кораблей через минные поля в Гельголандской бухте.

Мне казалось, что весеннее наступление 1918 года будет успешным. С наших плеч упало бремя войны на Восточном фронте (благодаря Октябрьской революции 1917 года и Брест-Литовскому сепаратному мирному договору, подписанному 3 марта 1918 года ленинским правительством. – *Ред.*). Я по-прежнему надеялся, что наступит компромиссный мир, но после первоначальных успехов (немцы, перебросив с Восточного фронта большие силы, продвинулись на 84 километра) наступление остановилось. Даже оптимисты начали сомневаться в необходимости продолжения военных действий. Полагали, что нам следует изыскать пути и способы экономии наших сил.

Морское командование впервые задумалось о взаимодействии с Высшим армейским командованием, похоже, что и оно озаботилось той же самой проблемой; по крайней мере, в морском штабе заверяли, что в ближайшее время контакт будет установлен. Министерство, которому должны были подчиняться все германские войска, могло расположиться только в Генеральном штабе армии, считавшемся тогда важнейшим правительственным учреждением, включая и ведомство нового государственного канцлера Гертлинга (Георг Гертлинг (1843 – 1919) – рейхсканцлер с ноября 1917 по 3 октября 1918 года. – *Ред.*). Из-за постоянно утомленного выражения лица военные прозвали его «пятиминутным прожектором», по аналогии с прибором, который включался только на пять минут.

Учреждение военно-морского министерства означало упразднение Генерального морского штаба в адмиралтействе штаба и его главы – моего старого начальника Хольцендорфа. По отношению к нему это оказалось даже справедливым, поскольку в то время Хольцендорф страдал от тяжелого недуга, который вскоре свел его в могилу. Ему нужен был добрый друг, в котором всегда нуждается человек, занимающий высокое положение, и которому уже было далеко за шестьдесят. Именно такой друг и мог открыто сказать Хольцендорфу о том, что пришло время его добровольной отставки.

Волей обстоятельств именно мне пришлось выступить в роли такого доброжелательного друга. Исключительно по своей собственной инициативе и полагаясь на те добрые чувства, которые он всегда питал ко мне, я написал ему, что в связи со сложившимися обстоятельствами и исключительно в его интересах было бы хорошо, если бы он оставил свой пост. Не знаю, удалось ли мне найти подходящие слова. В любом случае уверен, что Хольцендорф должен был видеть в моей записке только дружеское послание. Вскоре после этого мы обсуждали сложившуюся ситуацию в Спа. Хотя адмирал продолжал вести себя в своей традиционной старомодной манере, дружеские отношения между нами никогда больше не восстановились. Все же я навсегда сохраню в памяти благодарность по отношению к нему.

Именно в Спа расположилось только что сформированное министерство, которому предстояло управлять войной на море. Я же был назначен на должность офицера связи в штабе Гинденбурга (Пауль фон Гинденбург (1847 – 1934) – генерал-фельдмаршал (1914), с августа 1916 года – начальник Генштаба, с 1925 по 1934 год – президент Германии. – *Ред.*). До этого мне не доводилось встречаться с ним. Отправившись с докладом в его выдвинувшийся вперед штаб в Авене, я увидел его выходящим из скромной виллы, находившейся там же. Его мощная фигура заполнила весь дверной проем, и я был буквально потрясен его запоминающейся внешностью. Позже мне казалось, что к его достоинствам как раз и относится впечатление, какое он производил своим появлением.

В тот же вечер я занял свое место в штабе Гинденбурга. После обеда фельдмаршал пригласил меня и другого морского офицера, капитана фон Бюлова, на личную беседу. Вскоре мы перешли к крайне важной теме, связанной с влиянием морских сил на ход войны. Несмотря на питаемое нами обоими уважение к нашему хозяину, мы вскоре начали спорить, и Гинденбургу пришлось признать, что именно английские морские силы способствовали поражению Наполеона.

Возможно, из-за голубой морской формы в Генштабе меня долго считали чужаком. Самой благоприятной рекомендацией оказалось то, что я был зятем генерала Гревеница, в течение нескольких лет бывшего военным представителем Вюртемберга в Генштабе. Он пользовался особым уважением у Гинденбурга, хотя и относился к высшей аристократии.

Сам же я заступил на свою новую службу в неблагоприятный момент. Несмотря на весь героизм, проявленный командами, использование подводных лодок оказалось неудачным, или, если говорить конкретно, они не смогли предотвратить высадку американского контингента в Европе. Так случилось, что моим первым днем в Авене стал день 8 августа 1918 года, когда армии было суждено последний день наступать на Западном фронте. (Если точнее, 8 августа – день, когда германская армия лишилась последних надежд на наступление, поскольку союзники остановили германское наступление еще 17 июля на Марне («вторая Марна»), а 18 июля – 4 августа отбросили немцев к северу, на линию Фонтенуа – Суасон – Реймс. 8 же августа началась Амьенская операция (8 – 13 августа) союзников, в ходе которой выявился надрыв боеспособности немцев, истощение германской армии и утрата всякой надежды на победу. 8 августа англичане и французы, поддержанные 511 танками, продвинулись на глубину до 11 километров, взяв в плен 16 тысяч немцев и захватив 400 орудий. Многие немецкие штабы дивизий были захвачены врасплох прорвавшимися танками. 8 августа Людендорф назвал «самым черным днем германской армии в истории мировой войны». – *Ред.*)

С того дня мы постоянно отступали. Три месяца моей службы были наполнены горестными воспоминаниями. Тогда второе печальное событие летом поразило мою семью. Мой шурин Рихард пал смертью храбрых вместе со своей батареей, незадолго до этого его брат Карл утонул со своим торпедным катером в Северном море. Третий брат Фриц был серьезно ранен, впоследствии он увековечил своих братьев в поэзии и живописи.

Моя комната в Авене располагалась прямо под кабинетом Людендорфа (Эрих Людендорф (1865 – 1937) – земляк (оба родились в Познани и рядом) и непосредственный помощник Гинденбурга; с августа 1914 года фактически руководил действиями германских войск на Восточном фронте, а с августа 1916 года, став генерал-квартирмейстером Верховного главнокомандования германской армии, – действиями всех вооруженных сил страны. – *Ред.*). Неудачная конструкция дома позволяла услышать все, что говорилось в комнатах, расположенных наверху. Даже не желая того, я мог нечаянно услышать беседу генерала по телефону. Я также пристально наблюдал за тем, как он управлял действиями наших войск на Западном фронте. Очевидно, что эта ноша оказалась для Людендорфа слишком обременительной. Штаб нередко критиковал его действия. Впрочем, никто не оспаривал феноменальную работоспособность Людендорфа и быстроту принятия им решений.

Один из наших ассистентов майор Герман Гейер, мой приятель с детских лет, рассказал мне следующую историю, проливающую свет на характер Людендорфа. Тогда Гейер разрабатывал для генерала весьма многословную директиву по тактике оборонительного боя. Сначала Людендорф колебался, стоит ли ему подписывать этот документ, тогда Гейер объяснил ему, что инструкция неплоха и что нужно только, чтобы кто-нибудь принял на себя ответственность. При слове «ответственность» Людендорф тотчас схватил ручку и подписал требуемое.

Именно благодаря моему другу Гейеру, чей ум Людендорф назвал в своих мемуарах «острым как бритва», я смог совершить несколько поездок на фронт. Увиденное мною, в том числе царившее в войсках настроение, убедило меня в том, что конец войны не за горами. Однако

труднее было преподнести это третьей стороне – командирам нашей армии, нацеленным только побеждать.

Размышляя сейчас, я задаю себе вопрос: разве это не было лучшим временем для наших миротворцев? Что касается министерства иностранных дел, то оно уже сделало шаг в этом направлении. Новый министр Гинце с самого начала придерживался той же точки зрения, что и его предшественник Кульман. Однако, как и его предшественник, он не смог переубедить армейское командование в Спа.

В то время многие говорили о необходимости смены канцлера, в числе возможных кандидатов на этот пост несколько раз упоминали имя моего отца. Сам он возражал против этой идеи, вероятно, из-за внутренней политической ситуации в Пруссии, от которой он дистанцировался как вюртембержец. Кроме того, он четко понимал, что даже в вопросах, связанных с мирной политикой, он, став канцлером, очень скоро станет зависеть от мнения ведущих генералов. Поэтому в качестве канцлера его влияние на иностранную политику окажется только эфемерным и бесполезным. Действительно верно, что в то время германскую политику определяли именно военные руководители.

Правда, сомнительно, что военными методами можно было добиться эффективных результатов в политике. Хотя все происходящее в штабах в описываемое мною время напоминало падение в пропасть, оно оказалось лишь частью предрешенного хода истории. Конец уже был известен. В данной исторической драме актерам приходилось только играть уготованные им роли. Пытаясь сохранить свое достоинство, они никак не могли изменить ход событий.

Принимались трудные, мучительные решения как военного, так и политического характера. Спокойствие Гинденбурга, остававшегося на своем посту, и его отношение к интригам стали примером для всех нас. Я никогда не видел, чтобы он пытался переложить на кого-либо свою ответственность за происходящее. Гинденбург практически не реагировал и на ошибки других, оставаясь верным своим принципам до конца, даже когда в стране началась революция и в Спа появились грузовики, набитые солдатами с красными флагами. Похоже, что и Гинденбург, и его собственный штаб не понимали серьезности происходящего.

После того как я пробыл в штабе в течение двух или трех недель, я заметил, что не могу определиться с собственной точкой зрения, «хотя мне неловко видеть, как за столом оказывают больше уважения Людендорфу». Как человек со стороны, я поддался обаянию Гинденбурга, более беспристрастно, реалистично и спокойно воспринимавшего все происходившее в эти критические недели, чем Людендорф. Он все время пытался вмешаться, предлагал решительные действия, выпуская свою неумную энергию.

Каждый вечер после обеда, между половиной девятого и девятью, происходило обсуждение военной ситуации. Людендорф часто вклинивался в обсуждение, в то время как Гинденбург предпочитал слушать, лишь изредка вставляя свои военные или стратегические замечания. Его мышление отличалось простотой и прагматичностью, а поведение соответствовало движению мыслей. Кроме того, Гинденбург отличался врожденной скромностью и не обладал никакими амбициями.

Позже один американский политик сказал мне, что Гинденбург казался ему «коварным старцем». Я же увидел в нем обыкновенного прусского аристократа и офицера. Никогда не замечал, чтобы Гинденбург проявлял интерес к политике. Он и внешне выглядел как воплощение традиции, которая определила великий период империи. Возможно, всему этому Гинденбург и был обязан своей победой над парламентариями во время выборов президента. Народные массы Германии воспринимали его не как генерала, проигравшего на Западном фронте, а как спасителя Восточной Пруссии и победителя при Танненберге (имеется в виду поражение, нанесенное в августе 1914 года 2-й русской армии генерала Самсонова в ходе Восточно-Прусской операции 17 августа – 14 сентября 1914 года. – *Ред.*).

Требования прекращения военных действий в течение двадцати четырех часов, возрождение надежды вместе с призывом к *levee en masse* {Подъем масс (*фр.*)}, поездка в Берлин, закончившаяся отставкой Людендорфа, – все это полностью соответствовало темпераменту Людендорфа. Конечно, было больно наблюдать за этими событиями с такого близкого расстояния, особенно возвращение из Берлина в Спа, когда салон-вагон Людендорфа, по его собственному желанию, был отцеплен от поезда фельдмаршала Гинденбурга. Однако, несмотря на конфликт между ними, Гинденбург знал, что Людендорф останется верным ему, несмотря на все трения, и сохранял стоическое спокойствие, напоминая памятник.

Мои симпатии оставались на стороне Гинденбурга, как человека, который принял на себя ответственность, в то время как мои сверстники в оперативном отделе Генштаба склонялись в сторону Людендорфа, с которым они так интенсивно работали в течение многих лет. За три месяца, проведенные в Авене и Спа, я так и не смог завоевать доверие Людендорфа и обсуждать с ним какие-либо серьезные проблемы.

Положение «офицера связи» оказалось двояким. Что касается личного аспекта, то моя позиция позволила мне завязать новые знакомства, в то же время я смог наблюдать за людьми во время работы, и все они оказались превосходными специалистами. Ни в одной стране не могли похвастаться таким высокопрофессиональным штабом, как созданный Гинденбургом и Людендорфом.

К сожалению, в политической сфере ничего подобного не было, что имело свои негативные последствия. Верховное главнокомандование приобретало все большее влияние во внутренней и внешней политике. Оно, не колеблясь, взяло на себя ответственность за решения, не имея представления о последствиях и не будучи способным осуществлять контроль за происходящим. Фактически в 1914 – 1918 годах нам не удалось решить проблему взаимопонимания «государственных мужей и генералов».

Вероятно, эту проблему должен был разрешить Вильгельм II, но по мере развертывания военных действий он становился все более и более пассивным. В конце сентября 1918 года он сказал Шееру: «Людендорф и Гинце доложили мне, что армия истощена и нам необходимо заключить мир. Я проиграл войну. Но мой народ сражался превосходно...»

Несмотря на всю преданность Гинденбурга, кайзер оказался одним из тех, кого армейское командование отстранило от дел. В заключительные недели, когда кайзера видели за его столом в царском поезде, перемещающимся в Спа, создавалось впечатление, что монархия уже закончила свое существование и только решительные действия могли изменить сложившуюся ситуацию. Однако никто в окружении кайзера так и не смог принять такие решения.

В то время я считал, что кайзер или отправится в Берлин, чтобы отстаивать свои права, или падет от вражеской пули на фронте. Принятое им решение привело к печальным годам изгнания. Перед отъездом к голландской границе Вильгельм II пригласил на обед весь штаб Гинденбурга. Нам уже было известно о тайных намерениях кайзера уехать в Голландию, так что происходящее воспринималось болезненно. Вильгельм II приехал, вел разговор о пустяках и покинул нас, произнеся на прощание свои традиционные пожелания. Больше мне не довелось свидеться с ним.

Среди морских офицеров, находившихся в министерстве в Спа, предназначенном для организации военных действий, возникла полемика на тему, стоит ли нам следовать за кайзером в связи с его отречением от престола. Проблема разрешилась простым и естественным образом. Я доложил Шпееру, что Гинденбург намерен отвести армию в Германию – после того, как кайзер освободил вооруженные силы от присяги его императорскому величеству.

Руководствуясь благими намерениями, человек всегда склонен оценивать правящую систему более критически, чем оппозицию, и эта критика оказывается еще более серьезной, когда сам оказываешься частью этой системы. Раздраженный, злящийся на тех, кто упустил

бразды правления империей Бисмарка, я отправлялся в одиночные прогулки по прекрасным осенним лесам Спа, пытаюсь обрести душевное равновесие.

Сегодня вновь принято скептически относиться к образованию империи в 1871 году. Сам же я понял в 1918 году, что существуют более глубокие причины, объясняющие «попытки немецких *parvenu* {Выскочка (нем.).} вмешиваться в мировую политику и в противоборство с Англией», вместо того чтобы укреплять безопасность империи на континенте. Так я размышлял над тридцатью годами эпохи Вильгельма II (правил с 1888 по 1918 год. – *Ред.*). Впрочем, за нашим совещательным столом отказывались принимать уроки прошедшей войны, показавшие, что Германии следует проводить более умеренную внешнюю политику, основанную на идеях международного сотрудничества.

Встречались и те, кто предвидел приближающуюся катастрофу. Хотя война все еще продолжалась, одним удалось понять это раньше, другим позже. Со временем оказалось, что храбрость наших солдат означала всего лишь продление агонии. В последний период войны многие мечтали только о скорейшем конце войны, чтобы избежать дальнейших потерь людей и техники.

Можно ли обвинять тех, кто дома нанес «удар в спину», что они были виновны в нашем поражении? Если бы не случилась революция, как долго могли терпеть голодные люди в тылу и измотанные войска на фронте? Несмотря на весь свой героизм, немцы были накануне полной блокады, а потенциал врага казался неистощимым.

Можно не поддаваться обаянию красных флагов, но нельзя не признать, что избежать войны можно, только не втягиваясь в нее. Впрочем, все произошедшее обуславливалось не нашими скудными запасами, а, скорее, явно недостаточными действиями, характерными для европейцев. Ллойд Джордж (Дэвид Ллойд Джордж (1863 – 1945) – премьер-министр Великобритании в 1916 – 1922 годах. – *Ред.*) оказался прав, говоря, что война сбила всех нас с толку, причем «некомпетентность Германии уравнивалась безответственностью Антанты».

Особенно неопределенным казалось будущее, и мое в том числе. Союз германских земель, государственная служба, моя морская карьера, заработок моей семьи – все казалось неясным. Начнем с того, что мне приходилось оставаться и улаживать дела в Спа.

Гражданские лица в лице парламентария Эрцбергера и дипломата графа Оберндорфа освободили Верховное главнокомандование от болезненной задачи выполнения условий Компьенского перемирия (заключено 11 ноября 1918 года. – *Ред.*). Прекращение военных действий оказалось прологом к заключению Версальского мирного договора (28 июля 1919 года. – *Ред.*). Германскому флоту предписывалось передислоцироваться в Скапа-Флоу (британская военноморская база в заливе Скапа-Флоу на Оркнейских островах. – *Ред.*). В сложившейся ситуации оптимисты убеждали себя, что речь идет всего лишь об опеке и что мы сможем получить обратно некоторые наши корабли.

Мне предложили отправиться в Скапа-Флоу вместе с флотом в качестве офицера при штабе адмирала. Но я отказался и попросил извинить меня за принятое решение. Смутное предчувствие помешало мне сопровождать наши доблестные корабли в этом плавании. Мне совсем не хотелось принимать участие в последнем плавании имперского флота под контролем революционных матросов. Но такой конец нельзя было считать бесславленным.

Флот сыграл в свое время важную роль в подброске оружия, боеприпасов и небольших подкреплений войскам в Германской Восточной Африке. Эта колония (немцы закрепились здесь в 1885 – 1890 годах. – *Ред.*), которую я видел в 1905 году (тогда вспыхнуло восстание туземного населения, подавленное немцами. – *Ред.*), в годы войны оборонялась войсками под командованием генерала Леттов-Форбека. Несмотря на то что с начала войны она в течение четырех с половиной лет оказалась отрезанной от метрополии, колония вызывала восхищение как ее приверженцев, так и противников (Пауль Леттов-Форбек (1870 – 1964), имея в начале войны не более 14 тысяч бойцов, в конце – полторы сотни белых и до полутора тысяч негров,

сражался с 300 тысячами британцев, бельгийцев, южноафриканцев и португальцев, регулярно нанося им поражения, и капитулировал только после 11 ноября 1918 года. – *Ред.*)

Когда вечером 9 ноября 1918 года до нас дошли условия перемирия, я впал в депрессию, хотя готовился к худшему. Вот что я отметил тогда в своих записях: «Это начало новой войны. И в ней придется сражаться уже не нам, а нашим детям».

Уже через несколько дней, не помню точно, 12 или 13 ноября, поезд главнокомандующего увозил меня из Спа, уже разукрашенного флагами Антанты, в Кассель на Фульде, а штаб Гинденбурга оставался в Вильгельмсхоэ. Я же направлялся в Берлин, намереваясь заняться поиском работы в других профессиях, где могли пригодиться мои знания морского офицера, вышедшего в отставку. Мне казалось, что я смогу найти себе занятие в других ведомствах.

Только немногие сохранили верность флоту, остальные офицеры растеклись во всех направлениях. Утрата чувства боевого товарищества заставила меня страдать еще сильнее, особенно когда я снял свою голубую форму. Но прошло не так много времени, как многие из нас нашли себе место в промышленности, торговле, на административных постах или состоялись в других профессиях.

Нам удалось это выяснить, когда, к нашей радости, старая команда начала регулярно собираться вместе. В каждом городе бывшие морские офицеры находили возможность установления контакта друг с другом. Враг уничтожил наш флот, но ему не удалось разрушить наше чувство локтя.

МЕЖДУ ОКОНЧАНИЕМ ВОЙНЫ (1918) И МОИМ ПЕРЕХОДОМ НА СЛУЖБУ В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ (1920)

Покинув флот, я вернулся в Вюртемберг. Однако беспокойствие чувствовалось и при королевском дворе, и в правительстве, возглавляемом моим отцом. Возможно, выстоять бурю нам помогло традиционное швабское здравомыслие. В поисках работы я обошел буквально весь Штутгарт, заглянув в страховые компании, газеты и банки.

Благодаря связям и друзьям, работавшим в Вюртембергском страховом банке, я чуть не поступил туда на работу. Но я еще не до конца расстался с флотом, продолжая работать в так называемой мирной комиссии в Берлине, созданной для подготовки мирного договора. Фактически же моя деятельность там была бесполезной, ибо условия мира нам продиктовали.

В то время мне импонировала идея работать в Лиге Наций, с которой я связывал перспективу политического будущего Германии. Я полагал, что идея создания Национальных штатов с неограниченным суверенитетом абсолютно абсурдна: ни одна европейская страна не захотела бы расстаться со своей независимостью в пользу достижения всеобщего мира. С другой стороны, я считал, что существование единого германского государства после 1918 года является обоснованным и даже необходимым фундаментом для строительства единого европейского дома.

Размышляя над случившимся, я составил меморандум в Лигу Наций, где заявлял, что, несмотря на поражение в войне, Германию нельзя сбрасывать со счетов. Во время работы над меморандумом я постарался завязать контакты с кругом людей, разделявших близкие мне взгляды. Я также вступил в контакт с министерством иностранных дел, но тогда там не нашлось для меня вакансии.

В ту зиму царил полная неразбериха. Приведу только один пример. Рядом с моей комнатой располагалось помещение кадрового управления флота, которым командовал матрос, так что ни один документ, который мы готовили, не имел силы без его подписи. Правда, практически это меня никак не задевало, ибо мой матрос охотно подписывал то, что было подписано мною.

Гораздо больше беспокойства доставлял комитет матросов, состоявший из пятидесяти трех членов, встречавшихся во время парламентских сессий в огромной комнате для совещаний министерства морских дел. Там велись бесчисленные разговоры и выпивалось множество бутылок. Чтобы избавиться от комитета, я вместе с другим морским офицером отправился с визитом к Носке, депутату рейхстага от социал-демократической партии. Бюро Носке размещалось на Подбельски-аллее, и его деятельность заключалась в том, что он шаг за шагом освобождал Берлин от беспокойных элементов.

Когда мы пришли к Носке, он курил длинную сигару, одновременно отдавая энергичные распоряжения по телефону. Ему было знакомо состояние дел на флоте еще с Килия, и он слышал о нашем комитете из пятидесяти трех, понимая, что эта организация действительно мешает любой созидательной работе. Поэтому Носке пообещал распустить комитет, но сказал, что сделает это только через неделю, ибо за это время ему нужно выполнить другие поручения. Так и получилось, что комитет тихо исчез из нашего министерства и нам больше не довелось о нем слышать.

После краха монархии социал-демократы смогли добиться значительных успехов в поддержании порядка, отчетливо осознавая причины произошедшего в России и поражения Керенского. Чтобы сохранить провозглашенную ими же республику, социал-демократам приходилось принимать энергичные меры, ибо и в нашей стране появились зловещие признаки

нестабильности. Даже в Берлине не хватало продовольствия, люди находились в холодных и часто неосвещенных помещениях, а на улицах слышалась перестрелка. С благодарностью вспоминаю некоторые места в Берлине, прежде всего мраморную скамейку у Бранденбургских ворот, однажды защитившую меня во время пулеметного обстрела.

Моя семья все еще оставалась в Вильгельмсхафене, где началась революция. Только в марте 1919 года, несмотря на реальный риск, мы смогли перебраться в Штутгарт. Когда и там начались революционные события, мы смогли найти прибежище в королевском дворце, где у моего отца была служебная квартира.

Вплоть до весны 1919 года, то есть до своего тридцатисемилетия, я, как морской офицер, оставался чуждым какой-либо политике и даже никогда не голосовал. Поэтому теперь мне никак не удавалось выбрать какую-нибудь партию. Впрочем, с 1919 года я обычно голосовал за партию, отстаивающую интересы среднего класса и имевшую некоторые перспективы войти в правительство.

Живя в Вюртемберге, мы мало интересовались событиями внешнего мира. Гораздо больше нас волновали наши собственные проблемы. Мы знали, что в Париже враги решают нашу судьбу, но верили, что им хватит благоразумия, чтобы подписать мирный договор, в котором на нашу страну не возложат всю ношу ответственности за войну. Иначе возникнет новая опасность для Европы.

Несмотря на свойственный мне природный пессимизм, я был буквально потрясен, увидев поступившие в Берлинскую мирную комиссию условия мира, выдвинутые союзниками. Наша делегация прекрасно поработала в Версале (правда, насколько позволял ей малочисленный штат). Вскоре вопрос встал ребром: должны ли мы подписать договор, условия выполнения которого казались для нас неприемлемыми, или же нам следует отказаться от подписи, осознавая, что это означает дальнейшее продвижение противника на немецкую территорию?

Лично я понимал нежелание Брокдорф-Ранцау, министра иностранных дел (граф Ульрих Брокдорф-Ранцау (1869 – 1928). Оставил свой пост в июне 1919 года. – *Ред.*), поставить подпись под этим документом. Подписавший документ за него Герман Мюллер, позже ставший рейхсканцлером (в 1920, затем в 1928 – 1930 годах. – *Ред.*), как-то сказал мне, что не испытывал никаких колебаний: «Кроме всего прочего, Мюллер – распространенная фамилия».

Я никак не мог согласиться с мнением, что Мюллер ошибся, поставив свою подпись. Полагаю, что если бы германская делегация тогда не подписала мир, то войска противника продвинулись бы в глубину германской территории и мы столкнулись бы с проблемой сепаратистов, поднимавших голову в Западной Германии.

В день подписания договора, 28 июня 1919 года, я покинул Германию, получив назначение на должность военно-морского атташе в Гааге, чтобы уладить некоторые нерешенные проблемы флота. Я охотно согласился занять это место, надеясь на дальнейшую занятость в министерстве иностранных дел. В то же время я хотел перевезти свою семью в страну, где условия жизни были намного лучшими.

Наш посол в Голландии Розен встретил меня следующими словами: «Надеюсь, что у меня не будет нового военно-морского атташе». Не знаю, почему он так сказал. За девять месяцев моей службы в посольстве я ни разу не докучал Розену и практически не сталкивался с ним по службе. В то время в посольстве служили Мальцан, позже ставший статс-секретарем, а также Кестер, закончивший свою карьеру послом в Париже, и Гнейст. Как оказалось позже, как раз ему и было суждено сыграть особую роль в моей жизни, поскольку именно он в качестве главы департамента по кадрам удержал меня на дипломатической службе, когда я захотел отставить ее в 1920 году.

Только в такой нейтральной стране, какой в то время являлась Голландия, можно было повлиять на формирование представления о месте Германии в будущем мире. И на дипломатических приемах, и через прессу, и при встречах с представителями голландского общества

мы старались рассказывать о том, что происходит на нашей родине. В последующие годы я получал новые и новые назначения в нейтральные страны: Швейцарию, Данию, Норвегию и, наконец, в Ватикан.

В начале всех этих перемещений, оказавшись в Голландии практически сразу же после нашего поражения, я понял (и это несколько примирило меня с действительностью), какое значение имеет сохранение нейтралитета, соблюдение международных законов и естественных человеческих отношений.

В отношениях со странами-победительницами голландское правительство проявляло независимость, твердо отстаивая свои позиции. Когда я находился в Гааге, англичане потребовали выдать им бывшего кайзера Вильгельма II, чтобы предать его суду в соответствии с Версальским договором. В течение двадцати четырех часов Гаага ответила на это требование достойным отказом.

Голландское правительство могло гордиться тем, что благополучно провело через столь сложные времена свою страну. Нидерланды продолжали процветать, сохранив моральный авторитет и накопив огромные богатства. Мудро воздерживаясь от выгодных территориальных приобретений, предлагаемых победителями, Голландия нуждалась только в длительном мире, который подразумевал процветающую Германию.

Конечно, на общественные настроения в Гааге сильно влияла Антанта. Нам повезло, что у нас оказались голландские родственники в лице семьи Марец-Оуэн. Наши отношения сложились в то время, когда королева София привезла из Вюртемберга компаньонку для своего нового дома в Голландии. Эти отношения значили для нас многое, равно как и наша дружба с несколькими независимо настроенными голландцами. Нам нравилась их неизменная доброжелательность, их искренняя вера в церковь и государство, незыблемость власти и уважение к законам.

Тем временем министерство иностранных дел решило оставить меня на дипломатической службе. Всмотриваясь с тоской в море в Схевенингене (к северу от Гааги, сейчас в ее составе. – *Ред.*), моя семья почти собралась вернуться в Штутгарт, когда до нас дошли новости о Капповском путче, беспорядках в Руре и прерванном железнодорожном сообщении. Нам удалось попасть на грузовой пароход, который за шесть дней доставил нас по Рейну из Неймегена в Мангейм. Мы не могли позволить себе отложить наше путешествие, поскольку мое жалованье в гульденах подошло к концу, а выплаты гаагского казначейства были основным источником нашего благополучия.

Конечно, когда мы проезжали по Рейну на грузовом, было неприятно слышать, как немцы стреляли друг в друга в Дуйсбурге. Дальше, в Кельне и Бонне, по берегам виднелись флаги союзников. Мы отплывали в совершенно неведомое будущее.

СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ (1920 – 1921)

Прослужив двадцать лет на флоте, я привык командовать и принимать ответственные решения, а теперь, в министерстве иностранных дел, оказался в начале дипломатической лестницы. Вначале мне поручили переводить статьи из бельгийских газет для официальной немецкой экономической газеты. Позже разрешили мельком увидеть отдел, куда незамедлительно поступали все депеши. Вскоре началась конференция в Спа, и меня прикрепили к нашей делегации, как человека, имевшего военный чин и награды.

10 января 1920 года Версальский договор стал европейским законом, и с того времени началось выполнение всех вытекающих из него обязательств. Поскольку Германия не могла сразу же выполнить все условия мира, приходилось собирать одну международную конференцию за другой.

Первой состоялась конференция в Спа. Она проходила с 5 по 16 июля 1920 года. В ней отразились все особенности, согласно которым велись переговоры. Германская делегация прибыла на место действия с твердым намерением не позволить навязать себе невыполнимые условия. Но делегация Антанты как раз и предъявляла требования, которые немцы не хотели принять.

Немцы продолжали сопротивляться. Тогда им стали угрожать военными действиями. Чтобы надавить на Германию в Спа, появился маршал Фош. В конце концов немцы подписали то, что от них требовали, исходя из того, что в противном случае может произойти худшее. Мероприятие завершилось тем, что немецких дипломатов, подписавших договор, обвинили в непорядочном ведении дел – как противники, так и собственный народ, уверенный в том, что германская делегация пошла на поводу у врага.

Победители 1918 года громко требовали, чтобы Германией управляли демократическим путем, что оказалось делом совершенно необычным и новым. Действительно, учрежденный Бисмарком рейхстаг обладал исключительной властью. Но он никогда не пользовался своим правом, возможно, потому, что его депутаты были убеждены в особом характере немецкого народа. Рейхстаг даже не вмешался в кризис, выросший из известного интервью «Дейли телеграф» в 1907 году. В любой другой стране оно неизбежно привело бы к определенному ограничению власти монархии или к падению правительства. Следовательно, стало очевидным, что введение парламентского режима в Германии требует времени, ибо для достижения успеха следовало добиться доверия.

Вместо того чтобы позволить новому правительству добиваться успеха, политика союзных войск непродуманно заставляла немецкое правительство в области внешней политики совершать один промах за другим. Так в немецкую землю посадили ростки национал-социализма. И уже в начале двадцатых годов Адольф Гитлер впервые добился пропагандистских успехов в связи с Версальским договором.

Итак, мы ничего не добились на этих международных конференциях, в то же время практически не осуществлялись контакты между немецкой делегацией и остальными правительствами. Даже итальянский министр иностранных дел граф Сфорца едва смог перемолвиться словечком с лидерами нашей делегации.

Заметим, что наши представители были совсем из другого теста, чем представители Антанты. Канцлер Ференбах начал с весьма неудачной шутки. Пользуясь своим почтенным возрастом (родился в 1852 году. – *Ред.*), он заверил собравшихся, что является тем человеком, которому они могут доверять, ведь он скоро предстанет перед Всевышним и хочет это сделать

с чистой совестью. Его совершенно не поняли, и позже мы слышали, как Ллойд Джордж говорил своему соседу, что он не понимает, что общего между конференцией в Спа и Богом.

Когда я вернулся из Спа, меня определили на тихое и спокойное место в министерстве. Под руководством Кемпфа мне пришлось заниматься повседневными отношениями между Голландией и Бельгией. Только позже я понял, насколько полезными для меня оказались эти утомительные месяцы бюрократической науки, когда простая неточность в записях могла подставить все ведомство.

Сам же я продолжал сомневаться, смогу ли когда-нибудь привыкнуть к работе в министерстве и стану ли здесь своим, верную ли я выбрал дорогу. Поэтому и начал подыскивать себе другую работу. В Берлине благодаря своим прежним связям я познакомился с известным инженером Клингенбергом, одним из руководителей концерна АЕГ (Генеральной электрической компании). Он любезно меня принял и даже разместил в своем доме в квартале Литцензее.

Сильный и энергичный выходец из Ольденбурга, Клингенберг предложил мне перейти на службу в промышленность. На основании собственного опыта работы в своей отрасли, электрической промышленности, он пришел к убеждению, что находившаяся в жалком состоянии Германия больше не может позволить себе роскошь обладания большим количеством независимых друг от друга индустриальных объединений. Он был убежденным сторонником стандартизации и рационализации и намеревался донести свои соображения до Союза немецких инженеров. Мне же Клингенберг предложил должность директора-распорядителя комитета по нормированию, предложив хорошее жалованье.

После рождественских каникул я вернулся в Берлин, намереваясь распрощаться с министерством иностранных дел, где до этого я только говорил о своих намерениях. После возвращения меня принял доктор Гнейст, предложивший мне должность за границей, чтобы я смог продолжить свою карьеру чиновника и политического деятеля. Между министерством иностранных дел и Клингенбергом началось своеобразное соперничество, ибо каждый сделал свои предложения, считая мой выбор предрешенным.

Попытавшись в течение нескольких дней принять решение, я наконец предпочел остаться верным политической карьере, с которой был тесно связан благодаря семейным традициям. На выбор мне предложили три консульства: в Инсбруке, Женеве и Базеле, я выбрал последнее из перечисленных. Теперь я закрепился на службе в министерстве иностранных дел и навсегда оставил службу на военном флоте. Со времен кайзера министерство иностранных дел потеряло многих своих дипломатов. Лакуны заполнились кандидатами из всех слоев общества и представителями разных профессий. Но ядро образовали те, кто имел предварительный опыт в консульской сфере, в соответствии с пословицей: *videat res publica, ne quid detrimenti capiant consules* { Пусть консулы позаботятся о том, чтобы республика не понесла ущерба (обращение римского сената к консулам). }.

Отправляясь в начале 1921 года в Базель, я был рад покинуть ищущий мира и покоя Берлин.

СЛУЖБА КОНСУЛОМ В БАЗЕЛЕ (1921 – 1924)

Я прибыл в Базель в дни масленичного карнавала, и мне показалось, что этот спокойный и респектабельный город буквально сошел с ума. Вдобавок доктор Циглер, занимавший пост, на который я был назначен, никак не хотел допустить меня до дел. Он говорил, что счастлив принять меня в качестве своего нового помощника, намереваясь постепенно посвятить в деятельность различных направлений работы консульства, отведя на знакомство с ними по шесть недель на каждое.

Затем Циглер начал вдаваться в различные детали, пока, наконец, я смог сказать слово и объяснить ему, что он должен занять свой пост в Северной Америке, как только будут улажены некоторые проблемы, связанные с мирными соглашениями. Вначале Циглер воспринял мои слова как первоапрельскую шутку. В министерстве иностранных дел ему не говорили ничего подобного, и Циглер с трудом примирился с мыслью, что решение было принято даже без согласования с ним.

Поскольку жалование нам выплачивалось в обесцененной валюте, министерство иностранных дел решило предоставить мне пост, который был еще занят, решив, что его не разорит выплата обоим претендентам. Поэтому, несмотря на назначение Циглера в Сан-Франциско, нам пришлось терпеть друг друга в течение некоторого времени, что было связано с заключением мира с США.

Я руководил паспортным отделом консульства, располагавшимся в крыле Баденского вокзала, имея под своим началом десять служащих. Тогда министерство иностранных дел зарабатывало огромные суммы в иностранной валюте за выдаваемые визы. Находясь за стойкой, я приобрел бесценный опыт, оказывая эффективную и быструю помощь людям. Благодаря паспортной службе я смог также заглянуть изнутри в местную жизнь Базеля.

Пограничные соглашения по Версальскому договору привели к пересечению трех границ на Рейне, всего в нескольких километрах от Базеля (после того как Эльзас и Лотарингию вернули Франции, здесь рядом Эльзас. – *Ред.*). Конечно, в связи с образовавшимися новыми возможностями тотчас начали развиваться соответствующие моменту деловые отношения. На прилегающих территориях всех трех стран существовали производства, ориентированные на Англию и Францию, куда они и поставляли свои товары. Но производители сельскохозяйственных товаров были нацелены в первую очередь на немецких потребителей.

В те годы базельская аристократия занимала особое положение. За простыми фасадами скрывались значительные состояния, как материальные, так и денежные ценности, которые эти люди вовсе не стремились делать общественным достоянием. Едва ли хоть у одной из этих состоятельных семей имелся автомобиль, они жили просто и одевались соответственно. Но все они – Бурхардты и Саразены, Изелины и Мерианы, Вишеры, Алиоты, Стейлинсы, Риггенбахи, Турнизены, Хагенбахи, Бернуллы, Бахофены, Шлумбергеры, Шпейсеры, Гельцеры и многие другие – внесли свой вклад в общее благосостояние общества. Благодаря их пожертвованиям поддерживалась и отличалась высоким качеством деятельность госпиталей, благотворительных институтов, Базельской миссии, университета, муниципалитета.

Со времени моего пребывания в Базеле я пристрастился к чтению *Basler Nachrichten*, возглавлявшегося А. Эри, племянником Якоба Бурхардта. Несмотря на то что Базель считался небольшим кантоном, занимая скромное место внутри Швейцарской конфедерации, благодаря активности упомянутых мною семейств в нем протекала динамичная и самобытная общественная жизнь.

Общие знакомые в Германии обеспечили нам доступ в некоторые дома, которые вполне можно сопоставить со старыми бременскими семьями. Постепенно круг знакомых расширялся. В отличие от других кантонов в базельском обществе мы практически не ощущали

своей исключительности. Законодателем местного общества был австрийский эрцгерцог Евгений, живший в добровольной ссылке в отеле «Три короля» на скромное содержание, присылавшееся его сестрой из Испании. Его природное дружелюбие легко перекрывало склонность базельцев иронизировать и насмехаться над окружающими.

Поскольку я сам стал предметом обсуждения в базельском обществе, не могу не высказать их мнение о моей жене. Еще в период помолвки мой друг Паппенхейм заметил: «Она слишком хороша для тебя». Гордившиеся своими аристократическими именами базельцы добавляли: «Она действительно могла быть и из Бурхардтов».

Такова была высшая оценка, какую можно было дать кому-либо. Конечно, каждый получает по заслугам, и я горд тем, что получил свою жену, думаю, что мне не стоит добавлять, что похожие ремарки мне доводилось слышать и в процессе моей дальнейшей карьеры.

Когда летом 1921 года я наконец принял под свое начало консульство, наши отношения с властями кантона оказались добрососедскими и далекоидущими. За все время моего пребывания в Базеле не могу припомнить ни одного неприятного разговора ни с одним швейцарским чиновником. Поскольку мы не касались политических проблем, то находились в хороших отношениях и с нашими коллегами из других стран. Одной из задач нашего консульства и в те дни, и сейчас было помогать местным немцам завоевывать утраченную ими репутацию.

Тогда примерно пятая часть населения Базеля состояла из рейнских немцев общей численностью порядка 25 тысяч человек. Находившиеся в Базеле немцы оставались равнодушными к переменам в политике в Германии. Немецкие таможенники и железнодорожные чиновники, проживавшие на территории Швейцарии, обладали возможностью проголосовать на родине, если бы они въехали в Германию во время выборов. Опросы показали, что среди них преобладали сторонники коммунистов.

На противоположной стороне оказались несколько более пожилых бизнесменов и еще шестнадцать немецких профессоров, преподававших в Базельском университете. Большая часть немецкой колонии воспринимала их как реакционеров. Во время моих путешествий в качестве морского офицера мне довелось видеть, что между нашими консульствами и немецкими колониями часто существовали напряженные отношения. Я надеялся, что в Базеле у меня сложатся иные отношения, поскольку я собирался обращаться с немецкими гражданами лояльно. И все же «роза Базеля» оказалась с «шипами». Несмотря на мои намерения, отношения с немецкой колонией с самого начала не отличались теплотой.

Моя консульская работа и контакты с немецкими профессорами породили во мне желание начать изучать право и защитить затем докторскую диссертацию в находившемся по соседству Фрайбургском университете (в городе Фрайбург-им-Брайсгау, земля Баден-Вюртемберг). Прослушав одну лекцию в течение двух часов, я все же оставил эту идею – мне показалось, что я слишком стар для учебы. Конечно, все считали, что служба в министерстве иностранных дел невозможна без соответствующего юридического образования, но как-то не учитывали, что политику следует держаться настороже, чтобы не попасть в тиски законников. Оказавшись под властью готовых формул, политик легко станет их рабом. Могло случиться и худшее, когда законники посвящали себя политике в роли подобострастных агентов влияния и ретроградов.

Могу даже привести конкретные печальные примеры обоих классов людей. Конечно, встречались и исключения, и я всегда искренне радовался, когда мне доводилось работать с коллегами, которые оказались одаренными адвокатами. Особую благодарность испытываю за советы и консультации, которые я получал от своего кузена профессора Виктора Брунса, основателя и главы Берлинского института международного права.

Чтобы поддерживать контакты с современными политиками, я приобрел особую привычку и часто навещал вокзал. Через этот великий железнодорожный перекресток проходило много значительных людей. Мне довелось встречать здесь иностранцев, среди них бывшего члена швейцарского бундесрата Калондера, служившего в Верхней Силезии, или голланд-

ского министра иностранных дел ван Карнебека. Среди встреченных мной немцев были члены рейхстага, промышленники и банкиры.

Перед заключением договора в Рапалло (Рапальский договор между РСФСР и Германией был подписан 16 апреля 1922 года во время Генуэзской конференции; позволил обеим странам выйти из дипломатической и иной изоляции. – *Ред.*) я встречал здесь членов немецкой делегации. Воспользовавшись тем, что он оказался в этом месте, канцлер Вирт вступился за своего бывшего школьного приятеля, которому я отказал в визе, потому что мне он казался сомнительной личностью. Хотя я был совершенно незнаком с министром иностранных дел фон Ратенау, он взял меня под руку и ходил со мной взад-вперед по платформе в течение четверти часа. Вальтер Ратенау оказался знатоком архитектуры Базеля и человеком огромного личного обаяния (в июне 1922 года Ратенау был убит националистической террористической организацией «Консул»).

На обратном пути из Рапалло члены нашей делегации были настолько удовлетворены результатами переговоров, что при расставании даже пожали руки русским. Наши действия фактически были продиктованы непримиримой позицией Парижа. Вместо того чтобы привязать к себе Германию как доброго соседа, в отношении молодой германской республики французские политики совершали одну ошибку за другой.

Мои взаимоотношения с нашей дипломатической миссией были дружескими, но не приятельскими. Сначала члены миссии, оказавшиеся одного возраста со мной, смотрели на меня как на случайного человека, вторгшегося к ним из чужого мира, из флота. Кроме того, я на себе испытал, как можно оказаться в изоляции в консульстве, находящемся неподалеку от Германии. Меня редко просили дать общий отчет, и я почти не получал информацию. Что же касается посылаемых мною сообщений, то я всегда оказывался на плаву, ибо они несли в себе ту информацию, какую от меня и ожидали.

В начале 1923 года, после двух лет, проведенных мною в Базеле, мне казалось, что отношение к Германии начало здесь улучшаться, совершенно независимо от того, что мы делали. Швейцарцам вовсе не нравились длительные и непонятные перерывы в железнодорожном сообщении по долине Рейна, а также оккупация французами Рура. Все это нарушало спокойную, мирную жизнь, но не меньше швейцарцы были озабочены угрозой расчленения Германии. Тогда все были озабочены этой проблемой, и даже те швейцарцы, которые хорошо относились к нам, склонялись к мысли, что будет лучше, если Южная Германия снова отделится от Северной (как было до 1871 года. – *Ред.*).

Сам же я придерживался мнения, что мы, немцы, можем внести наш собственный вклад в европейскую культуру, если останемся внутри общих и безопасных германских внешних границ. Осенью 1923 года я также полагал, что расчленение Германии окажется возможным только в случае неспровоцированных действий со стороны Франции, но не явится добровольным действием с нашей стороны. Мне казалось, что в случае с Руром Лондон направляет нас по ложному пути, чтобы затем оставить в шатком положении. Во имя сохранения единства Германии следовало пожертвовать своими интересами. И Штреземан (Густав Штреземан (1878 – 1929) – рейхсканцлер и министр иностранных дел с августа по ноябрь 1923 года. – *Ред.*) собирался принести эти жертвы – полагаю, что его инициативы в деле прекращения «рурской войны» были верными.

Со своей стороны, в Базеле я попытался внести свой скромный вклад в улаживание франко-немецких отношений. К счастью, в моем французском коллеге Картероне я нашел прекрасного партнера, понимающего сложившуюся ситуацию. Похоже, он разделял мою точку зрения, что мы должны продолжать движение в данном направлении, шаг за шагом складывая сложную мозаику отношений между Францией и Германией.

При этом я старался обходить острые углы, и мой партнер делал то же самое. Так нам удалось представить жителям Базеля картину международного взаимопонимания. Я продол-

жал поддерживать контакты с Картером в течение некоторого времени и следил за его карьерой вплоть до того времени, как он стал политическим советником французского резидента в Тунисе. Именно там Картер и находился, когда мы посетили Тунис в рамках частной поездки на Средиземное море в 1938 году.

События продолжали развиваться своим чередом. Одному из членов базельского кантонального правительства я как-то сказал, что охотно останусь у них консулом на ближайшие двадцать пять лет, если он даст мне золотую медаль в связи с моим юбилеем. Однако так случилось, что, отправившись на выходные в Штутгарт без разрешения Берлина, я случайно повстречался с Шторером, главой кадрового департамента МИДа, спросившим меня напрямик, не хотел бы я перейти на иной дипломатический пост.

Сначала я ответил, что мне совсем неплохо и в Базеле. Все-таки в ходе дальнейшей переписки было решено, чтобы я отправился с дипломатической миссией в Копенгаген в качестве советника. Немецкий посол в Берне А. Мюллер, бывший врач и издатель социал-демократической газеты, отговаривал меня принять новое назначение.

Мне же казалось нецелесообразным вмешиваться в предназначение, уготованное мне судьбой. Поэтому я сказал Штореру, что после нескольких лет вынужденного бездействия Германия вступала в период, когда снова можно говорить о германской внешней политике. Так подошел к концу период моей службы в Швейцарии. Он оказался счастливым временем как для всей семьи, так и для меня самого с точки зрения расширения моего опыта службы в министерстве иностранных дел.

КОПЕНГАГЕН (1925 – 1926)

Традиционно все поступающие в министерство иностранных дел предпочитают выбирать дипломатическую, а не консульскую службу. Существовала даже присказка: «Начнешь служить в посольстве, там и останешься». Сам же я чувствовал, что больше получу от нескольких лет службы в консульстве.

Однако в Копенгагене мне пришлось распрощаться с той независимостью, какой я наслаждался в качестве главы консульского отделения. Вскоре после приезда у меня установились дружеские отношения с послом фон Митиусом, которого все описывали мне как романтическую натуру. Когда через полтора года нам пришлось расстаться, мы стали весьма близки, обращаясь друг к другу на «ты».

Митиус всегда называл датчан феакийцами (феаки – в древнегреческом эпосе обитатели далекого блаженного острова Схерия, искусные мореходы. С их помощью Одиссей после десяти лет скитаний вернулся на Итаку (Одиссея, песни VI – VIII). – *Ред.*), высоко ценил цельность их натур, а в разговорах с нами полагал, что отчасти это объясняется их внутренней замкнутостью. Мое собственное знакомство с Данией ограничивалось короткими визитами на сушу во время моей службы и несколькими днями, проведенными там во время нашего медового месяца. Прибыв в Копенгаген, я фактически ничего не знал о напряженных отношениях, существовавших между датчанами и немцами.

Поэтому я был откровенно поражен, узнав, что датчане продолжали считать «Тиксер» (Германию) «враждебной страной на юге». Вместе с тем, как здравомыслящие люди, они старались использовать любую возможность, чтобы достичь взаимопонимания с Германией, и если кто-то из нас ворчал по этому поводу, то явно не датчане. Хотя формально Дания не участвовала в войне, она получила свою долю военной добычи, аннексировав значительную часть Шлезвиг-Гольштейна (Шлезвиг-Гольштейн – земля в Германии, до 1864 года (война между Данией и Пруссией, поддержанной Австрией) принадлежавшая Дании. – *Ред.*). Правда, не так много, как хотели некоторые горячие головы в датском правительстве, но местами, например в Теннере, даже беспристрастные наблюдатели подтверждали справедливость территориальных прав Дании (в Шлезвиге был проведен плебисцит, и значительная его часть была возвращена Дании. – *Ред.*).

В 1918 – 1919 годах датское правительство договорилось с Германией по поводу уточнения границ. Потом представители наших стран отправились в Париж, чтобы ратифицировать договоренности в виде трехстороннего договора. Германское правительство справедливо отказалось сделать это, и новая граница таким образом осталась только «внутренним соглашением», то есть фактически лишь на бумаге.

Реализация соглашения зависела от желания датчан оставаться на стороне союзников. В Копенгагене хотели, чтобы дувший над Европой холодный ветер заморозил все в соответствии с договоренностью, достигнутой в Версале. Поэтому им было неприятно услышать, что Локарнский договор был подписан, они чувствовали себя так, будто потеряли свои сбережения (в Локарно произошло определенное усиление позиции Германии, во всяком случае в правовом отношении. – *Ред.*).

Должен признаться, что я также чувствовал, что в Локарно произошло что-то не то. Меня прежде всего удивила готовность, с которой Штреземан подтвердил демилитаризацию Западной Германии – откровенно говоря, только для того, чтобы вернуть Германию в европейскую политику.

Казалось также, что заявления политиков о взаимной склонности не имели особенного значения. Полагаю, что Локарнский договор для обеих сторон являлся самообманом. Конечно,

я не подозревал о недобрых намерениях подписавших договор, но чувствовал, что они не получили никакой реальной поддержки в общественном мнении своих стран.

Тем временем результаты переговоров в Локарно благотворным образом сказались на нас, находившихся в Дании, способствуя продвижению в датско-германском взаимопонимании. Между двумя странами не существовало никаких принципиальных разногласий. Единственным препятствием к временному соглашению оказалась незначительная дискуссия, которая, так скажем, прошла за закрытыми дверями, поскольку не касалась других европейских стран, так что в прессу не просочилось ни строчки. Немецкие газеты, выходявшие к югу от Гамбурга, включая Берлин, просто проигнорировали это событие.

Находившиеся в Копенгагене журналисты, такие как доктор Киу, со свойственным им чувством ответственности делали все возможное, чтобы смягчить враждебные отношения. По обе стороны новой датско-германской границы проживали небольшие меньшинства, примерно в 40 – 45 тысяч человек: к северу, в Дании, – немцы, к югу, в Германии, – датчане. Они всячески старались сохранить свое особое положение как культурные сообщества, организовывали начальные школы, где преподавание велось на родном языке. Они также пытались сохранить в целостности и свои земельные наделы.

Тогда не существовало специальных соглашений, защищавших национальные меньшинства, и прекрасно знавший Германию датский министр иностранных дел граф Мольтке отказывался заключать любые подобные договоры, полагая, что соглашение такого рода станет всего лишь предлогом для взаимных претензий и вызовет обеспокоенность.

В отличие от польских немцев немецкие жители датской Южной Ютландии не бедствовали, да и датскому населению, проживавшему в Германии к югу от Фленсбурга, также не на что было жаловаться. Проживавшие по обеим сторонам границы люди пытались с честью выйти из сложившегося положения.

Посещавшие нас в Копенгагене руководители немецкой диаспоры упорно и честно трудились, чтобы препятствовать дальнейшему давлению со стороны Дании. Когда я отдавал должное датским немцам и посещал земли, где они жили, то заметил, что здесь отмечались местечковые ссоры, унаследованные мелкими землевладельцами от их предков.

Деловые отношения между дипломатической миссией и датскими министерствами, в первую очередь коммерческого рода, в целом протекали гладко, старейшему члену миссии доктору Крюгеру удавалось достичь всеобщего доверия. В самом министерстве иностранных дел, помимо Мольтке, мы высоко ценили работу энергичного статс-секретаря графа Ревентлоу. Оба они принадлежали к семействам, занимавшим влиятельное положение в Дании во времена Клопштока, когда немецкий был языком датского королевского двора {Немецкий писатель и поэт Ф. Клопшток (1724 – 1803) более двадцати лет прожил при дворе датского короля Фредерика V. }.

В 1925 – 1926 годах датское министерство иностранных дел сохранило хороший резерв молодых чиновников из среднего класса. Самым приметным из них оказался Густав Расмуссен, занимавший тогда пост первого секретаря, позже он стал министром иностранных дел. Среди других необычных личностей отмечу адвоката по международным делам доктора Кона, действительно настоящего франкфуртца. Мы оба хотели, чтобы Дания не вмешивалась в европейскую политику и в составе нейтральных государств противостояла странам Антанты в Лиге Наций.

Правительство социалистов под руководством Стаунинга (Торвальд Стаунинг (1873-1942) – в 1924-1926 и 1929 – 1942 годах премьер-министр Дании. – *Ред.*) полагало, что оно действует в полном соответствии со своими идеями, когда в 1928 году проводило полное разоружение Дании. Согласно их точке зрения, Дания станет лучше себя чувствовать в европейской войне, если не станет полагаться на оружие.

В 1914 – 1918 годах Данию оставили в покое, потому что германское господство на Балтике уравновешивалось силами англичан со стороны Северного моря. В апреле 1940 года Дания поступила в соответствии с советами Стаунинга (не оказала сопротивления вторгшимся немецким войскам. – *Ред.*). Сказанное может создать неверное впечатление, что датчане решительно не отстаивали свои национальные интересы. Но, несмотря на свои несентиментальные и курьезные манеры, склонность подшучивать над собой, датчане любили свою прекрасную страну.

Невзирая на возможные политические разногласия с Данией, в обыкновенном человеческом общении все было спокойно, особенно благодаря жизнерадостным «островным датчанам» и спокойным ютландцам. Даже в течение Второй мировой войны, когда немцы оккупировали страну, мы спокойно отправлялись в Данию и навещали наших тамошних друзей. Скажем больше – наш старший сын, которому повезло работать у известного физика Нильса Бора, всегда воспринимал Копенгаген как свою вторую родину.

В немецкой колонии, состоявшей в основном из жителей северной части Германии, я чувствовал себя гораздо легче, чем в Базеле. Неформальным главой колонии был пастор Лямпе, настоятель красивого старинного собора Святого Петра, пользовавшегося древними исключительными немецкими привилегиями. Отличаясь националистическими идеями, пастор отказался провести поминальную службу по президенту Эберту.

Поскольку никто точно не знал, к какой религиозной конфессии относился Эберт, но предполагалось, что он был католиком, мы решили провести торжественную и красивую католическую мессу с реквиемом. В других германских миссиях предпочли более нейтральную поминальную церемонию.

В связи с Гинденбургом, ставшим преемником Эберта, не возникло никаких сомнений. В момент его смерти (1934) мы находились в Швейцарии. Поминальная месса состоялась в протестантской церкви, ее провел немецкий профессор теологии в Бернском университете. Мне только пришлось убедить последнего снять некоторые части из погребальной оратории, которые могли прозвучать в националистическом духе.

Осенью 1926 года Митиус передал дела в дипломатической миссии новому послу фон Хасселю. Поскольку при нем уже был советник, а двух старших чиновников, одинаково ревностно относящихся к работе, в посольстве было попросту нечем занять, я начал подыскивать новую должность. Сначала мне предложили отправиться консулом в Вашингтон. Потом сказали, что нужен кто-то, кто мог выступать в качестве эксперта в только что созданной Комиссии по подготовке Всеобщей конференции по разоружению. Так и случилось, что в феврале 1927 года, оставив в Дании семью, я отправился в Берлин, распрощавшись с дружественным проливом Эресунн (Зунд), на чьих берегах нам довелось провести столь приятную часть своей жизни.

Для меня Дания навсегда осталась в памяти как страна с разнообразными богатейшими традициями, практически не затронутая современными веяниями. В ней я не встречался с нищими, каждому из ее жителей воздавалось по его заслугам. Иначе говоря, это был «оазис в пустыне человечества».

БЕРЛИН И ЖЕНЕВА (1927 – 1932)

На основании документов, хранящихся в министерстве иностранных дел, мне так и не удалось установить, что имело в виду правительство, когда в 1926 году приняло приглашение Лиги Наций работать в так называемой Комиссии по подготовке Всеобщей конференции по разоружению. С 1918 года Германия в военном плане оказалась совершенно беззащитной, напоминая яйцо без скорлупы, и окружавшие нас страны полностью воспользовались ситуацией. Даже естественные политические права, полученные нами по Версальскому договору, часто не принимались во внимание нашими соседями, например крошечной Литвой. Поэтому даже те, кто открыто не разделял националистические идеи, выступали за перевооружение страны. Сама же Лига Наций не предприняла ничего, чтобы учредить нейтральные силы безопасности.

Последовавшее за этим развитие событий доказало, что силы Антанты, прежде всего Франция и Англия, так и не смогли осуществить действенный контроль за выполнением статей, посвященных разоружению, иначе говоря, прекратить гигантскую гонку вооружения в своих странах. Поэтому нам, немцам, пришлось взять на себя непопулярную и неприятную задачу и объяснить Комиссии по разоружению, что если нельзя уменьшить количество вооружения, то следует усовершенствовать его.

Принимая офицеров, направлявшихся в Женеву, президент Гинденбург заявил им: «Вы ничего там не добьетесь, но постарайтесь сохранить свое достоинство». Пророчество «старого джентльмена» сбылось. После окончания Первой мировой войны наши противники ждали целых шесть лет, прежде чем начать разговор по поводу разоружения. И еще шесть лет прошло, прежде чем они оказались готовы к Всеобщей конференции по разоружению, состоявшейся только потому, что продолжалось противостояние сил, выигравших Первую мировую войну.

Политика Франции по поводу разоружения соответствовала французскому характеру, отличаясь скупостью. Нам приходилось отстаивать каждый пункт нашей концепции, даже если он имел только теоретическое значение. Известно, что президент США Вильсон включил идею всемирного разоружения в свой план, предназначенный для Лиги Наций. Однако, чтобы спасти этот план весной 1919 года в Париже, по требованию других держав-победительниц ему пришлось пожертвовать почти всеми принципами «женевского духа».

Идеалистически настроенные члены Лиги Наций и те, кто обладал широким мировоззрением, например Фритьоф Нансен, втихомолку смеялись над женевскими экспертами. Насколько мне было известно, многолетнее слушание выступлений вызвало у великого полярного исследователя желудочные проблемы, вылечиваемые длительным пребыванием в Норвегии и поглощением прекрасного молока этой страны.

Сложность принятия решений объяснялась тем, что до настоящего времени у мирового сообщества практически не имелось никакого опыта в этой области и даже не делались конструктивные попытки начать разоружение в мировом масштабе. В конце наполеоновского периода тщетную попытку разоружения предпринял русский царь Александр I. Встречались и такие деятели, кто критиковал две мирные конференции в Гааге, в 1899 и 1907 годах, фактически проложившие дорогу к мировой войне (1914 – 1918).

Тем не менее провозглашенная Лигой Наций Всеобщей конференция по разоружению оказалась неизбежной, поскольку после Первой мировой войны необходимо было преодолеть сложившееся неравенство военной мощи разных стран и создать подобие системы общей безопасности. Государства-победители стремились таким образом разрядить накапливавшееся в Европе напряжение, усиливающееся слабостью многих государств (прежде всего потерпевших поражение Центральных держав). Разоружение должно было стать основой мирного будущего Европы.

Мы пытались объяснить нашим французским оппонентам, что нельзя подходить к судьбе Германии как к Карфагену, который необходимо разрушить. Французским политикам необходимо было уважать ее интересы, аналогично тому, как Бисмарк некогда поступил после битвы при Садове (3 июля 1866 года, к северо-западу от города Градец-Кралове (нынешняя Чехия), 221 тысяча пруссаков с 924 орудиями разбили 215 тысяч австрийцев с 770 орудиями. Австрийцы потеряли около 43 тысяч, в том числе до 20 тысяч пленными, пруссаки – более 9 тысяч. – *Ред.*) с Австрией (после победы Пруссии над Австрией в войне 1866 года. – *Ред.*).

Когда я присоединился к нашей делегации по разоружению в Женеве, она уже заседала почти девять месяцев. Как и в делегациях других стран, состав ее оказался сложным, она состояла в основном из чиновников, генералов и адмиралов. Общность профессии всегда сближает людей, поэтому военные разных стран хорошо знали друг друга, находясь между собой в приятельских отношениях, что помогало совместной работе в качестве экспертов.

Естественно, что профессиональные солдаты не испытывали никакого желания проводить все время в бесплодных разговорах. Например, французский полковник Рикен, интеллигентный человек и прекрасный собеседник, совершенно терялся во время предварительных обсуждений и разговоров о росте вооружений.

А нам приходилось обсуждать множество проблем, над которыми обычно военные просто не задумываются. На основании чего подсчитывать реальный военный потенциал каждой страны? Например, как провести сравнение кадровых солдат английской или германской армии с даже прекрасно обученными французскими краткосрочниками-резервистами? Как определить «потенциал войны»? Как различить оборонительное и наступательное вооружение? И если ввести ограничения по численности солдат и оружия, то как осуществить контроль над принятым решением? «*Ce qui n'est pas controlable n'est pas limitable*» {То, что нельзя контролировать, нельзя и ограничивать (*фр.*)}, – говорили в то время. И наконец, какой договор смогли бы в итоге принять все страны?

Вот какие проблемы предстояло решить политикам, стоявшим во главе делегаций, среди которых были известный парламентский оратор Поль-Бонкур (Поль-Бонкур Жозеф (1873 – 1972) – французский премьер-министр в 1932 – 1933 годах, неоднократно – министр иностранных дел и др.; Жюо Леон (1879 – 1954) – министр иностранных дел Франции; Фланден Пьер (1889 – 1958) – премьер-министр Франции в 1934 – 1935 годах; Тардьё Андре (1876 – 1945) – французский государственный деятель и дипломат. – *Ред.*), славившийся своей методичностью, и сэр (позже лорд) Роберт Сесил. Французы выдвинули требование: «*securite d'abord*» {Сначала безопасность границ (*фр.*)}, потом все остальное.

Однако постановка проблемы – как достичь безопасности, то есть защититься от потерпевших поражение и разоруженных стран, Германии, Австрии, Венгрии и Болгарии, – не входила в концепцию разоружения. Для обсуждения этого в составе Лиги Наций учредили Комитет по безопасности. Полагали, что, пока нет единой системы безопасности, проигравшие государства оказывались в неравном положении в связи с разоружением.

Подготовка Всеобщей конференции по разоружению в Женеве продолжалась великими державами с 1926 до начала 1932 года. Поляки, чехи, румыны, югославы и греки охотно помогали распутывать клубок. Свой вклад в общее дело вложили и такие фигуры, как Бенеш, Политис и другие. Немецкая делегация временами получала поддержку от нейтральных стран, в частности от шведов и голландцев, а часто и от итальянцев.

Но примерно с 1929 года наиболее действенную помощь нам оказывали представители СССР, высказывавшиеся в Женеве с убийственной логикой. Мы тесно сотрудничали с Литвиновым и Борисом Штейном. Нередко германские журналисты выступали в качестве посланников между нами во время ночных совещаний.

Доверительные отношения между нами вызывали раздражение у лорда Сесила, возглавлявшего английскую делегацию. Однажды он даже заметил: «Вы назвали Литвинова его насто-

ящим именем». На что я ответил: «Нет, я всего лишь назвал его еврейское имя». (Настоящее имя М.М. Литвинова – Макс Баллах. Игра слов: по-немецки wallach – мерин. – *Ред.*)

Замечу также, что мы, члены немецкой делегации, выполняли свою работу, не питая особенных иллюзий. Мы знали, что пройдет много времени, прежде чем нам удастся повернуть общественное мнение от выкладок Антанты к нашим суждениям.

В нашем отделении я выдвинул идею, что мировое разоружение само по себе вовсе не гарантирует мир, ибо во время спора люди способны пронзить друг друга и вилами. Гораздо большую опасность несет задержка в определении общих критериев для оценки количества оружия, что в первую очередь влияет на психологическое состояние стран, проигравших войну.

В этих странах уже выросло целое поколение, знавшее о войне только по рассказам и считавшее, что Веймарскую республику лишают ее законных прав. Соответственно, это поколение не соглашалось покаянно склоняться перед диктатом стран-победительниц и в дальнейшем начало порицать за случившееся свое правительство.

В Женеве постоянно и в значительном составе была представлена и немецкая пресса. Наиболее информированным представителем прессы считался доктор Макс Бер, судивший обо всем происходящем в Женеве резко и убедительно. Он пользовался огромным влиянием среди других немецких журналистов и считался выдающимся поборником интересов Германии. Перед каждой сессией мы считали своим долгом посоветоваться с ним и получить совет, куда двигаться дальше, каких результатов следует ожидать и как он сам сможет охладить пыл немецкой общественности.

В связи с одним происшествием в Женеве мне пришлось обратить внимание одного из моих соотечественников, что ему вовсе не нужно учить меня патриотизму. Случилось же следующее. 11 ноября, в День перемирия, во время заседания объявили минуту молчания в память о тех, кто погиб на войне. Представители немецкой прессы обвинили нашу делегацию в непатриотичном поведении, потому что мы приняли участие в церемонии – вместо того чтобы покинуть собрание.

О случившемся вскоре стало известно и в Берлине. Однажды, в связи со смертью Бриана (Аристид Бриан (1862 – 1932), неоднократно бывший премьер-министром Франции и министром иностранных дел и др. – *Ред.*), мне пришлось экспромтом выступить на заседании в Женеве, принося соболезнования со стороны Германии. Мне с трудом удалось прийти к компромиссу между предполагаемым отсутствием патриотического чувства и дипломатической учтивостью.

Как известно, даже президент Гинденбург иногда упрекал немецких представителей в Женеве в отсутствии твердости и решительности. Одобрялись только общие направления нашей деятельности, но не уступки, а терпимость во имя урегулирования напряженной ситуации. Наконец общественность вышла из себя, и можно сказать наверняка, что именно в Женеве был нанесен смертельный удар германской демократии.

Действительно, уже оказалось не важным, что 11 декабря 1932 года Германия, США, Англия, Франция и Италия наконец подписали декларацию пяти держав, в составлении которой принимал участие и я. Она позволила разоруженным в 1919 году странам (по крайней мере, теоретически) обладать теми же правами, что и другим государствам в отношении вооружения и систем безопасности. Впрочем, это было последнее, что я сделал в Женеве.

Замечу, что исходный текст декларации был написан на английском. Французская делегация приняла ее неохотно и в процессе перевода на французский попыталась изменить в свою пользу. И именно Франция отказалась от активных действий, когда в 1933 году группа стран Антанты пыталась объединиться против возрождающегося Третьего рейха.

Если вдуматься, то, по существу, французы не ошибались, заявляя, что безопасность или, точнее, сознание безопасности должно предшествовать процессу разоружения. Уменьшение

гонки вооружений всегда сопровождалось выработыванием чувства безопасности. Но почему же о нем не шла речь в договоре?

Чем руководствовались Бриан и Чемберлен, поддерживая примиренческую политику Штреземана? Как-то, находясь в Зале заседаний Ассамблеи Лиги Наций, Бриан выкрикнул: «*Arriere les canons, arriere les mitrailleuses!*» {Долой пушки, долой митральезы! (*фр*) (В данном случае – пулеметы.)} И в то же самое время он насмеялся над заседаниями в Женеве, называя их «кальвинистическими оргиями». Разве он мог поверить, что можно привести Европу в светлое будущее без достижения конкретных соглашений? Он пытался вылезти на импровизациях, таких как пакт Келлога – Бриана, в котором война голословно запрещалась, но не обозначались ее причины.

Ему же принадлежала и идея создания европейского комитета Лиги Наций. В основе лежала совершенно правильная мысль о том, что Европу следует действительно объединить. Чтобы осуществить задуманное, кроме всего прочего, следовало изменить настроения, рожденные 1918 годом, в том числе отношение к странам, потерпевшим поражение. Во имя единства их следовало воспринимать как партнеров. Но Лига Наций не собиралась возвращаться к территориальному переделу. Важно заметить, что Соединенные Штаты не принимали участия в происходящем.

Вспоминаю, что Штреземан и Бриан хорошо притерлись друг к другу, они были известными парламентариями, поднаторевшими в речах. Однажды в моем присутствии Штреземан рассказал, что, заседаая в Женеве, он всегда думал о том, как объяснить свое поведение перед комитетом рейхстага по иностранным делам.

Его партийная группа в рейхстаге была немногочисленной, и даже внутри своей партии его постоянно критиковали. В Берлине утро он обычно проводил в министерстве иностранных дел, днем ему приходилось посвящать себя внутренней политике и укреплению собственной позиции. В министерстве иностранных дел Штреземан был знаком только с несколькими чиновниками, не имея представления ни о рангах, ни об организации дел, ни об огромной повседневной работе.

С прежних времен старые чиновники привыкли работать под руководством профессионального министра. Но, как и во многих других учреждениях рейха, в министерстве иностранных дел начиная с 1918 года появилось много новых людей, которых мы считали случайными. Конечно, сам Штреземан выделялся из череды своих предшественников и основной массы служащих министерства. Ему слишком доверяли, считая знатоком внешней политики, хотя именно в этой области он чувствовал себя не в своей тарелке.

Позже мне рассказывали, что Штреземан хорошо отзывался о моей работе под его руководством в Женеве. Я сам не замечал этого, фактически избегая его общества, особенно в конце его жизни, когда Штреземан стал особенно нервным, в частности в Мадриде в 1929 году. Ему самому болезнь страшно докучала. Вероятно, он чувствовал свой конец и хотел, возможно даже бессознательно, добиться видимого успеха, особенно освобождения Рейнланда от войск Антанты, причем быстрее, чем позволяли обстоятельства.

В то время нам была необходима стабильность и долговременный мир. Ни одна страна в Европе не была заинтересована в мире больше, чем Германия. Никто с германской стороны не раскачивал идею новой войны. Предупреждения о нависшей военной угрозе исходили из постоянно подозрительной Москвы, впрочем, и французские политики опасались того же.

Кому следовало бояться, так это нам. Несмотря на все попытки включить в Локарнский договор гарантии безопасности, они были учтены лишь в приложении «F», где говорилось, что любой конфликт в Европе неизбежно затронет германскую территорию, особенно после того, как Штреземану не удалось добиться вывода французских войск из Рейнланда в соответствии с условиями договора.

Летом 1927 года я убеждал фон Шуберга, бывшего тогда статс-секретарем в министерстве иностранных дел, что нам следует выступить с жалобой по поводу задержки вывода войск из Рейнланда, а не с инициативой начать новые переговоры по данному поводу. Время работало на нас. Сам Штреземан, похоже, склонялся к тому, чтобы с помощью подкупа так или иначе, но ускорить вывод французских войск.

После смерти Штреземана те, кто был с ним в Женеве, а особенно дамы, принадлежавшие к международному сообществу, стали воспринимать его как идеальную личность, пока посмертная публикация отрывков из его сочинений не позволила французам обвинить его в неискренности. И та и другая точки зрения были неверными. Думаю, что инстинктивно Штреземан в большинстве случаев проводил верную политику.

Что же касается искренности, то можно утверждать, что его оппоненты из других стран вряд ли превосходили его в этом качестве. В то время многие стремились к разговорам, а не к реальному ослаблению напряженности, вытекающей из Версальского договора. Штреземан, возможно, руководствовался теми же принципами в основном из-за проводимой им внутренней политики.

После его смерти в министерстве иностранных дел в благодарность установили его бюст, превышавший по величине прижизненные габариты прототипа; до этого там имелся только бюст Бисмарка, стоявший в стороне. Нам же, работавшим в министерстве, казалось, что наступит день, когда бюст Штреземана тихо уберут.

После вступления Германии в Лигу Наций регулярные встречи министров иностранных дел, по крайней мере стран Европы, происходили четыре раза в год, и это оказалось чрезмерным. Страдала рутинная работа по подготовке дипломатических решений. Решения оказывались несущественными, предполагали, что их будут принимать на более удобных заседаниях в Женеве. Вместе с тем министры чувствовали, что на каждой конференции им необходимо добиваться результатов, чтобы было о чем доложить по возвращении домой. Так и родилась привычка срывать фрукты до того, как они поспеют.

В атмосфере слухов и сплетен Женевы за всеми событиями пристально наблюдали, участников дипломатических встреч осаждали журналисты, съехавшиеся со всех стран. Если кто-то допускал малейшую слабость на переговорах, то об этом тотчас становилось известно общественности. Компромиссы, являвшиеся обычной составляющей переговорного процесса, обычно достигались за закрытыми дверями, общественность же часто делала из мухи слона, возводя незначительные пустяки в ранг достоинств, полагая, что это дело престижа. Поэтому прийти к какому-либо решению оказывалось так же трудно, как подняться на крутую и высокую гору.

Занимая различные посты в министерстве, я всегда охотно общался с постоянными немецкими корреспондентами и отводил этой работе много времени. Среди них оказались такие люди, как Пауль Шеффер и Рудольф Кирхер, проницательные наблюдатели, знатоки в своей области, обладавшие высоким чувством ответственности. Но и в Берлине, и в Женеве большую роль играл поиск сенсаций, вызванный в первую очередь соревнованием партийных политиков.

Все сказанное, к моему большому сожалению, не позволяло мне установить доверительные отношения с интеллигентными представителями германских газет. Часто я искренне завидовал великой и прекрасно отрегулированной английской прессе, стремившейся к основательности, а не к скорости передачи новостей.

Несмотря на необходимость выполнения тяжелой работы и стрессовые ситуации, встречи в Лиге Наций имели и свой положительный результат. Они позволяли вывести германскую политику из изолированного положения на уровень международных контактов. Именно Женева оказалась тем барометром, по которому можно было судить о степени допустимости в политической сфере. Здесь можно было говорить о том, что было принято скрывать дома.

После первого посещения заседания Лиги Наций я понял, что лучше быть внутри, чем снаружи. Впоследствии мне пришлось посетить множество заседаний Лиги. В министерстве иностранных дел мне поручили контролировать отношения с Лигой Наций, которыми до меня занимался Б.В. фон Бюлов, интеллигентный человек, позже ставший статс-секретарем. Вот как и произошло, что моя жизнь в основном проходила в поездках между Берлином и Женевой – думаю, что так прошло порядка двух лет, – в посещениях встреч на Совете и Ассамблее, в различных комиссиях и на конференциях.

Нам не удалось завязать дружеские отношения с большим количеством стран. Австрийская делегация не проявляла особого рвения и не искала встреч с нами. И напротив, представители Венгрии не имели ничего против сотрудничества. Особую осторожность соблюдали болгары, а среди наших бывших противников наибольшие подвижки к сближению делали итальянцы.

Что касается японцев, то они смогли сыграть полезную роль в европейской политике, выступив как посредники. Вместе с тем они вовсе не хотели, чтобы Лига вмешивалась в проблемы Дальнего Востока. «En Extreme Orient les conflits se reglent d'une autre maniere» { На Дальнем Востоке все конфликты решаются иначе (*фр.*) }, – метко сказал один из японских представителей на одной из женевских комиссий.

Чтобы подчеркнуть свой статус, Лиге нравилось вовлекать в свою деятельность все международные организации, используя с этой целью свой секретариат. Последний состоял из хорошо оплачиваемых чиновников, которые упорным и тяжелым трудом смогли придать секретариату независимый статус, так что, хотя чиновники и продолжали оставаться на службе в Лиге Наций, фактически они сами диктовали свои условия.

Теоретически такие чиновники оставались над схваткой, но на самом деле практически и в первую очередь они являлись представителями тех стран, откуда происходили, и поддерживали все их начинания. Не стоит и говорить, что большинство из них были из стран Антанты, они образовывали особое общество, озабоченное сохранением, под лозунгом: «*Racta sunt servanda*» { Договоры нужно соблюдать (*лат.*) }.

Лига Наций страдала не только от того, что ее работа началась с неправильных моральных предпосылок, но и от ошибок, совершенных в начале своей деятельности. Во имя достижения высшей цели, сохранения мира на континенте, Лига незаконно придала себе наднациональные полномочия. В соответствии с этими полномочиями Лига Наций, подобно любому национальному государству, обладающему собственными границами, должна была сосредоточить в своих руках законодательную, юридическую и исполнительную власть.

Что касается исполнительной власти, обеспечивавшейся положениями статьи 16 Устава Лиги Наций, то здесь сразу же начались сложности. Реальные властные действия можно было применять только против тех государств, которые считались слабыми и не пользовались расположением со стороны Антанты. В плане юридических функций, проводившихся через Международный суд, находившийся в Гааге, полномочия Лиги Наций также оказались весьма ограниченными. Они исчерпывались законодательными диспутами, и их результативность зависела от компетентности участников.

Все остальные проблемы, прежде всего вопросы конфликтов политических интересов, оставлялись на рассмотрение арбитражных заседаний в Совете Лиги или становились предметом обсуждения в Ассамблее, но в любом случае большинство поддерживало позицию Антанты. Политическая борьба часто продолжалась и в самом суде, только в данном случае она чуть-чуть прикрывалась личиной высокопарных юридических терминов.

В конце концов Лига Наций почти полностью исчерпала свою законодательную роль, то есть утратила свое влияние в плане международного права. Кроме того, Лига оказалась слишком реакционной, чтобы предпринять какие-либо реальные шаги. Любой член национальной делегации с помощью вето мог остановить продвижение какого-либо решения. Таким обра-

зом, Лига стала напоминать покосившееся здание. Причина заключалась в том, что строить его начали с крыши, а стены возвели до половины. Вот почему действенность законодательных инициатив оказалась столь низкой, а деятельность исполнительной власти практически и не началась.

И тем не менее Лига Наций справедливо гордилась тем, что выполнила свою роль и способствовала сохранению мира. Она также сыграла свою роль клуба, став местом регулярных встреч государственных деятелей. В вопросах, имевших второстепенное значение, соглашение часто достигалось в ходе неформальных бесед, но жизненно важные проблемы в Лиге так и оставались нерешенными. Ни одну проблему нельзя было решить из-за стремления Антанты к превосходству. Так, в войне между Боливией и Парагваем (1932 – 1935 годов, за область Чако-Бореаль. Парагвай одержал победу. – *Ред.*) роль Лиги Наций и вовсе оказалась смехотворной. В японо-китайском конфликте Лиге удалось всего лишь добиться осуждения Японии (в ответ Япония 27 марта 1933 года официально вышла из Лиги Наций. – *Ред.*).

Лига Наций также оказалась неспособной предотвратить итало-абиссинскую войну (октябрь 1935 – май 1936 года), а неудачная попытка применения санкций (7 октября 1935 года Лига Наций объявила Италию агрессором и применила к ней санкции, однако весьма неполные – Италии разрешалось закупать нефть и пользоваться Суэцким каналом. В то же время был запрещен ввоз оружия в Эфиопию, что помогло агрессору одержать победу. – *Ред.*) привела к падению ее престижа. Провал конференции по разоружению способствовал началу Второй мировой войны. К 1939 году из активно действующей организации Лига превратилась в призрак, поэтому в августе 1939 года даже не пыталась предотвратить катастрофу.

Если учесть, что еще в 1919 году я связывал с Лигой особые надежды и чаяния, то произошедшее произвело на меня удручающее впечатление. При этом лично для меня работа в Женеве оказалась необычайно поучительной. Любой сотрудник министерства иностранных дел не мог и мечтать о лучшей школе, чем те мероприятия, в которых мне доводилось принимать участие. Встречи с иностранными дипломатами и так называемыми государственными деятелями предоставляли возможность лучше узнать об особенностях каждой нации, завязать контакты с международной прессой – короче говоря, постичь технику дипломатической профессии.

По роду своей деятельности я знал изнутри германскую внутреннюю политику, поскольку германские делегации составлялись из представителей ведущих партий, а встречи в Женеве обычно сопровождалась сессиями комитета по внешней политике рейхстага. Всякий раз, когда было сложно понять действия правительства в области внешней политики, следовало обратить внимание на внутреннюю политику.

В 1931 году наш план создания Австро-Германского таможенного союза родился, возможно, из размышлений над германской внутренней политикой. Когда о нем было объявлено, я как раз собирался отправиться в Париж для участия в работе европейского комитета Бриана, где мне пришлось проявить всю выдержку, чтобы сохранять спокойствие и не показать заинтересованность в этом проекте. «*Vous me faites de belles*» {Вы вели себя превосходно (*фр.*)}, – заявили нам в Париже, хотя Таможенному союзу было суждено почить в недрах женевских переговоров. Для меня это был довольно болезненный удар не столько в связи с сентиментальным аспектом аншлюса, который я никогда не считал значительным, а как проявление единства бывших союзников. Что же касается немецкой внутренней политики, то это событие привело не к продвижению вперед, а к регрессу.

Политики всех стран, произносившие речи в Женеве, стремились к тому, чтобы их выступления печатались в национальных газетах. По примеру Бенеша они старались укрепить свое положение на родине, демонстрируя независимость своей позиции в Женеве. Представители СССР в Женеве вели неприкрытую пропаганду.

Летом 1932 года во время той же самой конференции по разоружению американцы спокойно объяснили отказ от активных политических действий грядущими президентскими выборами. Японские политики нередко занимали жесткую позицию, противоречащую их собственным убеждениям, но отвечающую интересам внутренней политики в Японии. По-моему, внешняя политика любой страны всегда зависит от ее внутренней политики.

Замечу также, что для достижения конкретных результатов во внешней политике требуется определенная атмосфера. Женевское озеро и его окрестности всегда считались необычайно живописными. Однажды мне довелось здесь встретить шведа, рассказавшего, что он не раз обошел земной шар, проплыв вокруг него двадцать три раза (швед был специалистом по маякам), и в конце концов решил поселиться в Лозанне, считая ее самым прекрасным местом на земле.

Действительно, в апреле, когда солнце начинало пригревать все сильнее, или осенью, во время сбора урожая, можно было почувствовать то же самое и согласиться со шведом, о котором я рассказывал. Когда же город, расположенный в долине, накрывал сырой туман или холодный бриз с озера дул в окна нашей гостиницы «Метрополь», можно было отправиться в прекрасную поездку к вершинам Салев и Вуарон (близ Женевы) или в горы Юра.

Жившие в Женеве немецкие семейства всячески старались облегчить нашу жизнь и привнести женственное начало в чисто мужское сообщество Лиги Наций. Кроме немецких дам, столь гостеприимно ухаживавших за нами, выделяю также маркизу Паулуччи, интеллигентную жену энергичного итальянского заместителя Генерального секретаря, миниатюрную мадам Сигимуру, супругу одного из японских коллег, и, наконец, гречанку мадам Агидес, сиявшую своей античной красотой.

Отмечу, что общественная жизнь в основном определялась профессиональными соображениями, подчиняясь политическим интересам. Общество, сложившееся вокруг Лиги Наций, во многом походило на представителей *Part pour l'art* {Искусство ради искусства (*фр.*)}. Профессионалы, вроде постоянного представителя Греции Политиса, в такой обстановке проигрывали. Они напоминали коммивояжеров, предлагавших далекие от их интересов товары, или брокеров, озабоченных только получением прибыли, а не продажей лучших товаров.

Нам следовало разрабатывать ту модель, которую лорд Каслри (или Кестльри, Роберт Стюарт, маркиз Лондондерри (1769 – 1822) – военный министр Великобритании в 1805 – 1806 и 1807 – 1809 годах, министр иностранных дел в 1812 – 1822 годах, заключил тайный договор с Австрией и Францией против России. – *Ред.*) некогда назвал «дипломатией конференций». Конечно, можно высмеивать удушливую атмосферу двора или фривольные интриги Венского конгресса (1814 – 1815), но необходимо признать, что там отмечались более солидные достижения, чем пустые заверения и болтовня на «технических конференциях» в Женеве.

За все пять лет, что я находился в Женеве, не появилось никого, о ком можно было с уверенностью заявить, что он похож на настоящего государственного деятеля. Похоже, что все, кто туда приезжал, включая и представителей стран-победительниц, не обладали должной свободой действия и ответственностью, соразмеряя каждый шаг с реакцией парламента, а также общественного мнения своих стран.

Представитель Венгрии, энергичный, но уже пожилой полиглот граф А. Апени {Апени Альберт (1846 – 1933) – венгерский дипломат и государственный деятель.}, с особым шиком выступал в защиту венгерского меньшинства, возражая против формализма румынского представителя Титулеску {Титулеску Николае (1882 – 1941) – румынский дипломат.}. Французы также стяжали лавры ораторов, а прекрасные речи Поль-Бонкура, Жюо, Фландена или Тардьё даже прерывались аплодисментами. Не говоря уже о Бриане с его вкрадчивым голосом, умолятельным подмигиванием и привычкой ходить, время от времени громогласно восклицая, что вооружение является священной обязанностью народов.

Представители Англии, такие как Артур Хендерсон или лорд Ноэль-Бейкер, пользовались *success d'estime* {Заслуженный успех (*фр.*)} благодаря своему умению четко излагать свои принципы {Хендерсон Артур (1863 – 1935) – министр иностранных дел Великобритании и председатель (с 1931 г.) Всеобщей конференции по разоружению; лорд Н о э л ь-Б е й к е р Филип (1889 – 1982) – английский государственный деятель и дипломат.}. Речи Остина Чемберлена, всегда тщательно продуманные и безупречно выстроенные, не отличались риторическими руладами, что компенсировалось весьма громким голосом. Замечу, что англичанам и французам повезло в том, что их языки признали как официальные.

Производил впечатление своей логикой и представитель Италии адвокат Скалойя. Некоторые его соотечественники, фашисты по убеждениям, нелегко вписывались в демократический формат встреч. Но большинство из них, такие как расторопный Гранди, в то время еще не расставшийся со своей длинной бородой, умный, деликатный Росссо, с которым я находился в приятельских отношениях, Бутти и многие другие, не испытывали особенного беспокойства от предписаний, которые они получали от партийного руководства в Риме. Они всегда поступали в интересах внешней политики своей страны, зная, что это поддержат власти на родине.

Я же больше всего был доволен проявлением обыкновенного здравого смысла, столь свойственного шведам или датчанам, говорившим без всякого ораторского пафоса. В отличие от современных Генеральных секретарей ООН сэр Эрик Драммонд, секретарь Лиги Наций, не будучи хорошим оратором и руководителем, редко появлялся на публике. И в своем собственном ведомстве Драммонд никогда не играл особо активной роли, он действовал скорее как обычный советник, помогая президенту Совета или Ассамблеи.

У нас же, немцев, действительно не нашлось подходящих представителей в Женеве, поскольку большинство дипломатов оказались не приспособленными к публичным выступлениям, а парламентарии плохо владели иностранными языками и на заседаниях чувствовали себя неловко. Их выступления на международной арене терялись, из-за чего другие оказывались победителями. Насколько я мог заметить, ими всегда становились представители темно-волосых наций, получившие наибольшую выгоду от конференции.

Как эксперт по проблемам Лиги, я не испытывал особых сложностей в общении с находившимися в нашей делегации депутатами рейхстага. Напротив, большинство из них с готовностью принимали наши советы по различным обсуждавшимся в Женеве вопросам, в которых они оказывались недостаточно сведущими. Нередко Штреземан не оставлял мне времени на то, чтобы я мог его информировать о проблемах, поставленных на обсуждение. Так что как эксперт я часто находился в подвешенном состоянии, ожидая, что он выкинет в ходе заседания.

Естественно, что мне было гораздо проще общаться с профессиональными дипломатами из министерства иностранных дел, например с бывшим послом графом Бернсдорфом (Бернсдорф Иоганн-Генрих (1862 – 1939) – немецкий дипломат, представитель Германии в Лиге Наций. – *Ред.*), находившимся на излете своей карьеры и продвигавшим германские вопросы без личных амбиций. Он знал всех и не допускал неожиданностей.

Преемник Штреземана доктор Юлиус Куртиус (Юлиус Куртиус (1877 – 1948) – министр иностранных дел Германии в 1929 – 1931 годах. – *Ред.*) защищал интересы Германии, как добросовестный адвокат, и прекрасно справлялся с происходящим. Страстно стремясь сохранить наш экономический и политический капитал, он нередко проявлял неуступчивость. Ясно, что в Женеве он чувствовал себя не в своей тарелке. Куртиус был министром, когда освободили Рейнланд, и вовсе не хотел покидать свой пост.

Доктор Генрих Брюнинг, канцлер (в 1930 – 1932 годах) и по совместительству министр иностранных дел, человек весьма осторожный, сумел продвигнуться, балансируя на узкой тропе между потребностями немцев и иностранным сопротивлением. Обладая упрямым и в то же время гибким характером, являясь одновременно аскетичным и щедрым, он добился признания в международных кругах. За непроницаемым лицом скрывалась огромная любовь к своей

стране. Он добивался желаемого, расталкивая всех локтями. Сохраняя неизменную позицию, в ходе долгих переговоров он добивался, чтобы другие страны добровольно шли на уступки.

В то время политику Франции в Лиге определял мой коллега Рене Массильи. Он был талантлив, образован, неутомим, всегда прекрасно информирован и готов облечь свои суждения в законченную форму. С 1920 года Массильи участвовал в разработке Версальского договора. Я говорил ему, что сложившаяся практика разработки таких соглашений устарела и теперь Франции следовало выбрать между Брюнингом и национал-социализмом. Фактически в данном случае шла речь о немедленном принятии Веймарской республики в круг наций, обладавших равными правами, что отобрало бы половину пропагандистских козырей у Гитлера. Но в Париже не имели не малейшего представления о ситуации в Германии, хотя в министерстве иностранных дел многие жалели об отставке Брюнинга.

Я находился в Женеве, когда канцлером стал фон Папен (в июле – ноябре 1932 года. – *Ред.*). Узнав об этом, мой советский коллега заявил мне: «Это конец советско-немецкой дружбы». Кабинет Папена назвал себя правительством национального единства. Но один желчный журналист заявил в комнате для отдыха нашей гостиницы, что теперь мы получили кабинет «национального ужаса». Советские же дипломаты прямо начинали рассуждать определениями, принятыми в Лиге, заявляя о целостности мира и о коллективной безопасности. На следующий год разногласия стали необратимыми, и Германия вышла из Лиги Наций.

Являлось ли случившееся неизбежным? В конце моей деятельности в Лиге, в 1931 году, мне казалось, что мое скептическое отношение к Локарнскому договору только нашло справедливое подтверждение. Я написал следующий комментарий в связи с произошедшим:

«Снова и снова становится очевидным, что Англия ощущает потребность освободиться от своих обязательств, гарантирующих статус-кво на Рейне, и заменить положение ситуацией, когда мир станет покоиться не на равновесии сил, но на неоспоримом преимуществе удовлетворенных партий...»

Проявленная в отношении Германии враждебность со стороны Бенеша и многих других оказалась достаточной, чтобы все начали считать, что Германия упустила возможность стать «лидером маленьких стран» в Женеве. Даже такие небольшие страны, придерживавшиеся нейтралитета, как Швеция и Голландия, не имели намерений стать лидерами и приветствовали нашу прогрессивную политику только потому, что она не угрожает их существованию».

Вместо движения вперед, в выигрыше оказались реакционные силы, и все это произошло в цитадели демократии. Случившееся следует приписать тому, что фактически Лига поддерживала напряженность, а не гасила ее. Ведущие личности в Женеве называли себя «*homines bonae voluntatis*» {Люди доброй воли (*фр.*)}, хотя и знали, что источник зла заложен создателями парижских договоров 1919 года.

В 1919 году Клемансо заявил французскому офицеру в Сен-Сире: «*Soyez sans inquietude pour votre avenir militaire. Le paix que nous avons faite, vous assure dix ans de conflicts dans l'Europe centrale*» {Трудитесь неустанно ради достижения вашего будущего. Мир, который мы достигнем, позволит на десять лет гарантировать прекращение конфликтов в Центральной Европе (*фр.*)}.

Пророчество Клемансо сбылось. Сенаторы в Вашингтоне оказались правы, отказавшись в 1919 году утвердить присоединение США (подписанное Вильсоном) к Лиге Наций, протестуя против любых американских обязательств, гарантировавших имеющих недостатки статус-кво 1919 года. Рожденная на волне идеалистических чаяний, Лига Наций вскоре превратилась из сообщества равноправных членом в союз, направленный против побежденных, выступая против любых возможных новых членом.

Приглашение побежденных стран было во многом самообманом. К концу 1939 года Германия и СССР, а также Италия и Япония, то есть все великие державы за исключением Англии и Франции, по принуждению или по собственной воле вышли из Лиги.

Пережив ужасы Первой мировой войны, все говорили о том, что случившееся не должно повториться. Следовательно, перед Лигой Наций выдвигались такие задачи, как третейский суд и посредничество, разоружение, запрещение войны и применение санкций. Разоружение в духовной области предполагало извлечение слова «война» из школьных книг и запрещение продажи оловянных солдатиков в качестве детских игрушек.

«Организация мира» стала постоянной темой на страницах газет. Но был ли мир фактически вопросом организации? Война оказалась страшным злом, но разве не следовало сжечь ее семена, являвшиеся источником настоящей опасности? И разве не все стремились к этому? Сохранялись (плохие или хорошие) договоры. И разве сам я не слишком резко говорил о том, что Лига прекратила существование потому, что не выполняла свои обязательства по отношению ко всем членам?

Мои друзья в нейтральных странах упрекали меня за то, что я был подвержен идеям национализма, которые Германия и пыталась продвигать в Лиге Наций. Они считали, что ослабленная после войны Германия должна была сосредоточиться на укреплении своего внутреннего единства и на длительный срок оставить всякую идею увеличения собственной мощи.

В подобных советах содержалось нечто правильное и своевременное. Культура и власть никоим образом не были сестрами-близнецами. Произошедшее сто пятьдесят лет тому назад раздробление Германии на небольшие государства (фактически Германия была раздробленной уже в XIII веке, раздробленность эта усилилась в связи с возникновением и усилением протестантизма и Тридцатилетней войной 1618 – 1648 годов, в ходе которой погибла большая часть населения Германии. – *Ред.*) не сказалось пагубным образом на духовной жизни немцев и, возможно, даже явилось стимулом ее развития.

Однако разве по-прежнему во времена мировых войн и стремления к мировой взаимной зависимости не сохранялись идиллические чаяния о гетевской Веймарской республике? Могли ли немцы сохранять свое жизненное пространство и на досуге философствовать, не имея защиты? Способны ли они жить в мире, если только сами были склонны к миру?

Беззащитный человек может дойти до полного самоотрицания или пожертвовать собой ради любви к ближнему. Но в случае с народом, который занимает свое культурное место в сообществе наций, руководители этого народа обязаны обеспечивать его долговременное существование и не должны допустить его гибели из-за недостаточной защищенности от внешних врагов.

Я посетил большинство заседаний Лиги и ее комиссий, где хорошо обоснованные требования Германии о безопасности могли быть легко удовлетворены. Спустя десять лет после войны казалось неразумным рассматривать нас как нацию, обладающую более низким статусом.

Я оставил свою службу в Женеве более всего обеспокоенный предвзятым отношением к Германии, которое резко усилилось по сравнению с первыми годами моего пребывания здесь. Однако в то время я не поддавался соблазну завоевывать дешевые лавры у немецкой прессы, играя роль сильной личности. Как служащие министерства иностранных дел, мы всегда пытались избегать давления со стороны партий рейхстага, действуя сообразно обстановке.

Гораздо позже, уже во времена Второй мировой войны, но до того, как состоялась конференция в Думбартон-Оксе (усадьба в Вашингтоне, с 21 августа по 7 октября 1944 года. – *Ред.*) и Сан-Франциско (с 25 апреля по 26 июня 1945 года. – *Ред.*), я сделал следующую памятную запись, связанную с моим женевским опытом:

«Под именем Священного союза в рамках договора четырех великих держав, впрочем, его можно назвать и иначе, потребность сотрудничества между великими державами сохранялась в течение длительного времени и будет еще существовать.

В то время обладавшие менее сильной позицией Соединенные Штаты не хотели упускать возможность установления определенного контроля, хотя бы и с помощью независимого три-

бунала, над более сильными великими державами. Следовательно, провал женевского эксперимента вовсе не означал, что на некоторое время следует оставить любые аналогичные попытки. Если и следует извлечь урок из эксперимента, то не следует пытаться стремиться к предотвращению или подавлению войны с помощью жестких формул. Перед новой Лигой не раз поставят задачи, которые ей окажутся не по силам. Но она сможет вырасти из скромных начинаний. И она организуется на универсальной основе без всяких ограничений.

В то же время не следует надеяться, что на ее основе не возникнут особые отношения и союзы. Всегда в международных кругах сохранятся богатые и бедные, консерваторы и прогрессивно мыслящие. Так и Германия после вынужденного ожидания в приходе обязательно присоединится к реакционному международному клубу в Женеве – как пролетариат, рвущийся на руководящие позиции. Не случайно Генеральный секретарь Лиги Наций сэра Эрик Драммонд говорил нам, немцам, в 1929 году: «Вы находитесь в Лиге, но не являетесь ее частью».

Подобная ремарка прекрасно выразила и упреки Генерального секретаря в отношении самой Лиги. Стремясь быть универсальным и сверхнациональным образованием, наподобие того, которое объединило немецкие государства в Империю с 1871 по 1918 год, или Швейцарской конфедерации, на самом деле она продолжала существовать так, как будто поддерживала своих членов и не пыталась придавать отдельным странам более низкий статус.

Новая и более универсальная Лига Наций должна основываться на равенстве и справедливости, или она почует в бозе, как и первая».

Я писал эти строки, находясь в Ватикане, и пытался в то время, когда была образована Организация Объединенных Наций (то есть в 1944 – 1945 годах), добиться, чтобы меня услышали. Но структура и характер действий новой организации оказались совсем иными.

Мои воспоминания о Лиге Наций окрашены горечью, а моя критика может показаться слишком эмоциональной. Но я не могу ничего поделать с собой. Критическое отношение отразило не только разочарование тем, что я связывал свои надежды с Лигой, вся моя неутомимая деятельность оказалась тщетной. И не только потому, что была утрачена реальная возможность достичь прогресса.

Главным оказался тот факт, что те идеи, которые привели к образованию Лиги, оказались нереализованными. Переломный момент, который мог быть использован для того, чтобы примирить старых и раздраженных соперников, был упущен, а имевшиеся возможности не использованы. Теперь германская политика шла в сторону неконтролируемой националистической диктатуры. Такова была суть глубокой трагедии, потому что последовавшие в дальнейшем действия не заслуживают того, чтобы называться международной политикой.

После большого пожара начинают разбираться в его причинах, а не только рассуждают о том, какие же основания помешали достижению успеха. Оглядываясь в прошлое, на тридцать лет назад, я, в отличие от многих, более заинтересован в рассказе о первой половине периода, чем о последней. Я нахожу, что первые пятнадцать лет после Первой мировой войны 1914 – 1918 годов оказались более увлекательными для политики или, по крайней мере, более поучительными и понятными для анализа, чем гитлеровская эпоха, которая, кроме всего прочего, не представляла собой ничего иного, как смертельно опасное заигрывание с мировой стабильностью. Можно только грустно оглядываться назад, не пытаясь ничего говорить. В последнем случае, когда разум мог действительно изменить мир, ничего не получилось. Но тогда я ничего не предвидел и не заходил так далеко со своими прогнозами.

Зимой 1931/32 года мы с женой отдыхали на каникулах в Буккове в Бранденбурге. Там мне впервые довелось побывать на национал-социалистическом партийном собрании в местной гостинице, где докладчик упомянул работу Лиги Наций и немецкой делегации. «Целыми днями, – заявил он, – они пьют и едят в лучших гостиницах Женевы. И кого туда отправляет правительство? Самых глупых людей, каких может сыскать».

Что касается меня, то я вовсе не стал бы говорить о том, что жизнь в Женеве была приятной. С постоянными стычками и нервными встрясками, Женева плохо сказалась на моем здоровье. Поэтому летом 1931 года руководство министерства иностранных дел, не освобождая меня полностью от работы в Женеве, решило «вывести меня на свежий воздух», отправив в качестве чрезвычайного и полномочного посла Германии в Норвегию – в Осло.

ЖЕНЕВА И ОСЛО (1931 – 1933)

Впервые я увидел Норвегию в 1900 году, когда был морским кадетом. Мое первое впечатление от этой мрачной, но удивительно привлекательной страны сложилось из образов ее покрытых облаками гор и одиноких гранитных островов, вырвавшихся из серо-зеленоватого моря. Входя в Тронхеймсфьорд, мы прошли вокруг одного из них – Мунхольмена, на котором располагался старый монастырь, а затем каждое утро занимались возле него греблей, близ стоянки «Шарлотты». Я помню молчаливых мужчин и женщин и прием под дождем на берегу озера Сельбушеэн.

Позже, после круизов по фьордам с их длинными проходами и поездок в горы, в моей памяти сложились более яркие и привлекательные картины Норвегии. Поэтому я был рад вновь увидеть эту страну в 1931 году.

Конечно, мы отправились туда по морю через Копенгаген. Возможно, это было лучше, чем прибывать в Осло через континентальную Данию, Ютландию и затем на датском пароходе. Обсуждая проблему германо-датской границы в Ютландии, датчане склонялись к тому, что путь к сердцу Скандинавии лежит через Шлезвиг-Гольштейн.

Но к тому времени, как мы прибыли, в Норвегии не осталось никаких следов скандинавской общности (до 1814 года Норвегия входила в состав Дании, затем до 1905 года – Швеции. – *Ред.*). Вразрез с местными обычаями, кабинет в Осло засиживался далеко за полночь, обсуждая притязания Норвегии на западное побережье Гренландии, обойдя Данию (в 1814 году, при расторжении датско-норвежской унии, Германия была оставлена за Данией. В 1933 году в Гааге суверенитет Дании над всей Гренландией был подтвержден. – *Ред.*). Спустя некоторое время негодование против политики Дании выхлестнулось и за пределы Осло. Раздражение копилось давно и уходило своими корнями в «темные» столетия датского господства в Норвегии.

Возможно, под воздействием именно этих настроений началась кампания за возвращение старого норвежского языка, ибо современный норвежский оказался весьма близок к датскому. Мне довелось слышать речь президента, выступавшего перед королем на открытии стортинга (парламента) на старонорвежском языке, так называемом «ландсмаале».

Избранный король Норвегии Хокон VII (бывший Карл Датский, зять английского короля. – *Ред.*) не смог воспрепятствовать всеобщему оживлению. Он был братом датского короля Христиана, в юности служил в датском флоте и говорил по-норвежски с легким датским акцентом. О своем положении в Норвегии король, философски улыбаясь, как-то заметил, что ему не разрешали никуда совать свой нос, за исключением собственного носового платка.

Однако фактически за двадцать пять лет правления Хокон VII смог проявить себя как сильный и грамотный политик, и было бы ошибкой не учитывать его влияние. Обычно он шуточно обращался ко мне «герр коллега» (коллега), поскольку мы оба провели определенную часть нашей жизни на флоте. Сам же я обращался к королю с большим уважением, и он относился ко мне благосклонно.

Не оказалось ничего сложного и в том, чтобы поддерживать хорошие отношения с официальными норвежскими кругами и норвежцами в целом. Казалось, их природными свойствами являются любовь к правде и свободе. Норвежский национальный характер сформировался из круга занятий этого народа – рыболовства и плавания в бурном море, земледелия на бедных почвах и др. Редко доводилось слышать, как эти люди смеялись или пели. Как части первозданных скал выступали на улицы их столицы, так и некоторые твердо укоренившиеся идеи выступали постоянной составляющей норвежской ментальности. С норвежцами всегда было все ясно и всегда было легко разговаривать прямо и открыто.

Моя жена однажды сказала, что норвежцы казались ей теми существами, которых и имел в виду Создатель, когда творил мир. Местное население не скрывало своих религиозных при-

страстей. В протестантской Норвегии епископ Бергграв, как сигнальный маяк, отправлял свои лучи из города Тромсе (стоявшего на острове на севере страны), где в то время находилась его официальная резиденция, к своей широко рассеянной по стране пастве, вплоть до саамов, проживавших на дальнем севере страны.

Все полагали, что он способен на нечто большее. После вторжения немцев в 1940 году епископ был интернирован, восприняв это как величайшую несправедливость. Предпринимавшиеся тогда попытки облегчить его положение во время интернирования закончились ничем, частично из-за упорства некоторых его собственных сограждан.

Норвегия считалась райским местом для индивидуалистов, отшельников и эксцентричных личностей. Проживавшие здесь многочисленные художники и писатели не любили появляться в обществе. В один из новогодних дней я умудрился проникнуть в дом художника Мунка (1863 – 1944, наиболее известное произведение – «Крик» (1893), охранявшийся эскимосскими собаками-лайками. Дом этот оказался очень холодным, все в нем находилось в художественном беспорядке. В Норвегии все желали жить по-своему и за своей собственной оградой. Мне даже говорили, что, прежде чем войти в гостиницу, лучше оставить свой рюкзак за дверью и лишь затем попросить убежища. Тогда путника всегда принимали более радушно.

Мы путешествовали по всей стране. Чем дальше к северу, тем все казалось грандиознее, и самым впечатляющим оказывались открывавшиеся перед нами не сравнимые ни с чем красоты природы. Казалось, что природа и человеческие существа стремятся к бесконечности – подобно линиям долгот на картах в проекции Меркатора.

На столь обширном пространстве у нас было двадцать почетных консулов, большинство из них – норвежцы. Я посетил почти всех, находившихся в различных городах, начав с Кристиансанна на юге, затем через Ставангер, Тронхейм, Тромсе до Хаммерфеста на севере, и добрался до Киркенеса на самой финской (до 1920 года – российской, после 1945 года – советской и российской. – *Ред.*) границе. Большинство консулов оказались бизнесменами и масонами, не имевшими ясно выраженных политических взглядов. Они умело выполняли возложенные на них официальные функции.

Некоторое беспокойство у них вызывали немецкие *Wandervogel* (путешественники), которые в то время хотели совершать поездки на Крайний Север. Только с одним консулом мне никак не удавалось связаться. Он находился на отдаленном острове Варде, по другую сторону мыса Нордкап. В течение девяти месяцев он не отвечал ни на письменные, ни на телеграфные запросы. Но тем не менее говорили, что он еще жив.

Отправившись навестить его на острове, я обнаружил, что его офис закрыт. Тогда кто-то на улице указал мне на дальний угол дома, где, как он сказал, занавесив окна, консул спал после запоя. После того как я увидел Варде, я не стал порицать его поведение. Жившие на острове люди были во многом похожи на мох, прилипший к голой гранитной скале.

В южной части страны население более близко контактировало с внешним миром. Во время экскурсии в Конгсберг я был поражен улицей, состоявшей из прелестных вилл на окраине города. Наш консул объяснил мне, что они построены в результате доходов, полученных от войны 1914 – 1918 годов. Когда я пристальнее взгляделся, то обнаружил, что там же находится и другой ряд домов, датированных 1870 – 1871 годами, а самый внутренний ряд состоял из домов, построенных во времена Крымской войны (1853 – 1856). Оставалось только задуматься над тем, как скоро здесь появится новый ряд.

Норвежцы старались не ввязываться в европейские конфликты, поэтому их стали считать пацифистами. Оставаясь мореплавателями, они были на стороне скорее англичан, чем немцев. Но предпочитали не иметь дело ни с теми ни с другими. Их политические интересы ограничивались Скандинавией. Норвежцы плохо ладили с датчанами, предпочитая шведов.

Не позднее чем в 1911 году, вскоре после отделения в 1905 году Норвегии от Швеции, помню, как прекрасной летней ночью в Молде (порт на северном берегу Молде-фьорда в Мере-

Ог-Ромсдал в Южной Норвегии), когда мы пили пунш на шканцах «Германии», эксцентричный норвежский подполковник рассказал мне, что больше всего на свете мечтает о том, как бы вступить в войну со Швецией.

Однако к 1931 году давно существовали дружеские отношения со Швецией, воплощавшиеся в фигуре кронпринцессы Марты. На самом деле ни одно скандинавское государство действительно не думало о вовлечении в конфликт с тем или иным скандинавским государством. Но в то же время им оказалось непросто оказать содействие кому-либо.

Предметом обсуждения в летние месяцы оказался скандинавизм (или панскандинавизм). Он породил конгрессы, на которых обсуждалось множество вопросов, в основном речь шла о высоких материях, не имевших практического выхода. Пять государств – Финляндия, Швеция, Дания, Исландия и Норвегия – занимали совершенно различные позиции в отношении возможной угрозы войны. Реальная солидарность никоим образом не могла основываться только на пацифизме.

В Лиге Наций существовала так называемая «группа Осло», состоявшая из представителей Скандинавских стран, иногда выступавшая вместе с другими странами, занимавшими нейтральную позицию. Но эта группа оказалась совершенно неспособной выдвигать какие-либо серьезные политические требования, ограничившись чисто теоретическими разработками общих подходов к вопросам мирного урегулирования в Лиге Наций. Для достижения эффективных результатов, например проведения политики активного нейтралитета, Скандинавским странам нужно было преобразоваться в ассоциацию, построенную на единых принципах.

В Женеве я с радостью встретился с моими новыми норвежскими друзьями. 2 февраля 1932 года здесь открылась конференция по разоружению, в которой мне довелось участвовать. Необходимость жизни на две страны, нахождение между Осло и Женевой вовсе не привлекали меня, тем более что решения конференции были predeterminedены еще до ее открытия. В начале лета нашей делегации пришлось устроить своего рода забастовку, поскольку великие державы блокировали любое позитивное решение. Вскоре после этого мне удалось оставить нашу делегацию, поскольку я ожидал в Осло визит немецких военных кораблей вместе с командующим флотом адмиралом Гладишем.

Посещение флота означало для меня возможность удачно совместить обе мои профессии, визит пришелся на то время, когда в Норвегии кабинетом заправляла аграрная партия. Военным министром оказался молодой человек по имени Квислинг (Видкун Квислинг (1887 – 1945) – организатор (1933) и лидер нацистской партии в Норвегии. Содействовал захвату в 1940 году Норвегии германскими армией и флотом, в 1942 – 1945 годах премьер-министр правительства, сотрудничавшего с оккупантами. Казнен. – *Ред.*). Говорили, что первоначально он был ревностным коммунистом, но после визита в Советскую Россию стал столь же ревностным противником большевиков. Коллеги из аграрной партии не принимали его всерьез. На него смотрели как на нордического чудака, говорили, что он без тормозов, и с ним необычайно трудно разговаривать.

Правда, лично мне Квислинг не давал никаких оснований жаловаться на него. Во время посещения флота он демонстрировал исключительное дружелюбие. Кто мог тогда представить, что вскоре его имя станет нарицательным обозначением политика, предавшего интересы своей собственной страны?

В 1932 году мне пришлось снова отправиться в Женеву. Кроме всего прочего, великие державы находили ситуацию, вытекавшую из их саботажа процесса разоружения, несколько непристойной. Наше часто звучавшее требование *egalite des droits* {Уравнение в правах (*фр.*)} нашло отражение в декларации пяти держав, принятой 11 декабря, где в сжатом виде Германия гарантировала равные права в отношении вооружения и безопасности. Так нам удалось достичь значимого результата в дипломатической стратегии, и дверь для продолжения

работы конференции снова была открыта. Мне же было суждено возвратиться к своему приятному месту работы в Осло.

Но спокойный период длился недолго. Уже утром 31 января 1933 года нам пришло известие из Берлина, что Адольф Гитлер получил всю полноту власти.

Современные читатели знают, к каким страшным переменам привели эти события. Поскольку первый кабинет Гитлера в основном состоял из людей, не являвшихся членами нацистской партии, вначале многим показалось, что последнее слово будет не за национал-социалистами. Для тех же, кто, как мы, находился за пределами Германии, перемены виделись достаточно серьезными.

Никогда не проявляя активного интереса к внутренней политике, я все же был склонен рассматривать события в этой сфере с точки зрения их благоприятствования достижению прочной внешней политики. Детство, школьные годы и служба на флоте сделали меня монархистом. Я полагал, хотя и не абсолютизируя, что конституционная монархия во главе с мудрым правителем является именно той системой, которая в обычные времена более всего отвечает немецкому характеру.

Мне было также ясно, что каждое время требует своих форм, и всегда полагал, что было бы неправильным делать проблему, требующую конституционных решений, личным убеждением, в том смысле, что, например, государственные гражданские службы должны были в 1918 году устроить забастовку в целях сохранения монархии или поступить подобным же образом в 1933 году, стремясь сохранить республику. *Salus publica suprema lex* {Благо народа пусть будет высшим законом (лат.)}.

Меня удивило, что Гинденбург лично способствовал утверждению национал-социалистической диктатуры. В декабре 1932 года, направляясь из Женевы в Осло мимо Боденского озера и затем через Берлин, я изменил своей привычке покупать *Völkischer Beobachter* (газета НСДАП. – Ред.) ради получения представления о ситуации. Я больше не верил в победу нацистов, ибо в то время они только что (в ноябре) потерпели поражение на выборах, потеряв часть голосов.

Мне рассказывали, что однажды, когда при Гинденбурге упомянули имя Гитлера в качестве возможного канцлера, он ответил: «Гитлер – канцлер? Как главный почтмейстер, он может лизать меня сзади, как это делают перед наклеиванием марок».

Находясь за границей, я явно занизил темпы роста национал-социалистического движения и не сумел точно представить его цели. Впрочем, в то время никто не смог бы получить истинное представление об их намерениях. Сам же я судил о партии на основании знакомства с несколькими ведущими ее членами, с которыми мне доводилось встречаться в Женеве и чья наивность в вопросах внешней политики казалось просто обескураживающей. Никто не относился к ним серьезно.

Однажды, 31 января 1933 года, я вынужден был довести до сведения моих коллег, находившихся в Осло, что я буду выполнять инструкции, поступающие из Берлина, до тех пор, пока они не расходятся с моими принципами. Но новое правительство имело полное право (а возможно, и должно было это делать) набирать представителей государства, работавших за рубежом, из своих рядов. И поскольку я не происходил из партийных выдвиженцев, меня бы вовсе не удивило, если бы меня отозвали.

В обязанности иностранной службы входили посреднические функции, а это означало, что если ее зарубежный представитель действует успешно, то он приобретает доверие обеих сторон, своего собственного правительства и той страны, в которой аккредитован. Поскольку и Нейрат, и особенно Бюлов в течение длительного времени находились во главе министерства иностранных дел, я мог утверждать, что пользовался доверием собственной страны.

Однако даже в Осло вскоре заметили, что появились разногласия между теми, кто оказался ответственным за проведение нашей внешней политики, и теми, кто ее фактически про-

водил. В работу министерства постоянно вмешивались неквалифицированные представители партии. В самые первые дни существования нового режима Геринг отправил в Newspaper for Commerce and Shipping, выходящую в Гетеборге, угрожающую телеграмму, которую вся Скандинавия сочла нелепой. Так в Норвегии появились первые ласточки нацистской пропаганды.

В то время норвежцы относились к новому движению в Германии достаточно сдержанно. Король с удовольствием говорил мне, что в его стране с приблизительно 3 миллионами жителей ему не доводилось править жестко, применяя диктаторские методы. Но если бы население превышало вышеприведенную цифру в двадцать пять раз, он бы ощущал беспокойство и неуверенность. Другие пророчествовали, что Германия находилась в ужасном застое. Немецкая колония заняла выжидательную позицию. В течение тех шести месяцев, что я оставался в Осло, нацистская партия предприняла всего лишь несколько начинаний.

Во время кратковременной поездки в Германию 1 апреля мне довелось увидеть в Альтоне (центр Гамбурга) разбитые витрины еврейских магазинов, пострадавших во время «хрустальной ночи». И в Берлине я чувствовал, что находившаяся теперь у власти партия состоит не из пустословов и демагогов, но из опасных революционеров, тех людей, что были способны выполнить свои угрозы. Больше не нужно было имитировать итальянский фашизм с его комически шаржированной брутальностью, наступила пора активных революционных преобразований. Мне даже казалось, что больше всего происходящее приближалось к коммунистическим методикам.

Первыми жертвами нацистов стали неарийцы. Представителям еврейской интеллигенции до 1933 года разрешалось продолжать пользоваться теми большими преимуществами, которые они получили во времена Веймарской республики. Сейчас все видели, что им угрожает реальная опасность. Антисемитизм на самом деле не относился к особенностям, свойственным немцам (после событий 1918 – 1922 годов, когда в Германии попытались раздуть «пожар мировой революции», после трудных послевоенных лет и кризиса 1929 – 1933 годов (когда все и каждый показали свое истинное лицо) менталитет немцев в этом отношении круто изменился, на чем и сыграл Гитлер. – Ред.), но теперь он превратился в оружие революционной пропаганды, как бы он ни нравился среднему классу и государственным чиновникам.

1 мая, в новый официальный немецкий праздник, заимствованный у международных левых партий, повсюду, даже в моем ведомстве, происходили инциденты с флагами. В соответствии с инструкциями из Берлина нам следовало поднять флаг со свастикой вместе с черно-бело-красным флагом рейха. В немецком консульстве в Кристиансанне группа социалистов, промаршировавшая мимо него 1 мая, сорвала флаг со свастикой, а затем бросила его в море. К счастью, мне самому удалось быстро погасить конфликт благодаря пониманию, проявленному со стороны министра иностранных дел, еще до того, как Берлин сумел послать мне более суровые распоряжения.

Всем иностранным государствам приходилось обращать внимание на то, что происходит в Германии. Переговоры по разоружению снова явно замедлились. Во время поездки, совершенной мной вместе с моей женой в первой половине мая в Олесунн и Молде и обратно через прекрасный Румсдалс-фьорд, меня не оставляло чувство беспокойства, поскольку я видел, что политический курс нацистов вел к новой войне.

Вскоре, без всяких явных причин, мне пришлось задать себе в Норвегии вопрос, справедливо ли продолжать мою деятельность в правительстве. Если я оставался на службе, то обязательно стал бы уступать новому образу мышления и начал говорить иначе. Дома мне удавалось этого избегать. Противореча давно сложившемуся обычаю, мне пришлось объяснять в своих сообщениях в Берлин мои собственные шаги. То есть писать для новичков в политике (вместо того, чтобы просто сообщать о получаемых мною сведениях в министерстве иностранных дел Норвегии).

С другой стороны, мне казалось необходимым дать новым немецким властям урок – не преподносить сказанное иностранным государствам в той грубой форме, что была им свойственна, вызывая совершенно недвусмысленную реакцию. Обычно мне приходилось принимать на себя функции буфера.

Находясь в Норвегии, было трудно выяснить, кто в Германии был главным советником по вопросам внешней политики. Фон Нейрат оставался на своем посту в должности министра иностранных дел вплоть до 30 января 1933 года. Именно он пытался как можно дольше сохранить в нашем министерстве прежнюю расстановку кадров, но в начале апреля все же был вынужден предложить мне занять должность статс-секретаря, поскольку фон Бюлов чувствовал себя не очень хорошо.

Я заявил, что прекрасно понимаю, как сложилось так, что за последние два месяца ему пришлось трижды предлагать свою отставку, чтобы сохранять лицо в министерстве иностранных дел. Но я не принял предложение фон Нейрата, согласившись с фон Бюловым, что нам не следует оставлять наши посты. В то время мы не могли обойтись без таких высококлассных специалистов. Позже я также посоветовал Бюлову оставаться на службе до тех пор, пока шторм не уляжется. Я не верил в то, что Третий рейх продержится долго.

Тем временем, чтобы играть на руку политическим новичкам, Альфред Розенберг (1893 – 1946, с 1923 года главный редактор газеты «Фелькишер беобахтер», печатного органа НСДАП. С 1933 года руководитель внешнеполитического отдела партии, с 1941 года – министр оккупированных территорий. – Ред.) открыл в Берлине свой Aussenpolitishes Amt (офис внешней политики), названный АПА.

Мне же заявили, что меня переводят в дипломатическую миссию в Берн. Но прежде чем туда отправиться, я должен был провести два месяца в министерстве иностранных дел в качестве главы отдела кадров. Это означало столкновение с партией в ее излюбленной сфере деятельности.

В связи с новым назначением мне в основном довелось общаться с эрбпринцем (то есть будущим князем. – Ред.) Вальдеком, назначенным в министерство иностранных дел с этой особой целью. Он относился к тем немецким князьям, которые видели будущее Германии за национал-социалистической партией. Я имел с ним продолжительные дебаты. Точно следуя партийным инструкциям, он не слишком задумывался о личном составе, и штат квалифицированных чиновников таял буквально на глазах. Тогда я потребовал, что, если будут продолжаться сокращения, оставшиеся должны быть наделены полномочиями, предполагавшими вотум доверия. Однако мои расчеты оказались слишком оптимистическими. Действительно, партия требовала от нас вначале провести обширные изменения в нашем кадровом составе, а с другой стороны, не выказывала никакого доверия к тем, кто остался.

В то время нам даже удалось сохранить нескольких еврейских чиновников, захотевших остаться в министерстве иностранных дел. Мы ничего не могли сделать только в том случае, если документально подтверждалась враждебность по отношению к НСДАП {НСДАП – Национал-социалистическая рабочая партия Германии (официальное название гитлеровской партии)}. Я надеялся, что мы сможем запретить членство в партии в нашем ведомстве, точно так же, как это было сделано в армии, поскольку наши зарубежные представители не могли вовлекаться в политику партии.

Если это не представлялось возможным, самым подходящим, вероятно, оставалось коллективное членство всего ведомства в партии. Но мои предложения не были приняты. В сложившихся обстоятельствах казалось вполне естественным распространение чувства неуверенности среди чиновников. Самые активные пытались найти свои пути проникновения в партию, другие оказались слишком гордыми, чтобы проделывать это. Третьи предпочли двигаться по накатанной колее, находились также и те, кто верил, что Третий рейх канет в вечность, как дурной сон. Когда речь шла обо мне, я объяснил Вальдеку, что поскольку я никогда не при-

надлежал ни к какой партии и не хотел этого, то намеревался следовать своим принципам и в дальнейшем. На некоторое время меня оставили в покое.

В 1933 году казалось совершенно непривычным видеть людей в партийной форме в коридорах министерства иностранных дел. В то же время все чувствовали, что за ними следят (что, наверное, было правдой). Обнаружили, что один из секретарей в течение длительного времени делал копии всех значимых личных документов в департаменте и пересылал их в партию. Общее доверие, составлявшее источник жизненной силы нашей службы, ушло в прошлое.

Генерал Курт фон Хаммерштейн-Экворд (1878 – 1943, с 1930 года командующий сухопутными силами рейхсвера, с 1 февраля 1934 года в отставке, с 1939 года на службе, 25 апреля 1943 года скоропостижно скончался. – Ред.), являвшийся для меня олицетворением здравого смысла, которого в качестве главнокомандующего вооруженными силами сместил генерал Вернер фон Бломберг (1878 – 1946, с января 1933 года министр рейхсвера, с 1935 года – главнокомандующий вооруженными силами и военный министр, с 1936 года генерал-фельдмаршал, в 1938 году уволен в отставку. – Ред.), знал того, кому он был противопоставлен. Он заявлял мне, что мы обречены жить при режиме Гитлера, что должны его строить в течение ближайших десяти лет. Но я совершил ошибку, о которой достаточно скоро стало известно и за рубежом, поверив, что безрассудная финансовая политика Гитлера в короткое время вызовет общую экономическую катастрофу в Германии (как оказалось, не вызвала – напротив, привела к бурному промышленному росту и всеобщей занятости), что, в свою очередь, приведет к смене режима.

Больше всего в Берлине мне не нравилось отношение национал-социалистического движения к христианской церкви. Сначала я серьезно воспринял попытки объединения различных ответвлений протестантской церкви под эгидой так называемого рейхс-епископа Мюллера (бывшего армейского капеллана), пока Вальдек не объяснил мне истинную подоплеку его действий. Он рассказал мне, что истинной целью Мюллера было только создание своего рода орудия, которое можно было бы потом использовать против Римско-католической церкви.

В маленькой церкви, находившейся в берлинском районе Тиргартен, я наблюдал за следующей церемонией, которая мне показалась необычайно значимой. Перед алтарем установили партийный флаг. Во время проповеди несколько раз сменялись носители штандарта, и каждый раз они салютовали в манере, свойственной фашистам, прежде чем флаг снова устанавливался у Распятия.

Вот почему я с удовольствием покидал Берлин. Как дипломат, работавший за рубежом, я, по крайней мере, должен был выполнять конкретную и спокойную работу, ведущую к пониманию и установлению добрососедских отношений. Я направлялся в Осло, чтобы распрощаться с ним, и город открылся передо мной в самом лучшем и дружелюбном свете. Мы плыли на норвежском судне, нам сопутствовал свежий бриз на протяжении всего нашего плавания по проливам Каттегат и Большой Бельт, а затем по Кильскому каналу в сторону Гамбурга.

В конце лета мы с женой прибыли в Берн.

БЕРН (1933 – 1936)

Когда национал-социалисты угрожали, что после того, как они захватят власть, «покажутся головы», старый член министерства иностранных дел заявил, что в отношении его ведомства такой опасности не существует. Здесь нет никого с мозгами, так что и выбивать нечего.

Действительно, мы практически обошлись без потерь. Даже социал-демократ Адольф Мюллер, которого я сменил на его посту в Берне, представлял Третий рейх более трех месяцев, хотя далеко превысил (по возрасту) срок, необходимый для отставки. Сам же я, покинув Берлин, не имел ни малейшего представления о том, что ожидалось от меня в Швейцарии. Во время работы в Лиге Наций передо мной ставились конкретные и реальные цели, одна из них заключалась в достижении прочного мира при условии равенства прав в отношении Германии. После прихода Гитлера к власти я видел только одну цель: предотвратить войну, избегая конфликтов и ситуаций, способных вызвать острые разногласия. Скорее всего, я должен был действовать активно, а не выступать в функции тормоза.

Гитлер принял меня в старой рейхсканцелярии. Встреча произвела на меня двойственное впечатление. Когда я вошел в кабинет фюрера, он сидел за своим столом, склонившись над бумагами. Подняв глаза, Гитлер заметил меня и быстрым взмахом руки откинул на лоб свою известную по фотографиям прядь волос, которая была зачесана на сторону.

Видимо, это должно было стать сигналом для меня. Если бы я обладал минимальными способностями медиума и не был скептически настроен, его жест произвел бы на меня отрезвляющее впечатление. Последующая беседа оказалась совершенно неинтересной. Услышав, что я с удовольствием отправляюсь в Швейцарию, он сильно удивился, видимо, ему казалось странным, что кто-то хочет отправиться за границу, когда в Германии происходили такие большие перемены. Затем он сделал несколько пренебрежительных замечаний по поводу Швейцарии, особенно относительно ее демократии и прессы. В конце беседы он спросил меня, как столь разнородная страна, как Швейцария, смогла добиться единства нации. Когда я ответил, что виной всему горы, он промолчал.

Во время моего пребывания в Берне Гитлер не вынашивал особенных планов в отношении Швейцарии. Позже, примерно в 1937 году, он выступил с обнадеживающим публичным заявлением, составленным, как мне казалось, бывшим председателем бундесрата Шультессом. В нем говорилось, что при любых обстоятельствах Гитлер будет уважать нейтралитет Швейцарии. Вскоре он повторил это заявление и швейцарскому послу Фрелихеру.

Необходимость подобных заявлений была связана с тем, что высказывания некоторых партийных лидеров обострили немецко-швейцарские отношения. Чего стоили сильные выражения типа: «У этих швейцарцев опилки в голове», неоднократно прозвучавшие в публичных выступлениях Геринга. Замечу, что он допускал и более грубые выражения. Не отставал от него баденский гаулейтер Вагнер, угрожающие речи которого не только разносились по всему Рейну, но и появлялись в южногерманских газетах. Понятно, что в Швейцарии, особенно в северных кантонах, они породили страх германской аннексии.

В то же время среди швейцарской молодежи в Базеле и Цюрихе сформировались группы, симпатизировавшие национал-социалистам и копировавшие германское нацистское движение. Подобные эксперименты уже наблюдались в Швейцарии после прихода к власти в Италии фашистов, но к событиям в Германии здесь относились более серьезно. Лесной инспектор бернского бургершафта, то есть старого бернского патрициата, господин фон Маркуар в ходе одной из проверок сказал лесному рабочему, чтобы тот лучше укладывал бревна. Тот ответил: «Не стоит, Гитлер скоро придет и отберет все». Когда я позже рассказал эту историю Гитлеру, тот не нашел в ней ничего смешного.

В Швейцарии не верили в звучащие в Берлине лозунги, что национал-социализм не предназначается для экспорта. Здесь полагали, что Наполеон был более честен, когда заявлял: «История докажет, что Швейцария всегда находилась под влиянием Франции. Во всем, что касается Франции, Швейцария должна стать французской, как и все те страны, что граничат с Францией».

Определенный эффект произвела в Швейцарии и борьба с христианской церковью в Германии. Швейцарцев также беспокоил рост антисемитских настроений. Люди начали говорить о «духовной обороне страны», не одобряя те формы, которые принимала германская революция, и практически не интересуясь ходом ее развития. В июне 1933 года Гитлер заявил, что революция завершилась, чего, к сожалению, на самом деле не случилось.

Мне казалось, что при явно недостаточной армии и ненадежных соседях неразумно отклоняться от взвешенного внешнеполитического курса и призывать к вторжению в соседние страны, наподобие того, как происходило во времена французской революции. Напротив, нам самим угрожали, поэтому мы нуждались в толерантности. Я полностью согласился с швейцарским президентом, когда во время вручения верительных грамот он заявил мне, что все должны разрешать другим народам искать спасение свойственным им способом. Иначе говоря, мы не должны пытаться ввозить национал-социализм в Швейцарию.

Главной моей задачей как посла было всемерное развитие торговых связей, существовавших между нами и Швейцарией, избегая, насколько это оказывалось возможным, инцидентов. В Германии болезненно относились к критике, имевшей место в швейцарской печати. Полагали, что Швейцария готовится выполнять роль запасного аэродрома для немецких *émigrés* {Эмигранты (*фр.*)}. С другой стороны, Швейцария протестовала против политических и полицейских мер со стороны Германии.

Последний момент никак нельзя было игнорировать. Приведу один пример, вызвавший большие споры, – так называемое «дело Якоба». Этот Якоб, по-моему его фамилия была Саломон, был эмигрантом, активно выступавшим против Третьего рейха в Страсбурге. Немецкие полицейские агенты бандитским образом заманили его в засаду в Клейнбазель (район Базеля. – *Ред.*), то есть на швейцарскую территорию, где арестовали и тайно вывезли в Германию через находившуюся неподалеку границу. Все это всплыло, немецким властям пришлось неохотно подтвердить все факты, но самого Саломона они так и не вернули.

Отчасти эта история напоминала хорошо известный франко-немецкий «инцидент Шнебеле» 1887 года, вызвавший в то время паническое чувство, что разразится вооруженный конфликт. Но тогда без излишней нервозности Бисмарк решил, что арестованный на немецкой земле французский таможенник Шнебеле должен быть отпущен (арестованный по обвинению в шпионаже 21 апреля 1887 года Шнебеле был освобожден (30 апреля), и немецкая сторона временно отказалась от политики обострения отношений с Францией из-за России и Австро-Венгрии, занявших неблагоприятную для Германии позицию. – *Ред.*). Теперь дело оказалось гораздо более серьезным, поскольку немцы нагло попрали швейцарский нейтралитет и их поведение казалось вызывающим.

На меня выпала сложная задача: успокоить бундесхауз (бундесхауз, или Федеральный дворец, – здание Федерального собрания Швейцарии на площади Бундесплац. – *Ред.*) в Берне, пока мне не удастся преодолеть упорство немецких официальных ведомств. Швейцария хотела обратиться в Международный арбитражный суд. Я посоветовал Берлину предвосхитить решение арбитражного суда, но только после нескольких месяцев сопротивления немецкое правительство объявило о своей готовности вернуть Саломона в Швейцарию, после чего его быстро переправили во Францию.

Отмечу, что швейцарский министр иностранных дел Джузеппе Мотта оказался весьма тактичным человеком, что облегчало ведение переговоров. Выходец с южных склонов Сен-Готарда (то есть из швейцарского кантона Тичино (Тессин), населенного в основном итальян-

цами. – Ред.), он соединял латинский образ мышления с немецкой основательностью и полностью контролировал все свое министерство. Можно было не сомневаться, что он станет действовать только в соответствии с законом и не допустит нежелательных посланников из рейха.

Последнее имело особое значение в свете возникшего в Германии дуализма государства и партии, поскольку иностранное государство вполне могло начать игнорировать официальных дипломатических представителей. Заняв свой пост в Швейцарии, я узнал, что там находился Landesgruppenleiter (или глава нацистской партии). Выходец из Мекленбурга по фамилии Густлофф, он проживал в Давосе, поскольку страдал легочным заболеванием. Как часто бывает в подобных случаях, болезнь привела к общему развитию его способностей. При этом он практически обожествлял Гитлера, нередко часами глядя на изображения фюрера. Густлофф признавался мне, что «подпитывался его силой».

Министр внутренних дел Бауман однажды посетил Густлоффа в его резиденции, расположенной в горах над горной рекой. Позже Бауман рассказывал мне, что в ходе визита Густлофф заявил следующее: «Если бы фюрер скомандовал мне выброситься из окна в горную реку, я бы сделал это не задумываясь». Такое проявление фанатизма привело Баумана в замешательство. Но когда Густлоффа пытались очернить в швейцарском парламенте, Бауман повел себя корректно и выступил в его защиту.

Проживавшие в Швейцарии немцы не давали мне скучать. Многие из них, особенно пострадавшие от унижительных условий Версальского договора, с надеждой смотрели на величайшее национальное возрождение, происходившее в Третьем рейхе. Особенно много тех, кто искренне хотел социальных перемен и установления лучших социальных отношений, было среди членов женской организации – Frauenschaft.

Но в целом местные партийные лидеры (Amtsleiter) оказались добрыми и честными людьми. В большинстве случаев местные, региональные и другие чиновники партии вербовались из рядов тех, кто потерпел неудачу в своей профессиональной деятельности и теперь полагал, что их время пришло. Как и во времена любой революции, на поверхность всплыли неудачники, пустомели и доносчики.

В приемном зале нашего дипломатического представительства посольства тогда висела прелестная гравюра, приз за победу в регате. На ней был изображен Наполеон в 1815 году, когда он оказался пленником англичан на фрегате «Беллерофон». В связи с этой картиной в партийных кругах начали распространяться слухи, что дипломатический представитель – франкофил и не обладает необходимым чувством патриотизма.

Возможно, посылавшиеся домой в партийные верхи «официальные партийные отчеты» оказывались такого же рода. Они касались не только политики, прессы, экономических вопросов, неарийских фирм, отношения к Швейцарии и поведения эмигрантов, но и бесед с персоналом дипломатической миссии и консульств, того, что делали наши дипломаты, чтобы защитить партию и ее членов.

Как можно было понять, в этих донесениях было множество нелепостей, явно ложных сведений, а иногда злобные выпады. Между прочим сообщалось, что немцы в Швейцарии были «объявлены вне закона», поскольку они выходили из дипломатической миссии в Берне. Некоторые Amtswalter (члены партии, обладавшие особыми полномочиями) оказали мне честь, обрисовав в истинном свете, на что они тратят партийные фонды.

К сожалению, даже в женевском и цюрихском консульствах оказались приспособленцы, пытавшиеся сделать карьеру путем партийных интриг. Им не удалось преуспеть, но они доставили мне немало хлопот. Во время моих утренних прогулок в прекрасном Эльфенау (парк в Берне вокруг одноименной усадьбы) и вдоль реки Аре велись длительные обсуждения, как следует поступать с этими подонками.

В дипломатической миссии в нашем маленьком кругу царил полное взаимопонимание. Все младшие чиновники были едины со мной в мнении о той лихорадке, что поразила Герма-

нию, разделяя мои взгляды по поводу совместной с другими нациями ответственности в связи с этой напастью.

Следуя образцу фашистской Италии, я стремился к тому, чтобы партийные функционеры, действовавшие в Швейцарии, подчинялись дипломатической миссии и консульству, но, к сожалению, мне не удалось достичь в этом успеха. Мне хотелось заручиться властью над этими деятелями, чтобы контролировать их деятельность и не допускать нежелательных эксцессов. Следуя получаемым с родины партийным инструкциям, которые не согласовывались с дипломатическими представительствами, партийные функционеры развили бурную деятельность среди немецкого населения Швейцарии. Они нагло вмешивались в деятельность старинных землячеств и даже отдельных немцев, обвиняя их в мягкотелости. Партийным функционерам казалось, что постоянные конфликты с швейцарскими властями являются доказательством их силы. Любой немец, которого депортировали из Швейцарии, после возвращения в Германию мог рассчитывать на продвижение вверх. Даже несколько немецких профессоров, находившихся в Швейцарии, полагали, что смогут таким образом продвинуться в своей карьере.

Взвешивая все за и против, могу сказать, что результаты деятельности партии в Швейцарии оказались отрицательными. Сам Густлофф закончил свою жизнь ужасным образом, его убил в Давосе какой-то Франкфуртер. Чувствуя себя в безопасности, Густлофф отказался от защиты, предложенной ему полицией кантона. Он явно не заслуживал такого печального конца. В глубине души он был добрым человеком, и наедине с ним было легко беседовать.

Вместе с тем Густлофф был достаточно неуравновешенным, особенно в присутствии своей жены. Фанатизм, правивший в Третьем рейхе, на самом деле вытекал не из неустойчивой психики людей, а из бездонных глубин женской души. Поскольку в лице Густлоффа партийные органы, ведавшие иностранными делами, получили своего первого мученика, партия организовала ему торжественные похороны, направив похоронный кортеж из Давоса до самого Шверина.

Швейцария использовала случившееся как повод для принятия строгих мер в отношении нацистской партии. Прежде всего власти запретили назначение нового ландес-группенлейтера. Некоторые члены партии, особенно те, кто работал в немецком генеральном консульстве в Цюрихе, использовали смерть Густлоффа как благоприятный повод для выступлений против меня. Они говорили, что я не обеспечил достаточную защиту их руководителя и поэтому должен разделить ответственность за совершенное убийство. Подобные интриги были направлены на то, чтобы избавиться от меня в Берне, заменив кем-то из них. Конечно, их планам не удалось осуществиться, по крайней мере до того времени, когда я был отозван в Берлин в министерство иностранных дел в связи с назначением на другую должность.

Основной головной болью в Швейцарии для меня оставалась пресса. Меня вовсе не удивляло, что швейцарские газеты, независимо от их политических пристрастий, критически относились ко всему, что происходило в Германии. Впрочем, у них имелись на то все основания, их читатели требовали, чтобы газеты выражали определенную точку зрения в отношении к Третьему рейху. Если учесть, что страна отличалась устойчивыми демократическими традициями, отношение к фашизму оказалось явно негативным.

Все делалось для того, чтобы немецкая общественность, ради ее же собственного блага, информировалась о реакции иностранных государств. Но именно по этой же причине доктор Геббельс не допускал, чтобы подобные газеты проникали в Германию. Я безрезультатно пытался добиться снятия запретов со швейцарских газет, чтобы они снова стали поступать.

Введя свой запрет, министр пропаганды использовал благовидный предлог, заявив, что швейцарская пресса публикует новости, запрещенные в Германии, а значит, их никоим образом не пропустит цензура.

Тогда я попытался заставить швейцарское правительство действовать официально, как обычно поступали в некоторых странах, когда швейцарские газеты нападали на членов немецкого правительства в свойственной им оскорбительной манере. Гитлер и его окружение никогда не обращали внимания на рекомендации и мнение о них иностранной общественности. Нацистские вожди реагировали на подобные вещи пограничными инцидентами, о которых я уже писал выше, или совершали другие противоправные действия.

Даже с точки зрения собственных интересов Швейцарии полемика в прессе такого рода оказывалась неудобной и даже выглядела как опасный инструмент в сфере международной политики. Но в швейцарских правительственных кругах, отвечая мне, ссылались на конституцию и независимость прессы. Поэтому грозная ситуация на границе сохранялась, и к пониманию никак не удавалось прийти.

Мне не составило большого труда убедить власти в Берлине поверить, что швейцарские официальные ведомства честно пытаются держать нейтралитет. Им действительно было нелегко осознать, что вся Германия охвачена нацистской идеологией. Министерство пропаганды в Берлине прозвало Швейцарию «всемирным сборищем эмигрантов».

На самом же деле швейцарские власти делали все от них зависящее, чтобы удержать немецких эмигрантов в Швейцарии от вовлечения в активную политику. Иоахим фон Риббентроп (вскоре ставший германским министром иностранных дел), с которым я впервые встретился на партийном съезде в Нюрнберге, полагал, что газета *Basler Nachrichten* находится на содержании у Москвы. Полагаю, что было бы гораздо лучше, если бы вместо этого он заимствовал у ее редактора немного здравого политического смысла.

Что оставалось делать перед лицом подобной предрасположенности? Нашим основательным дипломатическим отчетам в Берлине не верили. Волна критических выступлений в адрес руководителей Третьего рейха, поднимавшаяся в мировой прессе, не доходила до Германии, заткнувшей себе уши. Следствием этого стало то, что всех, кого преследовали в Германии, – евреев, деятелей церкви и прочих, – власти обвинили в том, что они действуют заодно с зарубежными врагами Германии, применяя более строгие меры наказания.

Что же касается мирового порицания, то оно еще больше стимулировало агрессивность Гитлера. Внешне происходившее выглядело так, как будто кому-то доставляло удовольствие наращивать существовавшее напряжение, явно провоцируя взрывную реакцию со стороны Германии.

В моей памяти сохранились две даты, оставившие глубокий след в истории Швейцарии. Во-первых, 30 июня 1934 года, когда во время известной «ночи длинных ножей» были уничтожены главари штурмовых отрядов и вся реальная власть перешла в руки Гитлера и его окружения. В этот кровавый день весь мир понял, на что способны те, кто правит в Германии. Я совершенно откровенно предупредил швейцарские власти об ужасных последствиях происшедшего. Однако министр ответил: «Но ведь очевидно, что глава государства лично никого не расстреливал». Сам же я задавал себе вопрос, почему я по-прежнему должен представлять Германию.

Многим казалось, что после кровавой резни 30 июля все поняли, что революционный режим в Германии окончательно переродился и в стране может произойти новая революция, как это произошло сорок лет тому назад во Франции, где одни революционные перемены следовали за другими. «*Le rйvolution dйvore ses enfants*» {Революция пожирает своих детей (*фр.*)} – такую пословицу в те дни вспоминал не только я, но и мои швейцарские друзья.

Второе событие произошло месяцем позже. Вечером 1 августа 1934 года, когда, любясь прекрасными пейзажами, мы плыли по озеру Констанц (Боденское озеро. – *Ред.*), пришло известие о смерти Гинденбурга (официальная дата смерти Гинденбурга – 2 августа. – *Ред.*). Швейцарцы отмечали свой национальный праздник (1 августа считается датой образования Швейцарии – в этот день в 1291 году три кантона объединились в конфедерацию (сейчас Швей-

царская конфедерация состоит из 23 кантонов, три из которых поделены на полукантоны. – *Ред.*), гористые берега озера были залиты огнями. Но мы знали, что старый президент рейха умер. С 2 августа 1934 года в Германии больше не было высшей власти, к которой мы могли бы обратиться. Многие разделяли наше настроение страха перед будущим. Кошмар не только не закончился, казалось, что теперь ничто не могло его остановить.

В Швейцарии понимали, что после семи лет утомительных и в конце концов бесплодных переговоров с рейхом больше нельзя отрицать его естественное и законное право на равную безопасность с другими странами. Кроме всего прочего, швейцарцы всегда считались хорошими солдатами. Они оказались достаточно реалистичными, чтобы увидеть, что комедия с разоружением и отсутствие уважения к национальным интересам разоруженной Германии в Женеве в конце концов приведут к тому, что Германия начнет перевооружаться.

В 1933 году доктор Геббельс лично прибыл на осеннюю сессию Лиги Наций. Он держался в свойственной ему наступательной манере, считая, что трибуна Лиги Наций представляет собой великолепное поле для пропаганды. Поэтому по предложению фон Нейрата Геббельс участвовал в происходивших здесь мероприятиях, показав себя необычайно искусным оратором.

Первым публичным шагом на пути к перевооружению Германии стал ее выход из Всеобщей конференции по разоружению и Лиги Наций всего через несколько недель после весенней сессии, показавшийся многим бестактным и неожиданным. Совершая этот демарш, Гитлер нарушил один из основных принципов переговоров в Женеве, заключавшийся в том, что любое решение должно готовиться постепенно, чтобы все приняли его естественным образом. На самом деле отнюдь не немцы саботировали процесс разоружения. Следовательно, нам не нужно было ставить себя в положение, когда мы подверглись бы очевидной критике.

Однажды, еще до того, как Гитлер пришел к власти, летом 1932 года, немецкая делегация покинула конференцию по разоружению на несколько месяцев, чтобы попытаться оказать давление на партнеров. И никто не мог отрицать право Гитлера оставить конференцию и Лигу Наций, если бы он руководствовался благими намерениями. На самом деле за этим шагом скрывалось его очевидное намерение провести одностороннее и незаконное перевооружение страны, принесшее столько опасностей Германии и всему миру.

В течение некоторого времени его начинания казались безобидными. В Лиге Наций уже ощущались признаки раскола, никто не хотел принимать происходившее серьезно. Сам же я спрашивал себя, неужели нельзя повысить статус Лиги, обновив соглашение и способствовав вхождению в Лигу Соединенных Штатов. Полагаю, что, если бы это произошло, возможно, Гитлер подумал бы над тем, чтобы вернуться в Лигу Наций. В течение нескольких лет Вашингтон играл свою роль в Женеве, как по вопросам разоружения, так и по другим значительным проблемам.

Германии сделали замечание по поводу ее выхода, но она продолжала следовать своим планам. В соответствии с уставом выход можно было осуществить только через два года. В моей дипломатической миссии в Берне я работал (правда, никому не говоря об этом) над обновленным договором Лиги и обсуждал его в частной беседе с моим американским коллегой Хьюго Уилсоном. Он был хорошо знаком с предметом и, кроме того, являлся моим личным другом. Но и он полагал, что мой проект не найдет поддержки на официальном уровне, поэтому я оставил эту идею.

В октябре 1933 года выход Гитлера из Женевской конвенции облегчался благодаря хорошо известному плану Саймона, в котором, несмотря на соглашение от 11 декабря 1932 года, Германии фактически отказывали в равных правах в области вооружения на ближайшие четыре года. В декабре 1933 года Гитлер предложил умеренный компромисс. Западные державы не должны были упустить этот момент, им следовало действовать быстро и скомпроме-

тировать Гитлера. Вместо этого они еще раз выступили против него, и в апреле 1934 года так называемая нота Барту привела к безрезультатному завершению переговоров по разоружению.

Все это сопровождалось цепочкой ошибок, вытекавшей из общего заблуждения, что мир без взаимных гарантий можно создать только с помощью одностороннего насилия. Ничто не могло подхлестнуть гонку вооружения больше, чем реакционная игра, шедшая в Женеве. Даже перед захватом Гитлером власти я говорил моим знакомым в Женеве, что иностранные государства сами помогли Гитлеру прийти к власти.

И как же они смогли бы теперь общаться с ним? Сами наращивая силу? Но они не доверяли друг другу, и отсутствие слаженных действий быстро дало о себе знать. Всего через год после ноты Барту Гитлер ввел всеобщую воинскую повинность (16 марта 1935 года), предложив Англии в качестве компенсации заключить военно-морское соглашение.

В Швейцарии мы ясно видели, что французские генералы склонялись к тому, чтобы занять оборонительную позицию за своей линией Мажино. Но английские министры Саймон и Иден нанесли Гитлеру личный визит в Берлин, и спустя несколько месяцев после этого Англия фактически поддержала незаконные действия Гитлера, согласившись на подписание англо-германского военно-морского соглашения вопреки протесту Франции. Соглашение было подписано в Лондоне 18 июня 1935 года И. Риббентропом и министром С. Хором. Данным соглашением Англия фактически санкционировала нарушение Гитлером военных ограничений Версальского договора 1919 года. (Германия получила право увеличить общий тоннаж своего военного флота более чем в пять раз, надводный флот восстанавливался в объеме 35 процентов от английского, подводный флот – 45 процентов. – *Ред.*) Тогда мне казалось, что соглашение лучше, чем англо-германская война. Неверным оказалось только то, что в нем не содержалось четких предупреждений Гитлеру воздержаться от дальнейших противоправных действий.

Поэтому Гитлер осмелился совершить третий шаг: весной 1936 года произошло неожиданное вторжение Германии в Рейнскую демилитаризованную зону. В тот день, когда это произошло, я встречался с министром Джузеппе Моттой. Он не ожидал, что действия Германии приведут к европейскому конфликту. Даже такой рассудительный оппонент национал-социализма, как мой предшественник в Берне Адольф Мюллер, который, как социал-демократ, предпочитал оставаться в Швейцарии, говорил мне в то время, что следует полностью признать успехи Гитлера. Я тогда ответил хорошо известными словами матери Наполеона Летиции: «*Pouvois que cela doure*» {Только дай ему власть (*фр.*)}.

И снова хранители Версальского договора отреагировали формальным протестом. Они охотно дали Гитлеру то, в чем отказывали Штреземану и Брюнингу, и это в то время, когда они могли без всякого труда сдержать его. Почему другие страны упустили столь благоприятный шанс? Возможно, потому, что верили, что больше не могли отказывать Германии в обычных проявлениях суверенитета. Если посмотреть более пристально, то оказалось бы, что они фактически корректировали совершенную ими в прошлом ошибку. Добиваясь послаблений со стороны Гитлера, они старались не чинить ему никаких препятствий, что было крайне неразумно. Все выглядело так, как будто они пустили дело на самотек.

Достаточно долго мы безрезультатно добивались в Женеве предоставления Германии равных прав законным порядком. Гитлер преуспел в достижении такого же результата противоправными способами. С его точки зрения, происшедшее выставляло дураками не только другие страны, но и нас, кто представлял Германию в Лиге Наций. Восторжествовало беззаконие, определившее характер дальнейших действий Гитлера. Он начал проводить в отношении других стран политику вседозволенности, как будто стал обладателем капитала, который он мог потратить по своему усмотрению.

Германия продолжала наращивать вооружения, не имея союзников. В иностранном политическом комитете рейхстага (примерно в 1928 году) национал-социалисты пели гимн, сла-

вющий Италию. Штреземан тогда мимоходом заметил: «Назовите мне любую войну, которую итальянцы выиграли бы сами!»

Первый официальный контакт между национал-социалистами и фашистами, встреча между Гитлером и Муссолини в Венеции в 1934 году, не имел успеха. Глава пресс-департамента министерства иностранных дел Ашман прибыл к нам в Берн с их встречи и сообщил, с каким презрением Муссолини общался со своим подражателем Гитлером. Тогда Минье, глава швейцарского военного министерства, спросил, возможно ли, по моему мнению, в будущем более тесное сотрудничество этих двух лидеров. Я искренне ответил отрицательно, но развитие конфликта в Абиссинии (Эфиопии) показало, что я оказался не прав.

Швейцарцы подозрительно относились к любому сотрудничеству между Гитлером и Муссолини. Они полагали, что их раздавят между соседями, находившимися на севере и на юге. Опасения усилили существовавшие в Швейцарии франкофильские настроения. Швейцария всегда получала выгоду благодаря равновесию сил, существовавшему между Францией и Германией, но симпатизировала скорее Западу (то есть Франции). Любой, кто думал иначе, испытывал проблемы.

Возрожденная в то время идея объединения Германии с Австрией не встретила поддержки в Швейцарии. Швейцарцы хотели сохранять границу с маленькой Австрией, чтобы не оказаться в окружении трех великих держав. Они опасались, что соседи могут маршем пройти через их страну, в которой пересекались все пути сообщения. Я же придерживался мнения, что Швейцария только выиграла бы от такого объединения, хотя и чувствовал, что Швейцария должна понять, что, если аншлюс состоится, транспортные потоки между Германией и Италией пройдут через Бреннер (пограничный перевал Бреннер (1314 метров), в Тироле, через него проходит автомобильная дорога между австрийским Инсбруком и итальянским Больцано (до 1918 – 1919 годов – австрийский Боцен). – Ред.). Больше не будет никаких соблазнов, чтобы германская армия вошла в Швейцарию, встав между Францией и восточными союзниками, если Австрия станет частью Германии.

Швейцарцы более серьезно относились к национал-социалистам, чем к итальянским фашистам. В общем-то они были правы. Итальянские *faceva il fascista* «играли» в фашизм, как будто находясь на сцене, в то время как немцы в их отношении к национал-социализму были серьезны, методичны и последовательны. Швейцарцы не воспринимали нас персонально как представителей рейха, чтобы иметь возможность порицать методы Гитлера.

Встречались швейцарцы, не питавшие никаких предубеждений, с которыми легко было иметь дело. Дипломаты, находившиеся за границей, оказались между двух фронтов. Однако нам было гораздо легче защищать германские интересы в Швейцарии, чем отстаивать их перед партийными руководителями своей собственной страны.

Многие швейцарские семейства принимали нас дружелюбно, относились к нам с симпатией, что вытекало из дружбы с самыми значительными из них. Нас всегда привлекала духовная и моральная стабильность Швейцарии, широта культуры, благотворный здравый смысл и полный порядок, доминировавшие в этой прекрасной стране. Мы ощущали, что перед нами поставлена достойная задача и она может быть выполнена.

Стабильное федеральное дипломатическое ведомство Швейцарии, не подвергавшееся влиянию цензуры со стороны парламента, управлялось путем мудрого саморегулирования, но в то же время достаточно авторитетно. Я до сих пор с удовольствием вспоминаю о своих встречах с Моттой, Геберлином, Шультессом и многими другими.

В дипломатических кругах мы не испытывали никаких трудностей из-за разногласий между странами. В частности, в Осло я находился в дружеских отношениях с британским послом в Норвегии Уингфилдом, мы иногда одалживали у него лодку и плавали на ней по фьорду. В Берне я также находился в приятельских отношениях с послом Кеннардом – частично благодаря личной склонности, а может быть, в связи со своими обязанностями, ибо

мне казалось, что Британии суждено сыграть существенную роль в попытках преодоления европейского кризиса.

Тот факт, что меня нередко привлекали, как я вспоминаю, свойства английского и скандинавского характеров, вовсе не означало, что я не испытывал влечения к другим нациям, например к представителям народов, говорящих на романских языках. Не знаю ни одной иностранной державы, где мне доводилось бывать, которая бы мне не нравилась.

Центральное положение Берна позволяло легко совершать поездки во всех направлениях, расширяя таким образом собственный кругозор. Мы стремились завершить наше представление о Европе, совершив поездку в Англию. Нам нравилось находиться в соседней Франции, навещая в Париже наших друзей, немецкого посла Кестера и его жену. Время от времени мы ездили в Италию.

В самой Швейцарии мы также посетили множество мест. Не стоит говорить о том, что, пользуясь любой возможностью, мы отправлялись в Германию, чтобы посмотреть, что там происходит. Наша страна была захвачена революцией, и, чтобы соответствующим образом слушать Германию за границей, нам следовало знать, что происходит на фронтах этой революции.

Нюрнбергские партийные съезды, на один из которых меня пригласили, оставили необычное впечатление. На улице люди действительно иногда кричали нам вслед: «Вон идут дипломаты, негодяи!». Но нас всегда размещали соответствующим образом, а на стадионе обеспечивали хорошие места. Мы познакомились с истинными национал-социалистами, с вступившими в партию позже, с попутчиками, наблюдателями и с теми, кого допускали разделить искусственно созданную атмосферу массового энтузиазма.

Я присутствовал на одном из таких событий, когда Рудольф Гесс, «уполномоченный фюрера», выкрикнул «Гитлер – это Германия, а Германия – это Гитлер!», вызвав нескрываемое замешательство среди германских лидеров. И когда подошла пора, некоторые непримиримые враги рейха ухватились за это высказывание, как официальное доказательство того, что сместить Гитлера непросто, за ним стоит рейх.

Нюрнбергские партийные съезды оказались необычайно полезными для министерства иностранных дел, поскольку позволили нам встретиться с нашими коллегами, то есть с германскими послами и посланниками, работавшими во всех странах Европы. Лично я целый вечер беседовал с Мольтке из Варшавы на тему, не следует ли нам оставить наше поприще. И снова мы пришли к соглашению, что ни одна добрая цель не может быть достигнута, если держаться в стороне от происходящего. Мы сошлись и в том, что эксперт не должен отдавать свой пост неопытному дилетанту.

Все меньше оставалось коллег, с которыми нам доводилось разговаривать без предварительной договоренности. Тотальный шпионаж и гипнотический эффект от надменной и тупой партийной пропаганды окружали всех, кто оставался нормальным за стеной отчуждения. Следовало обращаться к приятелю шепотом, писать ничего не значащие письма, каждая семья изобретала свои тайные знаки. Чтобы обмануть цензора, в письма вставлялись определенные фразы. Чтобы понять атмосферу того времени, надо рассматривать наравне с официальными распоряжениями и указами и частные письма.

Чтобы участвовать в плебисците и голосовании, мы постоянно ездили в Германию, ибо в подобных случаях было не принято отказываться от поездок. Но как кто голосовал – другой вопрос. Довольно редко мы принимали немецких официальных лиц из рейха. Большинство из них не относились к тем, кто мог бы поднять престиж Германии. Самым приятным из них казался доктор Тодт, строитель автомобильных дорог в эпоху Гитлера (Германия тогда была покрыта сетью прекрасных автобанов. – Ред.).

Мы часто совершали поездки на Боденское озеро (находившееся всего в нескольких часах езды на автомобиле), где жила моя мать и мать моей жены. Моя теща счастливо проживала в гостеприимном доме в Лангенаргене на берегу этого озера. Моя мать, которой в то

время было почти восемьдесят лет, жила неподалеку от нее – в Линдау, любовно присматривая за небольшим имением, оставленным ей моей сестрой, умершей в 1933 году.

В Берне, в кругу семьи с подросшими детьми, в здании посольства на Брюннадерн-Райн с видом на бернский Оберланд и быстрые холодные воды реки Аре, приглашающие окунуться, можно было на несколько мгновений забыть о том, что революция на нашей родине развивалась необратимым образом, в соответствии с собственными бесчеловечными законами.

Весной 1936 года неожиданно умер мой друг, статс-секретарь Б.В. Бюлов, разделявший мои взгляды, так что в ведомстве ощущалась пустота. Во многом вопреки моим желаниям меня отозвали в Берлин для назначения на должность главы политического отделения. Моя официальная резиденция и семья оставались в Берне, поскольку время переезда и устройство на новом месте затянулись на шесть месяцев.

Когда меня отозвали в Берлин, я снова тщательно обдумал, должен ли я продолжать играть активную роль во внешней политике рейха. Такой вопрос чрезвычайно занимал меня и в Швейцарии, но теперь он стоял особенно неотступно и навязчиво. Пытаясь в Берне предотвратить недопонимание и разногласия между двумя странами, я осуществлял конкретную задачу, верную по своей сути. Ведь благополучие и судьба народов Германии и Швейцарии зависели от успеха или провала деятельности конкретных людей.

Теперь же, когда я оказался в центре событий в Берлине, моя деятельность переместилась в сферу всей внешней политики, где все вопросы решались в соответствии с законом, что, в свою очередь, приводило к национальному и интернациональному миру или делало такой мир невозможным.

Перед отъездом я сказал одному преданному другу, что в случае, если кому-то не удастся соответствовать проводимой политике, он все равно должен выполнять поручение, даже если за этим последует его бесчестье. Лишь бы сохранить мир.

Но как на самом деле обстояли дела в Берлине?

БЕРЛИН (1936 – 1937)

Смерть Бюлова означала потерю самой значительной личности, служившей на дипломатическом поприще. Племянник бывшего канцлера, столь же одаренный, как и его друзья, он в то же время отличался добросовестным отношением к работе и славился своим трудолюбием. Кроме того, Бюлов был ревностным патриотом, хладнокровным, как и полагалось адвокатам, полон политических идей и наравне с Мальцаном считался «лучшей лошадью в нашей конюшне» между двумя войнами. Бюлову повезло, что он не дождался катастрофы, которую, скорее всего, не смог бы предотвратить. Гитлер посетил его во время похорон в протестантской церкви (как я думаю, в последний раз официально войдя в храм). В этой связи мне хотелось бы более впечатляющих похорон в другом месте, чтобы Гитлер смог в некоторой степени осознать суть немецкого протестантизма.

Обычно сведения о ситуации в области внешней политики правительство получало из министерства иностранных дел, которое, собственно говоря, и создано для этой цели. Кроме этого, конечно, огромная масса непроверенных сведений поступала в правительство из самых разных источников (этому помешать нельзя, впрочем, и делать этого тоже не нужно).

Но когда приходилось решать внешнеполитические проблемы, правительство обращалось за авторитетным мнением именно в министерство иностранных дел. И наконец, на нас возлагалась задача выполнения правительственных решений – как и положено, под руководством министра иностранных дел.

В 1936 году в Германии прекратил существовать заведенный нормальный порядок. Официальным сведениям предпочитали любительские и нерегулярные сообщения. Министерству иностранных дел в принятии решений отводилась второстепенная или чисто формальная роль. Выполнение решений доверялось самым разным ведомствам.

Находясь на официальной должности в Берне, я не представлял, до какой степени деградировало внешнеполитическое ведомство, будучи сведенным к функциям простого технического аппарата. За представительным фасадом МИДа скрывалось утратившее облик содержимое. Именно с такой ситуацией мне довелось столкнуться во время первоначального приезда в Берлин.

Серьезным подтверждением такого положения дел стало разрешение испанской проблемы осенью 1936 года. Новость о том, что Германия должна оказать военное содействие франкистам, застигла министерство иностранных дел врасплох. Мы слышали, что внешнеполитический отдел партии отправлял Гитлеру отчеты о состоянии дел в Испании, результатом чего явилось немедленное решение о нашем вмешательстве. Это означало игру с огнем. Конечно, подобное всегда проделывалось через частные каналы и личные знакомства.

Однако тоталитарному режиму не так просто найти оправдание подобным действиям, как другим правительствам, которые могут сослаться на то, что националисты в их странах действуют независимо, на свой страх и риск. Чтобы противостоять коммунизму в Испании, следовало применить в иностранной политике те методы, что использовались нашими партийными лидерами в «период борьбы», который предшествовал приходу нацистов к власти в Германии.

Фактически это была первая интервенция Третьего рейха. Оказанная франкистам помощь вначале казалась умеренной, но постепенно она возросла. Занимавший тогда пост министра авиации Геринг использовал сложившуюся ситуацию, чтобы испытать здесь новые самолеты и опробовать пилотов на Испанском театре военных действий, послав две авиадивизии, чтобы помочь Франко, когда тот вроде бы оказался в трудной ситуации примерно накануне Рождества в декабре 1936 года. Немецкий посол в Испании генерал Фаупель, выходец из нацистской партии, предлагал «отправить сильный немецкий военный контингент».

Правда, дело не зашло так далеко, министерство иностранных дел предупредило, что действия Германии уже вызывают недовольство за рубежом, усиливая разногласия с Лондоном и Парижем, где население симпатизировало красным. Кроме того, республиканское правительство Испании открыто поддерживал СССР. Ситуация все больше обострялась. Европейские великие державы разделились на явно конфликтующие между собой группы. Министерству иностранных дел оставалось только делать хорошую мину при плохой игре, невзирая на военные и политические решения, принимавшиеся в рейхсканцелярии Гитлера.

И в чисто технических вопросах внешнеполитическая машина не могла работать обычным образом. В частности, обычно освещением внешней политики в прессе управляла пресс-служба министерства иностранных дел. Теперь рейхсминистр пропаганды Геббельс стал проводить свою собственную политику в отношении иностранных государств. В результате возник неразрешимый конфликт компетенций.

Даже Риббентроп, стремившийся к профессионализму, не смог преодолеть этот конфликт. В качестве преемника Нейрата ему так и не удалось убедить руководство страны, что общение с прессой и радио по вопросам внешней политики должно находиться исключительно в компетенции министерства иностранных дел. Любопытно, что читал внешнеполитические материалы в прессе Третьего рейха или слушал радио, видел, что все их содержание определялось потребностями внутренней политики.

Даже внутри министерства не наблюдалось единства. Так, в Вене представителем Германии оказался фон Папен, который не подчинялся министерству иностранных дел, а подписанное в июле 1936 года австро-германское соглашение готовилось практически без участия министерства иностранных дел. И Риббентроп, ставший немецким послом в Лондоне осенью 1936 года, чувствовал себя независимым и поступал соответствующим образом. В министерство регулярно поступали его сообщения и оценки политической ситуации в Англии, но все реальные шаги и планы согласовывались непосредственно с Гитлером, который долго оставался безответственным советником Риббентропа.

Насколько мне известно, министерство не участвовало и в разработке основных положений англо-германского союзного договора, который, как позже заявил Риббентроп в одной из бесед, был предложен Лондоном, но позже (в чем он и не сомневался) был отвергнут англичанами. Говорили, что столь пренебрежительное обхождение с Риббентропом стало основой враждебности, которую он с тех пор проявлял в отношении Англии. Его трактовка происшедшего могла соответствовать истине, но, скорее всего, развитие событий было следствием неуважения к Англии. С британской стороны не было никаких предпосылок, которые смогли бы сделать возможной столь неожиданную развязку ожидаемого англо-германского союза.

Очевидцы называли другие, и более простые, причины провала миссии Риббентропа в Лондоне и его враждебности по отношению к Англии. Лично мне он сказал во время войны: «Два больших дерева, такие как Германия и Англия, не могут расти рядом, не пытаясь выяснить, кто из них сильнее». Возможно, Риббентроп был всегда на подхвате у Гитлера и поставлял ему подобные хлесткие фразы и метафоры. Они были бы вполне уместными в историческом романе, но нередко оказывались явно некстати в официальной политической сфере.

Зимой 1936/37 года меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, я питал отвращение к министерству иностранных дел, которое в то время, когда был избран такой опасный курс, дошло до того, что позволило забрать руль из своих рук. С другой стороны, меня тянуло в ведомство, потому что в такие кризисные времена оно необычайно зависело от своей основы, старого кадрового состава, и покинуть МИД в такую пору означало то же самое, что дезертировать с поля боя.

Поэтому мне казалось, что внутри Третьего рейха должны начаться изменения, и в январе 1937 года я надеялся, что сказанное произойдет без сильных перемен в кадровом составе и самой организации (в пользу среднего класса). Лично для меня участие в работе

министерства потеряло всякий смысл, как только проводимая политика повела прямо к войне. Необходим был решительный поворот во внешней политике, для чего следовало вернуть министерство иностранных дел на подобающее ему место и т. д.

С моей стороны требовались огромные усилия, чтобы заставить себя участвовать во всем этом. Я чувствовал, что это был мой долг, но в то же время полагал, что надежды на успех практически нет. В марте 1937 года я с явным облегчением вернулся на свой пост в Берне, но оставил записку Нейрату, в которой писал, что, если мне предложат пост постоянного главы политического отделения министерства иностранных дел, я приму этот пост.

По истечении двух месяцев, из которых четыре недели были проведены в инструктивной поездке по Балканам, мы наконец переместили свой дом в Берлин. В то время мне казалось, что я представляю круг своих будущих обязанностей, но оказалось, что я даже не смогу вообразить то, что мне на самом деле предстояло сделать.

Моя личная точка зрения в связи с положением в министерстве иностранных дел в то время была следующей. В 1933 году президент заставил Гитлера взять в свой кабинет Нейрата. Заняв должность, Нейрат надеялся сохранять свою власть в качестве министра иностранных дел, обладая так называемым «динамичным характером».

Однажды его близкий друг сказал: «Константин фон Нейрат – это человек, который любит стрелять дичь из укрытия, но не станет гоняться за ней по полям». Конечно, слово «дичь» употребили в иносказательном смысле, но содержательная часть высказывания от этого не менялась. Сам же Нейрат о себе говорил, что видит свою задачу в том, чтобы выступить в качестве одного из камней, образующих запруду, не причиняя никакого вреда потоку.

Нейрат практически не видел Гитлера или встречался с ним крайне редко, возможно, из-за свойственной тому привычки действовать спонтанно, подчиняясь моменту. Вот почему его нередко обходили как на политической арене, так и в вопросах организации и устройства кадрового состава. Партийная канцелярия отводила себе право выносить вето в личных вопросах. Чтобы не оставаться в стороне, Нейрат должен был держаться как можно ближе к партии.

В сложившейся ситуации Нейрат назначил на должность статс-секретаря своего зятя, в то время занимавшего пост посла в Будапеште. Фон Макензен был сыном известного фельдмаршала (Августа Макензена (1849 – 1945), фельдмаршала с 1915 года. Отличился в 1915 году, осуществив, командуя 11-й армией и имея двукратное превосходство в пехоте, пятикратное в артиллерии, сорокакратное по тяжелым орудиям, Горлицкий прорыв русского фронта (с 19 апреля (2 мая) по 10 (23) июня. – *Ред.*), участвовавшего в Первой мировой войне, сам был гвардейским офицером и адъютантом принца. В 1920 году Макензен поступил в министерство иностранных дел и преданно и добросовестно выполнял свои обязанности, привыкнув к взаимоотношениям с властями. Возможно, он относился даже слишком ревностно к тем проблемам, над которыми мы работали.

Замечу, что Макензен не слишком стремился занять тот пост, на который его назначили, отозвав из Будапешта. Однако он охотно принимал все происходящее в партии, питавшей особую слабость к личностям, имена которых ассоциировались с героическим прошлым. Назначив его, Нейрат надеялся, что в некотором роде сможет восстановить равновесие, утраченное властями. Действительно, Макензен сделал все от него зависящее в данном направлении, пытаясь поднять престиж министерства в глазах партии.

Оставалось только ждать, пока комбинация Нейрат – Макензен сможет предотвратить опасный курс немецкой внешней политики. Говорили, что французский посол в Берлине Франсуа-Понсе заметил однажды, покидая здание на Вильгельмштрассе, 76 (главное здание министерства иностранных дел): «Я видел Отца и Сына, но где же Святой Дух?» Понсе обожал *bons mots* {Словечки, остроты (*фр.*)} такого рода.

Сам же Нейрат прекрасно знал мир и тонкости дипломатической профессии. В отличие от большинства немцев он не испытывал чувства неполноценности, когда речь шла об

отношениях с иностранными государствами. Нейрат превосходно вращался в дипломатической повседневности, обладал здравым смыслом и, как говорили, «прозорливостью крестьянина». Однако политическое предвидение не являлось его сильной стороной, он был склонен к упрощению проблем. Его главным недостатком оказалось неумение вести беседу, особенно при большом скоплении людей. Нам в министерстве иностранных дел было трудно представить, как Нейрат умудрялся вставлять словечко в перепалках, обычных для словоохотливого Гитлера.

Говорили, что в марте 1936 года, в критическое время оккупации рейнских земель германскими войсками, Нейрату удалось сдержать Гитлера, хотя это и было весьма рискованно, от зигзагов во внешней политике. С лета 1936 до конца 1937 года мне довелось наблюдать Нейрата во время его руководства в Берлине, так сказать, вблизи. Его внешнеполитическая программа основывалась на мирной эволюции. Мне много известно о методике Нейрата того времени. Правда, здесь я не стану говорить о том, насколько ему удавалось осуществить задуманное. Но я никогда не мог понять, почему Нейрат, которому исполнилось семьдесят три года, должен был в последующем страдать в заключении у союзников за свое поведение в эти годы. (На Нюрнбергском процессе в 1946 году Нейрат был приговорен к пятнадцатилетнему заключению. Освобожден в 1954 году в возрасте 81 года, а в 1956 году умер. Однако его осудили не только и не столько за дипломатию, но и за то, что в 1939 – 1942 годах возглавлял протекторат Чехии и Моравии. – Ред.)

Замечу также, что, кроме опасной напряженности в Испании, в то время мы не сталкивались с явными критическими проблемами. Поэтому оказывалось возможным обратиться к конструктивной деятельности.

Идея аншлюса (присоединения) Австрии понемногу распространялась как в самой Германии, так и в Австрии. После договора, заключенного 10 сентября 1919 года в Сен-Жермене (договор между побежденной Австрией, с одной стороны, и США, Британской империей, Францией, Италией и Японией и объединившимися с ними двенадцатью странами (Бельгия, Китай, Куба, Греция, Никарагуа, Панама, Польша, Португалия, Румыния, Югославия, Сиам, Чехословакия) – с другой. – Ред.), самыми активными его оппонентами оказались социалисты и национал-социалисты. Фактически большинство людей (немцев Германии и Австрии. – Ред.) поддерживали аншлюс. Проблема заключалась в том, чтобы перевести проблему из сферы европейской политики и рассмотреть ее, как таковую.

Соглашение с Австрией, заключенное в июле 1936 года, о котором я уже говорил, было результатом весьма солидной работы. В течение всего лишь одного года было сделано такое количество замечаний в связи с различными пунктами, что в Вену послали специальную делегацию, чтобы прояснить их. Я был главой этой делегации и в течение целой недели улаживал проблемы с обходительным и интеллигентным министром иностранных дел Австрии Гвидо Шмидтом. Я также беседовал с канцлером Шушником {Шушник Курт фон (1897 – 1977), в 1934 – 1938 гг. федеральный канцлер Австрии.}.

В результате по большинству пунктов нам удалось добиться соглашения. Следовательно, добившись желаемого, я мог вернуться в Берлин с осознанием выполненного долга, но уже в Вене отчетливо понял, насколько мимолетными могут быть результаты этих переговоров. Среди австрийских чиновников мы встречали проявлявших гостеприимство в связи с дружескими отношениями с Третьим рейхом и сторонников аншлюса, а также его противников.

Те, кто поддерживал нас, по-разному (и зачастую их логические доводы противоречили друг другу) относились к причинам, вызывавшим аншлюс, и высказывали разные точки зрения в связи с той формой, в которую он должен был вылиться. Типичный немец и австрийский национал-демократ сильно отличались по умонастроениям и взглядам, что, скорее всего, не обещало ничего хорошего в будущем. Во время наших переговоров в Вене дружелюбный *genius*

lосi {Добрый гений (данного места) (*фр*).} немало постарался, чтобы преодолеть эти огромные разногласия, когда мы распивали вино нового урожая.

В моей памяти не сохранилось приятных воспоминаний об этих восьми жарких летних днях, проведенных в Вене. Поскольку предметом наших переговоров являлись расхождения во внешней и внутренней политике, к нашей делегации прикрепили несколько людей партии. Мне довелось откровенно поговорить с некоторыми из них, призывая соблюдать выдержку, обычную для практики ведения дипломатических переговоров. Те из них, кто занимал высшие посты в партии, в частности доктор Кеплер, позже ставший статс-секретарем в министерстве иностранных дел, ездили из Вены в Берлин, лично докладывая о происходившем Гитлеру. Вряд ли Гитлер читал мои последующие доклады о переговорах.

После выхода Германии из Лиги Наций в связи с германо-польскими противоречиями и подписания германо-польского соглашения 1934 года («О мирном разрешении споров», 26 января 1934 года. – Ред.) отношения между Германией и Польшей практически не привлекали общественного внимания. Мы продолжали придерживаться идеи согласия и сдерживали немецкую прессу, хотя и имели все основания для претензий.

Польский сейм воспользовался отсутствием критических выпадов со стороны прессы и продолжил старую игру. Когда так называемая Женевская конвенция исчерпала свои полномочия, мы предложили правительству в Варшаве заключить специальное соглашение об уважении прав этнических меньшинств. Они отказались. Наконец в ноябре 1937 года было решено, что оба правительства издадут сходные декларации по правам этнических меньшинств, о чем было заявлено в торжественной обстановке. Однако в результате ничего не изменилось. Пропасть между Германией и Польшей, обусловленная Версальским договором, оставалась открытой.

На Западе же мы находились на пути урегулирования отношений, но в политическом и военном смысле оставались на оборонительных позициях.

Что же касается Англии, то летом 1937 года достигли договоренности о начале переговоров в Лондоне под руководством фон Нейрата. В июне 1937 года я отметил, что отношения между Германией и Англией можно улучшить постепенно, шаг за шагом, в ходе конкретного практического сотрудничества, в особенности с помощью многостороннего Западного пакта, в рамках которого двусторонний комитет мог бы решить проблемы спорных земель (колоний). Это могло быть подкреплено гарантией Германии не проводить антианглийскую политику на Дальнем Востоке. К сожалению, визит Нейрата был отменен из-за дурного настроения у Гитлера.

Устав от роли буфера между великими державами после выхода Германии из Локарнского пакта, Бельгия была озабочена тем, как прийти к соглашению об уважении своих прав с Германией и западными державами. В результате переговоров, где, обойдя министерство иностранных дел, главную роль сыграл бельгийский посол, граф Давиньон, обе стороны согласились принять бельгийско-германскую декларацию. Правда, внесенные позже дополнения свели всю работу графа на нет. Но все же это было хорошее начало, и последующие события его не умалили.

Гитлер с пониманием относился к нейтралитету Швейцарии. Принимая меня 10 марта 1937 года перед отъездом в Берн, он сказал, что Бельгия и Швейцария должны оставаться опорами, между которыми мы вскоре построим хорошо укрепленную Германию.

В то время Гитлер неустанно повторял, что он ничего больше не хочет от Франции, возможно, он и сам искренне верил в то, что говорит, сбрасывая со счетов Эльзас и Лотарингию. Таким образом, в 1937 году оказалось просто прийти к соглашению с Францией. Оставались только небольшие разногласия, связанные с испанским вопросом.

Именно он и стал моей специализацией. Хотя заседавший в Лондоне Комитет по невмешательству был учрежден вопреки нашей позиции, нам пришлось участвовать в его работе.

Используя его как прикрытие, великие державы стремились оправдать многостороннее вторжение в Испанию и воспрепятствовать распространению правдивых сведений по столь раздражающему общественность вопросу. Комитет стал образцом неискренности и лицемерия, но тем не менее имел свои цели и добился некоторых достижений в сохранении мира.

Участие в подобных дискуссиях в Лондоне воспринималось в Германии как определенное достижение в международных делах. Гитлер и Геринг больше не могли поступать по своему усмотрению, не проводя консультаций с министерством иностранных дел, которое теперь оказалось способным некоторым образом воздействовать на формирование внешнеполитического курса.

Вот что я записал зимой 1936/37 года, обозначив случившееся как генеральную линию, которой нам подобало следовать в области внешней политики: «Целью Германии, равно как и Италии, в первую очередь является отрицание. Мы не хотим советизации Испании. Являясь великой средиземноморской державой, Италия ощущает это даже сильнее, чем мы, поскольку не может не задумываться об увеличении своей территории. Этот факт, вместе с хорошо известной готовностью Италии покинуть своих друзей в решительную минуту (намек на 1915 год, когда Италия, выждав, ударила в спину своим бывшим союзникам по Тройственному союзу – Австро-Венгрии и Германии. – Ред.), возлагает на нас обязанность разрешить Италии играть ведущую роль в испанском кризисе, принимая на себя все возможные риски. Риск, связанный с участием в данном мероприятии, оправдывается его великой целью и тем, что вскоре оно может быть поддержано великими державами, которые понимают, что решить проблему можно только военными средствами».

Как и все частные записки времен Гитлера, данная записка была зашифрована таким образом, чтобы не принести вреда в случае, если она попадет не в те руки. Слово «мы» в подобных посланиях часто означало «лично Гитлер».

Мы получили инструкции направиться в лондонский комитет, необходимый для нас, чтобы вести непрерывные консультации с итальянцами. Так и случилось, что я стал почти ежедневно встречаться с итальянским послом Бернардо Аттолико, заручившись его необычайно надежной поддержкой вплоть до начавшейся в 1939 году Второй мировой войны. Бернардо Аттолико оказался одним из немногих, кто проявил стойкость характера, выступая против войны.

Посол происходил из Бари, говорили, что из бедной семьи, и поступил на службу в министерство иностранных дел, заняв пост в секретариате Лиги Наций. Берлин оказался его третьим местом службы в качестве главы миссии. Внешне Аттолико напоминал скорее ученого, вовсе не стремясь соответствовать образу представителя огромной страны. Слегка сутулый, среднего роста, он внимательно смотрел на вас сквозь толстые линзы очков, как будто испытывая трудности в выражении своих чувств. Но за очками скрывались интеллигентные глаза, блиставшие юмором и быстротой мышления. Очевидно, что Аттолико испытывал неприязнь к светскому образу жизни. Как и мой датский приятель Митиус, Аттолико говорил, что дипломатический корпус является «земными отбросами». Явно недостаточное знание нашего языка затрудняло ему общение с германскими кругами.

То, что недоставало Бернардо как послу, с лихвой восполнялось деятельностью синьоры Елены Аттолико, урожденной Пьетромарчи. Красавица классического римского типа, она была представительницей высшего света Ватикана, необычайно набожна и наделена всеми талантами, позволявшими ей играть видную роль в обществе. Она также обладала вспыльчивым характером и была страстно заинтересована в карьере мужа. Елена оказывала огромную помощь Бернардо как переводчик, в частности когда ее муж общался с Гитлером по общественным проблемам. Как и посол, всем сердцем она была предана делу мира.

Сам же Аттолико, чуждый какой-либо театральности и показухе, не питал никаких симпатий по отношению к Муссолини и Чиано (граф Галеаццо Чиано (1903 – 1944) – министр

иностранных дел Италии в 1936 – 1943 годах. В 1943 году участвовал в заговоре против Муссолини. Казнен фашистами. – Ред.). Когда летом 1937 года Муссолини посетил сначала немецкие маневры, а затем Берлин, Аттолико чувствовал себя явно не в своей тарелке. Фашистская униформа вовсе не шла ему, а зловещие слова Муссолини в его речи «если у меня есть друг, он обязан идти со мной до конца» вовсе не отвечали образу мысли посла.

Аттолико знал своего дуче лучше, чем я своего фюрера, у него было на десять лет больше, чтобы наблюдать за ним и судить о нем. В итальянской истории уже был свой Кола ди Риенцо (возглавлявший республику в Риме в 1347 и 1354 годах. – Ред.) и другие предупреждающие примеры эпохи Ренессанса. Мне же, кроме Гитлера, довелось увидеть только одного диктатора, Примо ди Риверу, в Мадриде. Я увидел его во дворце герцога Альбы. Он вошел через дверь без всякой помпы, совершенно запросто, приветствовал стоящую рядом девушку, весело взяв ее за обе руки. Он меня сразу же покори́л своим врожденным обаянием.

Должен признаться, что мне понравился и Муссолини, когда я впервые увидел его в 1937 году. Я даже завидовал итальянцам, у которых был такой открытый, великодушный диктатор, обладавший римской головой и огромными глазами, готовыми заискриться от смеха. Он казался реалистом, не склонным ни к каким романтическим иллюзиям, не имевшим никаких корней, абсолютным аскетом. У него не было и ускользающего, лукавого взгляда, как у Гитлера.

В то время Муссолини переживал лучший период в своей жизни, наслаждаясь обществом Гитлера. Только значительно позже в дневнике его зятя Чиано передо мной раскрылась суть человека, вовсе не находившегося в гармонии с самим собой, как мне показалось на первый взгляд.

У итальянцев имелись все основания для того, чтобы искать поддержки, ибо итальянский фашизм нажил несметное число врагов. В Англии не забыли абиссинской кампании Муссолини, в результате которой английский флот после демонстрации силы в Средиземном море отступил, не добившись ничего. Франция была раздражена провокационным лозунгом «Ницца, Корсика, Тунис». С СССР Италия была на ножах из-за Испании.

С другой стороны, немецкие партийные круги склонялись к тому, чтобы не замечать слабость и нестабильность нашего нового друга. По правде говоря, у самого Третьего рейха не было друзей, поэтому мы – Италия и Германия – не искали приключений себе на голову, сохраняя доверительные отношения, основанные на общем *Weltanschauung* (миросозерцании), а возможно, и *faute de mieux* {За неимением лучшего (*фр.*)}. Мы с Аттолико пришли к молчаливому согласию, что в нашей сфере мы не станем отрицать такие дружеские связи, но в то же время не позволим им расширяться до невероятных размеров.

Партийное руководство стремилось к расширению связей не только с Италией, но и с Японией, вдохновляясь ее героическими традициями. В 1936 году фон Риббентроп заключил германо-японский договор, руководствуясь инструкциями Гитлера и не доводя их до министерства иностранных дел. Договор сразу же получил многообещающее наименование «антикоминтерновского пакта».

На самом деле многие его положения так и не были обнародованы. В секретном приложении к договору говорилось, что стороны «обязаны помогать друг другу в том случае, если та окажется вовлеченной в конфликт с Россией». Позже, когда Риббентропа уже назначили послом в Лондоне, он сам отправился в Рим, где преобразовал «антикоминтерновский пакт» в «треугольник» Берлин – Рим – Токио. (В 1939 году к пакту присоединились Италия и марионеточное государство Маньчжоу-Го, а затем Испания. В 1941 году – Болгария, Финляндия, Румыния, Дания, Словакия, Югославия (25 марта 1941 года, 27 марта подписавшее договор правительство было свергнуто) и Хорватия (после разгрома Югославии), завершив формирование блока фашистских государств и их сателлитов. – Ред.)

В отличие от этой политики министерство иностранных дел склонялось в сторону Китая, где, кроме всего прочего, у нас имелись и конкретные экономические интересы. Один японец

как-то сказал мне: «Кто-то умеет хорошо готовить, кто-то воевать. Китайцы известны своей кухней».

Но меня лично китайцы привлекали не этим. Даже во время моей деятельности в Лиге Наций я почувствовал не только разделение, существовавшее между двумя основными силами этого региона, Японией и Китаем, но также и внутри самих японцев. Японские дипломаты всегда искали пути для сглаживания постоянных китайско-японских конфликтов, провоцируемых японскими военными, что угрожало всему Южно-Азиатскому региону.

В конце июля 1937 года меня посетил японский посол Мусакодзи, которого я необычайно уважал из-за его прекрасного, выдержанного и дружелюбного характера. Вероятно следуя инструкциям, полученным им из Токио, он объяснил мне, что японские военные действия в Китае оказываются полезными и Германии, поскольку носят антикоммунистический характер. Я достаточно эмоционально возразил ему, указывая на то, что конфликт на Дальнем Востоке никоим образом не приносит нам никакой выгоды. Более того, он не приведет к подавлению коммунизма в Китае и даже окажет противоположный эффект. Кроме того, я сказал японскому послу о том, что в нашу задачу не входит борьба с коммунизмом в других странах. В похожей тональности я охарактеризовал другие наши действия на Дальнем Востоке.

В конце осени 1937 года, когда конфликт в Китае (который благодаря трогательно-почтительному отношению к пакту Келлога – Бриана не был назван «войной») по-прежнему продолжался (летом 1937 года японцы начали новое вторжение в Северный Китай. – Ред.), для нас появилась возможность занять положение посредника между воюющими сторонами. Министерство иностранных дел при моем активном участии прилагало определенные усилия, чтобы стороны пришли к соглашению, официально же наша роль заключалась в положении «над схваткой». Мы ощущали, что призваны играть такую роль, поскольку только мы оказались заинтересованными в установлении здесь мира и не имели других мотивов.

Наш посол в Китае Траутман особенно активно продвигал наш план. Примерно к Рождеству 1937 года я полагал, что нахожусь почти у заветной цели, но мои надежды развеялись как дым. Наше влияние на Дальнем Востоке не вышло за пределы намерений. Мы не смогли навести мосты (при существовавших разногласиях) между японцами и китайцами. И к сожалению, к началу 1938 года мы вынуждены были прекратить дальнейшие попытки в этом направлении.

Заключение Риббентропом договора в Риме печальным образом повлияло на работу нашего посольства в Лондоне. Сам же договор должен был заставить Вашингтон, не говоря уже о Москве, держать ушки на макушке, напрягаясь более, чем ранее, если, конечно, это было возможно. Все это наряду с провалом наших посреднических усилий в Восточном Китае выглядело так, будто немецкая внешняя политика пущена на самотек.

Но тем не менее в 1937 году министерству иностранных дел удалось предотвратить несколько чрезвычайно крупных эксцессов во внешней политике.

ОТСТАВКА НЕЙРАТА, ПРИХОД В МИНИСТЕРСТВО РИББЕНТРОПА (февраль 1938 г.)

Почти пять лет Гитлер мирился с консервативными методами Нейрата. Но как только консерватизм перестал ему нравиться, он сместил его с поста министра. Тандем Нейрат – Риббентроп, точно отражавший двойственную суть германской внешней политики, в которой Нейрат выполнял роль торговой марки, маскировавшей агрессивные устремления, начал давать сбои к 4 февраля 1938 года, когда Гитлер назначил Риббентропа министром иностранных дел.

Нейрат только что отпраздновал свое шестидесятипяtilетие, дипломатический корпус отдал ему соответствующие почести, Гитлер также проявил любезность по отношению к юбиляру. Через несколько дней после этого Гитлер послал за ним – в связи с тем, что надо было замять дела, связанные с кадровыми переменами, вытекавшими, в свою очередь, из дела Бломберга. Одновременно Гитлер спросил его о намерении выйти в отставку с должности министра иностранных дел.

Позже Нейрат рассказывал мне, что он тогда же заявил Гитлеру, что вообще хочет отойти от участия в общественной жизни. Гитлер умолял его «со слезами на глазах» не покидать его в критический момент, остаться главой Личного тайного совета. Так Нейрат и поступил, однако известно, что Тайный совет так ни разу и не собрался.

Макензен тотчас же заявил, что из-за своих тесных связей с Нейратом он больше не хочет оставаться на должности статс-секретаря и предпочел бы отправиться в качестве посла в Рим, где только что открылась вакансия.

Посол Хассель пал жертвой партийных интриг. Действительно, до 1933 года он работал в личном контакте с Гитлером. В качестве посла он помог организовать встречу Гитлера и Муссолини в Венеции в 1934 году. Но в последующие годы Хассель убедился в худших качествах членов партии, наводнивших его посольство в Риме. При всем прочем он не пытался скрывать то, что о них думает, хотя его жена, урожденная фон Тирпиц, оказалась даже менее рассудительной, чем он. Когда Хассель, отчетливо видевший, к каким опасностям ведут тесные итало-германские отношения, начал открыто выражать свое беспокойство, партия легко добилась того, чтобы его отозвали. Хассель, чтобы сохранить свой пост, безрезультатно пытался заручиться поддержкой Муссолини и Чиано. К случившемуся приложил руку и сам Гитлер, я же успокаивал Хасселя, указывая ему на то, что придет время, когда те, кто оставил службу в 1938 году, будут рады, что сделали это.

Хотя Риббентроп и получил пост, к которому так стремился, говорили, что он был удивлен своим назначением. Сам я ничего не слышал о предстоящих переменах, пока не прочел о новостях в газете. В ведомстве оказалось несколько человек, видевших в случившемся добрый знак – теперь истинный советник Гитлера будет разделять с ним ответственность за внешнюю политику. Это не было моей точкой зрения, я верил, что Гитлер сам определял направление нашей внешней политики, следуя своему непредсказуемому вдохновению. Министерству иностранных дел только оставалось одно из двух – замедлять это влияние, как поступал Нейрат, или усиливать и ускорять его, как делал Риббентроп. Похоже, что наша политика постепенно активизировалась подобно разворачивающейся спирали. Проблема европейской войны снова приобрела остроту. Как директор политического департамента, я понимал, что вскоре меня спросят, готов ли я принять пост статс-секретаря. У меня было время, чтобы свериться со своей совестью.

С таким непрофессионалом, как новый министр иностранных дел, статс-секретарь выступал как соединительная нить между дилетантами и искусными профессионалами. Но

в отношениях с иностранными государствами именно он становился ключевой фигурой. Отказ от назначения и уступка этого поста неизвестному человеку были бы преднамеренным уходом от ответственности. Кроме того, это означало бы не только мою личную капитуляцию, но и измену традициям министерства иностранных дел.

Принятие же поста предполагало и принятие того, что может за этим последовать. Находясь в министерстве иностранных дел, было невозможно выступать против любых проявлений режима и тем более возмущаться его постыдными действиями против церкви, евреев, нормального образования и т. д. и т. п. Оставалось только надеяться, что мне удастся вмешиваться и помогать, но только в конкретных случаях.

Высшей обязанностью министерства иностранных дел была борьба за сохранение мира во всем мире, но его руководители и штат полностью устранились от этой борьбы. Поэтому я решился сражаться сам – не только потому, что хотел выделиться, но и из-за той пропасти, которая разверзлась между нашим ведомством и новым министром.

Вот так и случилось, что я вступил в тесный контакт с Риббентропом и теми, кто играл тогда ключевую роль в Германии. Хотя их уже и нет в живых, не могу не высказать свое критическое к ним отношение.

Возможно, Риббентроп и не поддержал бы моей кандидатуры на пост статс-секретаря, если бы знал, что я думал о его политических взглядах. В 1937 году я написал докладную Риббентропу и направил ее из Лондона: «Нахожусь здесь, чтобы добиться взаимопонимания, но не для того, чтобы ускорить приход Судного дня».

В конце завтрака с Риббентропом (которого мне доводилось встречать только пару раз до его официального назначения) он спросил у меня, не согласился ли бы я принять пост статс-секретаря МИДа. Соглашаясь, я заметил, что, если так случится, что мы разоидемся во мнениях, он не должен сомневаться ни на минуту и уволить меня, причем я не приму случившееся как неуместный поступок. Я также заметил, что не честолобив, упомянул и о том, что необходимо активизировать скрытые в министерстве иностранных дел возможности.

Ведомство должно полностью подчинить свою работу интересам рейха. Во время беседы я заручился словами Риббентропа, что в ближайшее время война не планируется. Действительно, войну не начинают, не имея надежды на успех.

После нашей беседы 5 марта 1938 года я сделал следующую запись:

«Я не собираюсь углубляться в нашу политическую программу. Вероятно, обсуждение главных целей нашей политики показало бы теоретические расхождения с партийной программой. Но я полагаю, что на взгляды Риббентропа можно повлиять. Не вижу смысла в том, чтобы обсуждать с ним фундаментальные проблемы, как я обычно поступал с профессиональным дипломатом.

Мне кажется, что именно неопределенность взглядов Риббентропа обеспечивает свободу, необходимую, чтобы завершить поставленную задачу, единственную задачу, ради которой я и несу свой крест, пытаюсь предотвратить войну».

Если кто-то захочет осудить меня за принятие такого решения, он волен это сделать. Возможно, мне следовало более четко настаивать на своей отставке. Но я принял произошедшее как должное. В то время я практически не знал Риббентропа, хотя и откровенно сказал своим друзьям, что вряд ли мое сотрудничество с ним продлится более трех месяцев, в крайнем случае полгода.

Я не знаю, что происходило в голове Гитлера в конце относительно тихой осени 1937 года. На Нюрнбергском процессе 1945 – 1946 годов говорилось о «минутах Хоссбаха» – совещании, прошедшем в рейхсканцелярии 5 ноября 1937 года. На нем Гитлер раскрыл свои планы будущей войны. Участвовавший в обсуждении Нейрат рассказал о них своему зятю Макензену, но не довел их содержание до моего сведения.

Однако, если бы я узнал об их сути, это, возможно, только укрепило бы мое мнение, что нам угрожали проведением не совсем пристойной и дилетантской внешней политики и, следовательно, имелись все основания для того, чтобы мы не оставались в стороне от происходящего. В этом случае министерство иностранных дел становилось единственным местом для борьбы за сохранение мира.

АНШЛЮС АВСТРИИ (март 1938 г.)

Только в апреле 1938 года я наконец приступил к работе в качестве статс-секретаря. Аншлюс Австрии в это время уже был доведен до конца, и в связи с этим Гитлер направил Риббентропа в Лондон и снова вернул Нейрата. В подготовке аншлюса министерство иностранных дел участия практически не принимало. Сам Гитлер проводил переговоры в Берхтесгадене {Пригласив 11 февраля 1938 года австрийского канцлера Шушнига в Берхтесгаден (немецкий горноклиматический курорт, где была построена резиденция Гитлера) на переговоры по вопросам германо-австрийских отношений, Гитлер предложил Шушнигу текст соглашения, практически означавшего отказ Австрии от суверенитета. Соглашение включало также требование назначить главу австрийских нацистов Зейс-Инкварт министром внутренних дел, а также выпустить из тюрем нескольких австрийских нацистов. Плебисцит, который предполагал провести Шушник и который должен был решить судьбу Австрии (13 марта), был отменен 11 марта по требованию Гитлера, предъявившего очередной ультиматум: отставка Шушнига и назначение канцлером Зейс-Инкварт. Назначенный канцлером Зейс-Инкварт обратился к правительству рейха с просьбой об «оказании помощи», которая и была немедленно оказана: в течение 11 – 12 марта вермахт занял Австрию (Шушник призвал австрийскую армию не оказывать сопротивления). 13 марта 1938 г. был издан декрет о государственном объединении Австрии с Третьим рейхом. }.

Позже, 26 марта 1938 года, в связи с проблемой аншлюса я сделал следующие записи:

«Недостаток времени помешал мне записывать события начиная с 10 марта. Теперь же я конспективно изложу некоторые из произошедших событий. День 11 марта оказался весьма напряженным, тогда случились целых три события, которые неизбежно и должны были быть. Первое из них произошло в самой Австрии: Зейс-Инкварт потребовал, чтобы плебисцит был отложен. Второе стало следствием предпринятых шагов со стороны как Австрии, так и Германии: ушло в отставку правительство Шушнига. Тогда, по указанию Геринга, германский военный атташе генерал Муфф потребовал назначения Зейс-Инкварт канцлером. Требовалось дать ответ в течение сорока минут, в случае отказа Австрии угрожали вводом 200 тысяч солдат.

После своего назначения Зейс-Инкварт решил, что немецкие войска не должны вступать в страну, и просил, чтобы этого не произошло. В течение ночи 12 марта требование было поддержано нашим *chargé d'affaires* {Поверенный в делах (*фр.*)} фон Штайном, самим генералом Муффом и главнокомандующим фон Браухичем (Браухич Вальтер (1881 – 1948) – фельдмаршал (1940), в 1938 – 1941 годах главнокомандующий сухопутными войсками. – Ред.). Частично и я принял в этом участие. Желанный бросок в Австрию все же состоялся (уже 11 марта. – Ред.), хотя 12 марта сам Гитлер не думал о том, чтобы добиться выполнения аншлюса в полной мере. Только в воскресенье 13 марта фюрер распорядился завершить столь долговременно планировавшиеся мероприятия. До тех пор Гитлер лишь имел в виду «объединение руководств двух государств».

С моей стороны было чрезвычайной смелостью, не спрашивая разрешения ни Макензена, ни Нейрата, разбудить Гитлера ночью, чтобы просить его отменить свое распоряжение. Он послал ответ, что уже слишком поздно, чтобы отозвать военные приказы. Возможно, он и был прав, но было очевидно, что Гитлер хотел продемонстрировать военную мощь и, полагаясь на заверения командования вермахта, рассчитывал, что аншлюс завершится абсолютно бескровно, как внутри страны, так и в отношении иностранных государств.

Действительно, и аншлюс, и марш германских войск по Австрии произошли без единого выстрела. Я же, по собственной инициативе, осмелился дать главнокомандующему совет, чтобы контингент войск двигался прямо на юг через Инсбрук и, укрепляя тылы, обменялся дружеским рукопожатием со своими итальянскими товарищами, находящимися на перевале

Бреннер. Правда, и сам Гитлер пока не был уверен в отношении итальянцев – как и Муссолини, он применил свою излюбленную методику ошеломлять народ. Гитлер не верил, что какое-либо третье государство вмешается и воспрепятствует аншлюсу, поскольку в военном отношении был совершенно не готов к подобной интервенции.

В конечном счете аншлюс вошел в историю международной политики как акт насилия. Как образец нацистских методов, он приумножил страх, который питали за границей в отношении непредсказуемых и опасных действий Гитлера. И даже сторонники аншлюса предпочли бы обойтись без рева эскадрилий германских люфтваффе.

Кроме того, руководство рейха показало и свою полную политическую безответственность. Хорошо известно, что Гитлера никогда не волновала проблема ответственности. Только когда все шло не так, как задумано, он начинал искать виноватых.

Одновременно с прибытием Гитлера в Вену из Лондона в Берлин вернулся Риббентроп. Отправившись в Вену на личном самолете, он взял меня с собой. Так я оказался среди тех, кому довелось увидеть официальное введение аншлюса в Вене, волнующее зрелище, несмотря на мои внутренние опасения. Зрелище марширующих вместе немцев и австрийцев гасило болезненные воспоминания о тех временах, когда два народа противостояли друг другу на поле битвы и, что было гораздо чаще, противоборствовали на дипломатическом поле.

Ничто не способствовало аншлюсу больше, чем изгнание Габсбургов, проведенное союзниками в 1919 году (Габсбургская монархия прекратила существование 12 ноября 1918 года, когда Национальное собрание объявило Австрию республикой. – Ред.), и последовавшее за ним унижение изолированной маленькой страны Австрии, едва способной существовать самостоятельно. Таким образом, протесты иностранных государств, направленные против аншлюса в 1938 году, оказывались неубедительными и неэффективными.

В первые несколько дней воодушевление казалось искренним. Даже кардинал Инницер, похоже, был захвачен общим настроением. Однако австрийские нацисты вскоре обнаружили, к своему удивлению, что аншлюс с Третьим рейхом для них ничего не значит. Часть работы, связанной с аншлюсом, – закрытие австрийского министерства иностранных дел на Баллахусплац – поручили мне. Оно еще продолжало работать, хотя часть чиновников, явных противников аншлюса, отсутствовала, успев выехать за границу. Оставшиеся беспечно озирались, ожидая решения своей судьбы. Сам же я делал все от меня зависящее, осторожно перемещаясь по паркетным полам дома со столь древними традициями. Однако привлечение австрийских дипломатов на нашу службу вовсе не сопровождалось всеобщим одобрением, хотя среди тех, кого мы выбрали, оказалось несколько действительно стоящих работников. И все же мне казалось, что те австрийцы, кого мы привлекли в наше ведомство, не были до конца удовлетворены и наше министерство не много выиграло, приняв новых членов, помимо всего прочего обладавших и иной дипломатической выучкой. Откровенно говоря, период 1938 – 1945 годов оказался не самым подходящим временем для вливания новой крови в наши ряды.

Я ЗАНИМАЮ ПОСТ СТАТС- СЕКРЕТАРЯ (апрель 1938 г.)

Вскоре после возвращения из Вены я официально вступил в должность статс-секретаря МИДа. Одним из первых последствий моего назначения, хотя и носившим показной характер, оказалось принятие меня в НСДАП. Как мне заявили, это было необходимо ради «соблюдения декорума», как и присвоение соответствующего моему рангу высокого звания в так называемых СС{СС (SS, сокращение от Schutzstaffeln – охранные отряды), организация германских нацистов. В 1925 г. обособилась в штурмовые отряды (СА), как «личная охрана фюрера», а с 1934 г. самостоятельная организация. С 1929 г. возглавлялась Г. Гиммлером.}, хотя мой новый статус не предполагал получения никакой специальной информации или необходимости выполнения каких-либо особых служебных обязанностей.

Не стоит и говорить, что у меня не было права выбора в связи с этими назначениями, иначе мне пришлось бы отказаться от той задачи, которую я перед собой поставил. Каждый человек по-своему относится к знакам отличия и форме, соответствующим его должности. Так, для не подозревающего ни о чем идеалиста они служили бы источником энтузиазма. Для меня же они являлись неизбежным выражением ответственности, которая была возложена на меня в качестве статс-секретаря министерства иностранных дел, означая, что меня наделили еще одним поводом для беспокойства.

Поглощение личности коллективом и полное подчинение его мнению стало современной болезнью, поразившей не только рейх Гитлера. Я понимал, что добился своего положения не из-за связей с партией, но из-за того, что до сих пор не имел с ней ничего общего. С другой стороны, даже сегодня я готов надеть черный мундир эсэсовца, красный или зеленый пиджак, если это поможет мне выполнить мою политическую задачу сохранения мира.

За два десятилетия, что прошли с Версаля, я получил прекрасную возможность наблюдать, как промахи и упущения наших противников в управлении государством привели к современному положению Германии. Даже в Англии оказалось всего несколько человек, и я могу назвать их имена, которые попытались провести политику, выходящую за пределы современных технологий и подыгрывавшую толпе. Для достижения высокой цели следовало принести политические жертвы.

Однако мир требовал четкого размежевания, а иногда и полного разрыва с прошлым. Например, хорошо обученные и традиционно весьма энергичные французские дипломаты казались мне слишком привязанными к своим традициям и, в частности, слишком ревностными сторонниками идей Ришелье. Я был совсем не ослеплен происходящим и мог видеть ошибки других, но в то же время с близкого расстояния наблюдал и наши ошибки, что делало для меня ситуацию более прозрачной. И действительно, промахи оказались слишком очевидными.

Странность моего положения, начавшаяся весной 1938 года, усиливалась тем, что моя личная жизнь практически закончилась. Днем и ночью я находился на страже – как дозорный на берегу, который боится, что в любой момент неуправляемое и бурное течение может смыть дамбу. Первой моей задачей стало превращение министра в главу команды, укрощающей дамбу.

В соответствии с принятым во всех странах порядком мне, как статс-секретарю, полагалось каждое утро встречаться с министром, как и было условлено между нами. Вначале Риббентроп в основном находился в Берлине и часто приходил в министерство, правда в разные часы. Как и Гитлер, он любил работать по ночам, поздно вставал и неохотно подчинялся официальной рутине.

Однажды, в Пасху 1938 года, Риббентроп имел со мной подробную беседу по политическим проблемам. На прекрасной лужайке его загородного дома в Зонненбурге, расположенном близ Фрейенвальде (курорт в 50 километрах от Берлина), не останавливаясь он произнес длинную речь, в которой изложил поразительную программу. Риббентроп придерживался мнения, что, возможно, мы сохраним мир в течение еще нескольких лет. В то же время в его программе содержались планы, направленные на продвижение политики экспансии, прежде всего на Востоке. Герр фон Риббентроп описывал ее как «политику большого масштаба», достойную Гитлера, как фюрера национал-социалистической Германии. Он признавался, что планы не удастся реализовать, не столкнувшись с сопротивлением Англии.

Официально как потенциальный противник рассматривалась Россия, в действительности все было направлено против Англии. Как заявил Риббентроп, одновременное противостояние в прошлом Англии, Франции и России являлось ошибкой, и это не должно повториться. В этом плане Японию следовало завоевывать в качестве нашего союзника. Все сказанное было изложено в обширном меморандуме, которым Риббентроп размахивал передо мной во время речи.

Он казался человеком лишенным всяких моральных принципов. Я подумал, что для того, чтобы быть услышанным, следовало дать понять ему, что его предложения невозможно осуществить. Мои возражения по этому поводу основывались как на военных, так и на политических соображениях. Воспользовавшись паузой, я заявил, что невозможно нанести решающие удары по Англии с воздуха, следовало действовать только с моря.

Англия могла проявлять терпимость только в том случае, если сохраняла спокойствие Франция, но та вовсе не находилась в состоянии внутреннего распада. В случае большой войны в борьбе с Англией мы получили бы помощь Японии. Но помощь мы бы получили в любом случае, поэтому не было никакой необходимости покупать ее... Однако, столкнувшись с таким вспыльчивым собеседником, как Риббентроп, с его истерическим энтузиазмом в отношении своих идей и непредсказуемостью в общении и образе мыслей, я осознал, как сложно вести с ним нормальную дискуссию.

Попробуем обобщить, что же представлял собой новый министр иностранных дел. Если вспомнить Бисмарка, то он говорил, что недальновидности в политике следует предпочесть дальновидность. Имея дело с Риббентропом, я понимал, что речь идет о дальновидности, поскольку его взгляд блуждал в отдаленной и туманной нереальности. Мне казалось, и я говорил об этом моим друзьям, что вместо меня к Риббентропу следовало бы прикрепить моего брата, профессора-терапевта и невролога, работавшего в Хайдельберге.

Наши беседы вызывали у меня крайнее беспокойство. И вовсе не потому, что я серьезно относился к планам нашего министра иностранных дел, для этого они были слишком авантюрными. Просто я ожидал, что за несколько лет мира, о которых говорил Риббентроп, сама жизнь внесет в эти планы необходимые перемены.

Мне казалось, что жесткая реальность и отчетливая угроза извне должны были разрушить столь необузданные идеи. При этом я не представлял, особенно после этого Светлого Христова воскресенья, как я, который не мог говорить на его особом жаргоне, собираюсь вести серьезные беседы с министром иностранных дел. Правда, я все еще надеялся, что мне удастся это сделать.

И только летом 1938 года, после нескольких напрасных попыток вести откровенный разговор и честный спор, я смог установить методику бесед с министром иностранных дел, представлявшую собой соединение измышлений и случайных намеков. В то же время я, к сожалению, понял, что напрасно пытаюсь убедить Риббентропа в необходимости использовать политические аргументы.

На самом деле он обладал способностью предчувствовать политические идеи Гитлера и, как только Риббентропу казалось, что идея закрепилась в сознании Гитлера, выдвигал свои

идеи, практически с ней совпадавшие, и ему удавалось продвинуть Гитлера в том же направлении. Поэтому мне приходилось демонстрировать свое собственное мнение. Конечно, такое положение дел нельзя было назвать нормальным, но вплоть до осени 1938 года, то есть до Мюнхенского соглашения, моя особая позиция приносила свои плоды.

Ситуация явно изменилась с того времени, когда Риббентроп сознательно дистанцировался от министерства иностранных дел, став неофициальным помощником Гитлера. Теперь он яростно отстаивал свою собственную позицию, защищаясь от влияния некомпетентных советчиков. Он постоянно вступал в перепалку с Геббельсом и Розенбергом, оспаривал личное право Гесса (Рудольф Гесс (1894 – 1987) – с 1933 года заместитель Гитлера по партии. – Ред.) на вето в кадровых вопросах, касающихся министерства иностранных дел.

Используя огромные специальные фонды, которые он сумел получить, Риббентроп тем не менее избегал контроля в отношении своих финансовых дел со стороны министерства финансов. С Гиммлером ему удалось поддерживать дружеские отношения, потому что тот боялся его. Постепенно Риббентроп перевел под свой контроль зарубежные поездки представителей партии и правительства.

Как правило, он действовал прямолинейно и грубо, зная, к какому роду людей относятся его товарищи по партии, и, возможно, имел все основания поступать так, как считал нужным. Если бы сам Риббентроп был нормальным человеком (выходец из старинного рода потомственных военных, Риббентроп, как и Гитлер, добровольцем пошел на фронт Первой мировой войны, воевал на Востоке, затем на Западе до весны 1918 года, несколько раз был ранен, тяжело болел. Был награжден Железным крестом 1-го класса (как и Гитлер. – Ред.) и преуспел в своем стремлении к укреплению собственного положения, повышая свою компетенцию, возможно, министерство иностранных дел вторично интегрировалось бы в структуру государства.

Наше ведомство оставалось цельным вплоть до первой половины 1938 года, за рубежом находился корпус опытных и эффективно работавших дипломатов. Сердцевина министерства иностранных дел, политический департамент, состояла из опытных чиновников, отличавшихся осознанным стремлением к сохранению мира. Большинство из них относились к типу надежных администраторов, но не отличались дипломатической изворотливостью. Мне повезло, я был окружен превосходными коллегами, не обладавшими склонностью завидовать и настроенными дружелюбно.

Неприятности доставлял только один старый член ведомства, который выдвинулся при Риббентропе и занял сильную позицию в его окружении, поэтому часто «стрелял» в меня исподтишка. Позже он признался, что стал неофициальным советником Риббентропа, постоянно ему поддакивая. Давая ему оценку, среди прочих вещей Риббентроп отмечал, что он – осторожный человек, считавший неизбежным конфликт между Германией и Англией. Его предвидение в отношении Англии оказалось более точным, чем даже у самого Риббентропа.

Рассказывали, что до того, как Гитлер появился на политической сцене, Риббентроп и его жена играли некоторую роль в обществе и вращались в состоятельных кругах в берлинском бомонде. В их доме всегда была отменная кухня и великолепные вина. Что касается вина, то хозяин дома действительно слыл знатоком, поскольку в прошлом он занимался этим бизнесом. Некоторые симпатии и антипатии Риббентропа восходили именно к тем временам, так что некоторые чиновники в министерстве иностранных дел впоследствии даже пострадали из-за прошлых отношений. Одним из них оказался некий фон Лирс, который, как рассказывали, несколько лет тому назад забаллотировал членство Риббентропа в клубе.

Отметим также весьма неуклюжие попытки Риббентропа военизировать министерство, к счастью более не повторявшиеся. Но Риббентроп никак не мог избавиться от некоторых своих дурных привычек, явно не соответствовавших привычкам чиновников министерства. Одна из

таких историй привела к отставке главы протокольного отдела фон Бюлова-Шванте в связи с поездкой Гитлера в Италию в мае 1938 года. Мне тогда не удалось погасить конфликт.

Замечу, что итальянское путешествие Гитлера прошло под несчастливой звездой, с того времени началась вражда между ним и королем Виктором-Эммануилом III. Фюрер был огорчен, что является гостем короля, а не дуче, ему было неловко в резиденции президента Италии, расположенной во дворце на Квиринале (один из холмов Рима. – Ред.). Гитлер находил королевское окружение высокомерным и не имел никаких контактов с королем. Неприязнь оказалась взаимной.

Вместе с тем продолжение визита оставило у Гитлера самое благоприятное впечатление от итальянских вооруженных сил. Я и сам, как специалист, был приятно удивлен итальянским флотом во время смотра, состоявшегося в Неаполитанском заливе.

Все путешествие было красивой инсценировкой, за кулисами которой шла невероятная политическая игра. За шесть месяцев до случившегося Риббентроп говорил мне, что договор подпишут во время визита в Италию, а содержание договора пока продолжает обсуждаться. Вскоре после этого фон Макензен доложил Гитлеру, что отправляется в Рим, чтобы занять свой пост в качестве нового посла.

Макензен позже говорил мне, что в ответ на его слова Гитлер произнес следующую реплику: «Южный Тироль всегда был и будет вне наших интересов. Мы не собираемся вести никакой пропаганды в пользу Южного Тироля. Немецкие границы с Италией, Югославией и Венгрией останутся прежними. Наша цель, если не считать судетских немцев, – страны Балтии. Особый интерес представляют Польский коридор и границы государств (Польский (Данцигский) коридор – название полосы земли, полученной Польшей по Версальскому мирному договору 1919 года и дававшей ей доступ к Балтийскому морю. – Ред.). Мы не хотим править неарийцами, но, если это случится, они составят границу нашего государства. Следует заключить договор с Муссолини. Его руки должны быть развязаны, чтобы он мог действовать на Средиземном море, а мы на северо-востоке». Вот что Гитлер сказал Макензену.

Я же, в свою очередь, сказал Макензену следующее: «Действительно, нам следует заключить договор с Муссолини, но он будет носить сдерживающий и просветительский характер. Иначе Муссолини вообразит, что его большой брат всегда будет готов помочь ему в реализации его задумок в отношении Средиземного моря. Мы не собираемся сражаться за остров Мальорка. Мы должны удерживать правительство в определенных рамках».

13 мая 1938 года, вернувшись из Италии, я добавил в своем дневнике:

«Я был готов ответить на каждую просьбу Италии о сотрудничестве (если бы она была склонна к этому, в чем, правда, я сомневался), предоставив ей текст договора, который никоим образом не связывал нас участием в какой-либо итальянской аванюре. Муссолини повел себя так, как будто у него были затычки в ушах, представив свою версию договора, напоминавшего мирное соглашение с врагом, а не пакт о лояльности, заключенный с другом.

Поэтому мы снова вернулись на север, формально не придя ни к какому соглашению... Муссолини делал все от него зависящее, настаивая на своем, брал передышку для восстановления сил, устройства соглашения с Англией. При этом не отрицал, что позже захочет войти и в Тунис. Нам же путешествие показалось уроком, оказав отрезвляющее воздействие».

Не стоит и говорить, что записка была написана с расчетом, что она может попасть к нежелательному человеку. Словами «нас» и «мы», как обычно, обозначались Гитлер и Риббентроп.

Всего за два месяца до этого, проснувшись, Италия обнаружила, что благодаря аншлюсу Австрии стала соседкой Германии. Соответственно, Гитлер произнес речь во Дворце (палаццо) дождей в Венеции, где отказался от притязаний на Южный Тироль, «свидетельствуя о всегдашних чаяниях немецкого народа». Вследствие этого отказа была осуществлена программа дегерманизации и переселения, что привело к напряженности в отношениях с Италией в ближайшие

годы. Возвращаясь в поезде домой из Италии, вздохнув, Гитлер заявил: «Вы даже не можете себе представить, как я рад снова вернуться в Германию».

То же самое я мог сказать и о себе. Италия прятала свое лицо, а ее нынешняя «форма» ей не подходила. До этого мне не доводилось бывать в Риме. Он оставался спрятанным за флагами, гирляндами и плакатами. Мне также еще не приходилось путешествовать с такими партийными шишками. Окружение Гитлера состояло из нескольких сотен людей, что раз в десять превышало свиту обыкновенного монарха. Все они получили признание, удостоившись орденов ленточек и подарков.

Однажды, когда Риббентроп спросил у меня, обращаются ли со мной в соответствии с моим званием, я ответил ему, что чем дальше я располагаюсь за столом, тем приятнее оказываются мои соседи. Риббентропу не понравился мой выпад. Но действительно, комфортнее всего и непринужденнее я чувствовал себя за обедом в семейных кругах во Флоренции. Меня поражало, как Муссолини держался в рамках этикета во время бесед с королем.

Отношения Германии с Италией были и оставались неискренними. Однако два партийных режима продолжали поддерживать друг друга. Но во времена поездки Гитлера в Италию германский национал-социализм уже достиг высшей стадии своего развития и превзошел итальянский фашизм. Единственным реальным фактом в этом зарождении оси (Берлин – Рим) оказались отношения между Гитлером и Муссолини.

Отношения между Чиано и Риббентропом никак нельзя было назвать дружескими, ибо они смотрели друг на друга свысока и даже вели себя похожим образом, стремясь всячески подчеркнуть собственную важность. В беседах с Аттолико мы называли их «*nos deux hommes d'État*» {Наши два государственных гиганта (*фр.*)}. Замечу, что из них двоих Чиано казался умнее, более образованным и лучше осведомленным в политических вопросах. О нем можно было также сказать, что он знал, что делал.

Но именно поэтому он и чаще заслуживал критики. Его жена Эдда, интеллигентная и преданная дочь своего отца, поддержала тем не менее своего мужа, когда тот в 1943 году поссорился со своим тестем Муссолини. Лучшее, что Чиано сделал в своей последующей жизни, – написанные им в назидание потомкам «Дневники».

Вернувшись из Италии, я (ради пользы министерства иностранных дел) заметил, что Италия не проявила интереса к намерениям Германии в отношении Праги. Италия считала, что не следует преувеличивать опасность немецко-чешского конфликта. Она также полагала, что мы способны искусно разрешить чешский вопрос, не противореча европейским интересам. Что же касается самой Италии, то она хотела в течение некоторого времени сосредоточиться на своих завоеваниях и сохранять спокойствие.

Таковой оказалась информация, полученная из вторых рук. Я не присутствовал на беседе Гитлера и Муссолини. Во время поездки домой генерал фон Штюльпнагель рассказал мне о запланированном рискованном мероприятии. Я продолжал сомневаться, до какой степени дойдет Гитлер в своих тайных замыслах. Только в одном я был уверен – что именно Судеты становятся центром реализации его планов.

СУДЕТСКИЙ КРИЗИС (лето 1938 г.)

Уже на мирной конференции в Париже в 1919 году Центральные державы признали, что границы только что созданной Чехословакии не могут основываться на этнической основе. Государственный секретарь США Р. Лансинг в весьма резких выражениях сказал, что он против подобных границ (Лансинг предлагал передать Германии значительную территорию, где проживали так называемые судетские немцы, но в конце концов оставили границу, существовавшую между Германией и Австро-Венгрией. – Ред.). На конференции он заявил, что новая германо-чешская граница «прямо противоречит духу Лиги Наций, тенденции к международному разоружению и политике Соединенных Штатов». Критику встретили с пониманием, поскольку, в соответствии с всеми признанными принципами Вильсона, ожидаемый мир должен был покоиться на праве народов самим выбирать свою судьбу.

В то время никто не спрашивал мнения судетских немцев. Земли, где они жили, непосредственно граничили с Германией, так что никого никуда не нужно было переселять в случае вхождения в состав рейха. Но эта область находилась в составе Чехословакии, правительство которой за прошедшие годы ограничило участие местных немцев в управлении страной, отказавшись предоставить им автономию. В результате немецкое национальное меньшинство, составлявшее порядка 3 миллионов человек, единогласно поддерживало будущее мероприятие, несмотря на всю его сомнительность в политическом плане.

Полагаю, что чешское правительство само могло бы справиться с этой зияющей раной, если бы обращалось с немцами должным образом. Но обстоятельства сложились так, что любое напряжение на германо-чешской границе приводило к усилению сепаратистских настроений среди судетских немцев. Особенно они обострились после того, как произошло присоединение к рейху Австрии.

Во время заключения австро-германского соглашения об аншлюсе чешского посла в Берлине заверили, что происшедшее никак не затронет интересы его страны. В Праге и в Париже делались попытки представить эти контакты, осуществлявшиеся Герингом и Нейратом, как отказ Германии от каких-либо намерений в отношении судетских земель.

Прикрывшись договором с Францией (а также с СССР. – Ред.), чехословацкое правительство продолжало обращаться с судетскими немцами прежним образом – несмотря на возраставшие требования судетского сообщества о признании их прав на самоопределение, о чем свидетельствовали результаты местных выборов, прошедших в апреле 1938 года, и так называемые «карлсбадские требования» (восемь требований, выдвинутых лидером судетских немцев Генлейном (сын немца и чешки (1898 – 1945), покончил с собой 10 мая в американском лагере после объявления о безоговорочной капитуляции), означавших полную автономию для судетских немцев. – Ред.).

Ни эти требования, ни любые другие подобные шаги, предпринимавшиеся уже летом судетскими немцами, не представлялись для одобрения в министерство иностранных дел. Гитлер инструктировал своих людей, Генлейна и Франка, руководствовался собственным мнением и шел своим путем, что стало ясно для министерства уже в конце марта 1938 года. Все это не обещало ничего хорошего. С другой стороны, Нейрат сказал мне, что в свой день рождения, 20 апреля, Гитлер говорил ему, что достиг вершин успеха во внешней политике и что никто не должен натягивать лук. Где же была истина?

Ответ на поставленный вопрос дали контакты с английским послом. Невилл Хендерсон прибыл в Берлин в 1937 году и вначале ничем особенным себя не проявил. Это был почтенный карьерный дипломат, много повидавший на своем веку. Он выглядел молодожаво, не был женат и слыл дамским угодником, всегда демонстрировал элегантно небрежность, но никогда не появлялся без красной гвоздики в бутоньерке. Хендерсона считали спортсменом, любителем

бокса и кровавых видов спорта. Он предпочитал беседы в узком кругу, обладал здравым смыслом и тактом, искренне желал сохранить мир.

Посетив меня 20 мая 1938 года, он передал обеспокоенность чехов передвижениями германских войск вблизи границы, особенно в Саксонии. Естественно, Хендерсон не разделял настроения чехов, осознавая, что они должны пойти на определенные жертвы в судетском вопросе, необходимые, чтобы избежать войны. В беседе со мной Хендерсон хотел получить официальное подтверждение того, что германское руководство не будет обращать внимание на поступающие из Чехии подстрекательские призывы. Оказавшись в щекотливом положении, я связался по телефону с генералом Кейтелем и тотчас дал Хендерсону необходимые *dйmenti* {Официальное опровержение (*фр*).}, совпавшие с имевшимися у него сведениями.

Чешское правительство действительно провело мобилизацию, попытавшись объяснить ее сосредоточением германских частей на границе. Случившееся вызвало беспокойство в Лондоне и привело к так называемому «воскресному кризису». Но он рассосался так же быстро, как и возник.

Однако Риббентропу совсем не понравилось, что я дал Хендерсону официальное опровержение слухов. С его точки зрения, я должен был отказаться отвечать на вопрос, связанный с военными проблемами, и указать послу на дверь. И напротив, Гитлер по мере развития конфликта обнаружил, что мое отношение ему помогло.

С того времени Хендерсон стал оказывать нам свою поддержку – до тех пор, пока наше намерение разрешить судетско-германский вопрос развивалось в мирном русле. Проблема становилась все более острой, и дальше ее замалчивать было нельзя. Свои надежды Хендерсон связывал с решениями и мудростью военного руководства. Последние никоим образом не стремились к войне, поскольку ни армия, ни авиация не были к ней подготовлены. Чувствовавший себя не в своей тарелке Геринг присоединился к миротворцам. Он казался более прозорливым, чем обычно, и никак не выглядел как Железный Герман, согласно народной молве (фронтовик, ас люфтваффе Первой мировой войны и любимец женщин, Герман Геринг был весьма популярен в народе (вплоть до массированных бомбардировок Германии англо-американцами). – *Ред.*). В 1938 году он показал свой характер как сторонник мира.

Мои разногласия с Риббентропом продолжались. 22 мая, через два дня после вышеупомянутого визита Хендерсона в министерство иностранных дел, я сделал следующую запись: «Сегодня грубо разговаривал с Риббентропом, когда он заявил, что мы могли спровоцировать чехов. «Я совершенно не согласен с вами!» – кричал я ему сегодня в аэропорту Темпельхоф (в Берлине. – *Ред.*), отказавшись дать ему отеческий совет. Через несколько минут он переменял свои планы немедленного вторжения на политический раздел Чешского государства».

В соответствии с нашей информацией, наступил процесс «химического разложения», которого боялось чешское правительство и который мог бы не состояться, если бы оно поддавалось требованиям судетских немцев о предоставлении автономии.

С тех пор британский посол не относился серьезно к Риббентропу. Он говорил мне, что не мог передавать в Лондон и половины того, что тот ему говорил. Примерно с этого времени у нас с Хендерсоном возникли доверительные отношения, продолжавшиеся до самого его отъезда из Германии после разразившейся в 1939 году войны.

К сожалению, недельный кризис имел неожиданные последствия. Мировая пресса совершила непростительную психологическую ошибку в конце мая 1938 года, распространив историю, что Гитлер поддался иностранному давлению по поводу чешского вопроса. Гитлер не смог стерпеть подобное утверждение, хотя оно и соответствовало истине. Известно, что диктаторы более чувствительно относятся к общественному мнению, чем монархи или президенты республик.

Поскольку Гитлер еще не затевал никаких военных предприятий, он, соответственно, не имел опыта по выходу из них. К сожалению, провокация со стороны иностранной прессы заста-

вила его перейти к реальным действиям. Теперь он был решительно настроен, чтобы решить чешскую проблему с помощью силы, правда, тогда мне не было известно, в какие конкретные сроки он решил это сделать.

В начале июня я решил связать Риббентропу руки, вставив в меморандум мысль англичан, что жители судетских земель имеют право на самоопределение. 9 и 12 июня я изменил методику и объяснил министру, что, с другой стороны, военная мощь государства исключает возможность неожиданных действий. Я говорил, что нам нужно принять новые решения.

21 июля я дважды беседовал с Риббентропом и сделал следующие записи: «Сегодня Риббентроп удивил меня, заявив, что по чешскому вопросу министерству иностранных дел следует действовать решительно, настаивая на своем. Если бы мы рискнули и начали войну с Западом, то выиграли бы. Французы неизбежно потерпели бы поражение в великой битве на восточной границе Германии. И мы готовы к любой войне, как бы долго она ни длилась, поскольку мы хорошо обеспечены сырым мясом. Кроме того, Геринг построил так много самолетов, что мы превосходим любого противника... Я ответил, что не верю во все это и что мы не должны пускать пыль в глаза. Я не верю, что мы победим в этой войне. Верно, что можно покорить страну, захватив ее или заставив голодать, но неверно думать, что этого можно достичь с помощью авиации, поэтому я не понимаю, как мы можем выиграть в этой войне, ибо я также не верю в наши возможности вести длительную войну. Тогда Риббентроп немного остыл».

Спустя неделю я снова попытался переубедить Риббентропа, на сей раз в Зонненбурге. Чтобы защитить себя с запада во время чешского кризиса, мы воздвигли обошедшийся в огромную сумму так называемый Западный вал, оборонительный пояс, который, как полагали, создает серьезное препятствие для Франции в любой наступательной войне, которую она может затеять против Германии.

Этот Западный вал стал важным аргументом для Риббентропа. Министр хотел, чтобы наша дипломатическая миссия выставляла на посмешище всякую идею, связанную с готовностью англо-французской армии выступить с вооруженной поддержкой чехов. В этой связи он написал циркуляр, в котором предсказывал несомненную победу Германии в будущей войне.

Содержание записки привело к дальнейшим разногласиям между мной и Риббентропом. И в письменной, и в устной форме я выражал мнение, что циркуляр никоим образом не укрепит нашу миссию. Нашей делегации не поверят, если она выскажет свои аргументы в столь пафосных формах. Я также говорил, что Риббентропу следует говорить своим посланцам то, что им следовало высказывать, но при этом он не должен смотреть на них как на слабоумных.

Позже Риббентроп немного пригладил некоторые свои высказывания, но похоже, что он сам верил в то, что написал. Я же в то время верил в заявление, содержащееся в записке, что «после решения проблемы судетских немцев Германию следует рассматривать не как жертву колониальной проблемы, а как одну из успешных наций Европы». Возможно, мне следовало бы понять тогда более четко, что не всем заявлениям можно было доверять.

Все же нашлось двое счастливых людей, выигравших от этого парламентского кризиса: наша дочь Аделаида и ее жених Бото-Эрнст. Видя, какой угрожающий оборот принимают дела, они ускорили свое венчание, перенесли его с осени на лето. Но даже в столь счастливые дни беспокойство не оставляло меня.

19 августа Риббентроп объяснил мне, что Гитлер твердо решил урегулировать чешский вопрос с помощью оружия. Увидев мое несогласие, Риббентроп, как я записал позднее, «начал распространяться по поводу темы ответственности, заметив, что я подчиняюсь только ему, он – Гитлеру, а Гитлер – немецкому народу, эту теорию я поддержать не мог». Риббентроп также объяснил мне, что Гитлер никогда не совершает ошибок, его самые трудные решения и действия (оккупация Рейнланда) уже относятся к делам давно минувших дней. Мне же остается только верить в гений фюрера, как делает и сам Риббентроп, основываясь на личном опыте. Если я еще не подчинился «слепой вере» (он использовал клише, широко бытовавшее в то

время), то, испытывая дружественные чувства, я должен это делать. Позже я пожалею, добавил Риббентроп, если не смогу так сделать, особенно когда пойму, что факты обернутся против меня.

Однако я по-прежнему не оставил попыток исцелить господина фон Риббентропа от его опасных романтических навязчивых идей. Накал достиг высшей точки, поэтому казалось своевременным попытаться избежать надвигавшейся катастрофы другими средствами и иным образом. Первая возможность напрашивалась сама собой и обеспечивалась состоявшимися в то лето событиями. Это был визит венгерского регента Хорти (Миклош Хорти (1868 – 1957) – контрадмирал (1918), диктатор Венгрии в 1920 – 1944 годах. Позже в эмиграции. – Ред.) в Берлин, а затем его поездка на германскую часть побережья Северного моря. Моя жена, вынужденная сопровождать мадам Хорти, услышала спонтанно брошенную им реплику: «Нам следует сделать так, чтобы мы не оказались втянутыми в новую войну».

Все действия Хорти во время поездки отличались дружелюбностью поместного венгерского дворянина и прямоотой бывшего морского офицера. При дворе императора Франца-Иосифа I он был адъютантом. Во время Первой мировой войны Хорти был героем военного флота двуединой монархии (Австро-Венгрии. – Ред.). Он был постоянным регентом венгерского монарха, отличался прекрасным воспитанием и воспринимал как должное традиционные нормы добропорядочного общества. Поэтому официальный мир Третьего рейха был совершенно чужд Хорти, и в своих взаимоотношениях с его представителями он испытывал некоторые трудности, поскольку ему приходилось скрывать свою неприязнь.

Хорти сопровождали министры Имреди и Канья, последний тщательно изучил состояние дел в Третьем рейхе и ненавидел его. Полагаю, что именно ему принадлежала идея использовать поездку, чтобы добиться безопасности для Венгрии, не предпринимая при этом никаких рискованных шагов и не становясь возможным призом в лотерее Гитлера. Стремясь избежать любых угроз, Канья от имени Венгрии поддержал соглашение с Малой Антантой (Чехословакия, Румыния, Югославия, создана в 1920 – 1921 годах. – Ред.), поступившее к нам одновременно с визитом. Оно однозначно показывало, что Венгрия не хочет втягиваться в германо-чешские разногласия. Риббентроп и Гитлер прореагировали на него в соответствии с собственными представлениями. 23 августа, находясь на борту лайнера «Патрия», я сделал следующую запись в связи с происходившим: «Риббентроп спросил у венгров (Имреди и Канья), каково будет их решение, если Гитлер выполнит свое намерение и ответит силой на новую провокацию со стороны чехов. Ответ венгров показал, что уже предприняли определенные меры... Герр фон Риббентроп заявил, что Англия и Франция вмешиваться не станут. Англия не станет рисковать благополучием своей страны по столь незначительному поводу. ...Герр фон Риббентроп подчеркнул, что любой, кто выскажет ревизионистские взгляды, может воспользоваться ситуацией и принять определенное участие в том, что будет сделано».

Как я отметил в своих записях, Имреди «вдохнул с облегчением, когда Гитлер заметил, что в данном случае он ничего не требует от Венгрии... Хотя, по справедливости, тот, кто хочет есть, сначала должен помочь в приготовлении пищи». Очевидно, что венгры вначале хотели посмотреть, как будут развиваться события, и, если все пойдет хорошо, они стали бы участвовать, а если же все пойдет не так, остались бы в стороне.

Как оправдались их расчеты? И не подвергали ли они себя опасности? Если европейскому конфликту суждено было разразиться, смогла бы Венгрия действительно избежать вовлечения в неизбежно фатальный для Германии исход? Полагаю, что в то время никто так не думал. Имреди, Канья, а также граф Чаки дали мне хороший совет, чтобы в связи с судетским конфликтом мы попытались добиться цели путем переговоров, а не рисковали развязыванием войны. Я же ответил, что, поскольку свежему глазу виднее, они должны высказать свое мнение не мне, а лично Гитлеру, чего требуют и дружественные связи между нами.

Мне не удалось выяснить, насколько настойчиво наши гости отстаивали свою точку зрения. Возможно, побоявшись обидеть Гитлера, они упустили свой шанс разрешить чешский кризис. Позже выяснилось, что они выдвинули свои требования спустя два месяца после начала переговоров в Мюнхене.

Визит Хорти на флот позволил мне коротко побеседовать наедине с Гитлером. Фон Риббентроп всегда стремился избегать моих разговоров с Гитлером или пытался сделать так, чтобы мы не оставались наедине. Однажды вечером в Киле, на квартердеке небольшой яхты «Грилле», мне неожиданно представилась такая возможность. Я попытался свести наш разговор к политике и дал Гитлеру понять, что, если война действительно разразится, я буду считать, что мои официальные обязанности закончились.

Поэтому я спросил у него, можно ли, если это действительно случится, перевести меня на один из боевых кораблей, стоявших на якорях вокруг яхты. Гитлер все понял, но никак не отреагировал на мои слова, чего бы мне искренне хотелось. Он только вопросительно посмотрел на меня, не удостоив ответом.

Перед нацистским партийным съездом я попытался еще раз предупредить Гитлера. В Штутгарте, в доме областного губернатора Мурра, где собирались немцы, приехавшие из-за границы, мы встретили Рудольфа Гесса. После обеда я откровенно объяснил Гессу, которого до этого видел только один раз, что Риббентроп дает Гитлеру плохие советы, особенно в том случае, когда говорит, что Франция и Англия не станут сражаться на стороне Чехословакии.

Очевидно, что они не хотели вступать в войну с нами, ведь и они, и мы были плохо к ней подготовлены. Но в политике бывают определенные вещи, которые следуют друг за другом точно так же, как ночь сменяет день. Поэтому, если мы решим судетский вопрос с помощью силы, а не путем переговоров, неизбежно произойдет война между Германией и западными державами. А Гитлер, очевидно, не хочет увидеть, как все, чего он достиг, будет уничтожено.

Трудно сказать, скрывал ли отвлеченный взгляд Гесса какое-либо понимание того, что ему говорили, или отвергал услышанное, а возможно, что Гесс так ничего и не понял. Когда я взглянул на часы, он спросил меня: «Что говорит герр фон Риббентроп?» Я ответил, что взгляды Риббентропа должны быть ему известны. Так я начал выступать со своей точкой зрения против Риббентропа. После нашего вторжения в Чехословакию Англия и Франция, видимо, будут втягиваться в войну с нами в течение двух или трех недель. Нам в этом случае остается только диктовать мир в Париже и Лондоне. Но поскольку мы не могли этого сделать, то, возможно, через шесть месяцев мы уступим. Я преднамеренно выдвигал свои аргументы оживленно, а не невозмутимо.

Как мне удалось выяснить позднее, Гесс передал мое предупреждение Гитлеру, но не сказал ничего Риббентропу. Спустя два дня, 30 августа 1938 года, я отправил последнему другой меморандум, надеясь, что мы изменим наш план вторжения в Чехословакию из опасения, что в Европе начнется война, за которой последует капитуляция Германии. В результате 4 сентября мы провели беседу, после чего я записал: «Любые возражения, возникающие у меня, отменяются фанатичной верой Риббентропа в непогрешимость решений Гитлера. После того как Риббентроп начал разглагольствовать по поводу немецких дипломатов, которые утратили такую веру, я заметил, ссылаясь на мой последний отчет от 30 августа, что, если бы это зависело только от него, он бы, ни минуты не колеблясь, заменил бы меня другим статс-секретарем, поскольку он знает мое мнение. Риббентроп отверг эту идею, посчитав ее невероятной и даже непрактичной. Как и раньше, он попытался погасить разногласия между нами, заметив, что вера в политику Гитлера рано или поздно нас свяжет».

Соответственно, множество раз, как и в этом случае, я предлагал Риббентропу и Гитлеру, в устной и письменной форме, что я освобожу свой пост, или, иначе говоря, формально просил их об отставке. Такая уловка оказывалась необходимой, чтобы придать вес моим советам или

показать, что я не чувствую себя зависящим от этих господ. Однако мне так и не даровали разрешения уйти в отставку.

Замечу, что во времена диктатуры легче прийти, чем уйти. При этом я вовсе не хочу утверждать, что я не мог тем или иным образом заставить их принять мою отставку. Я сам не хотел ее. Чем больше вдыхаешь запахи, струящиеся из кухни Гитлера, тем больше чувствуешь, что ты обязан остаться и помешать, чтобы там сварили смертоносное зелье.

Летом 1938 года, обладая опытом, вынесенным из судетского кризиса, увидев, как рискованно балансируют на грани между войной и миром, я оставил всякую надежду, что в вопросах политики победит здравый смысл, особенно пока Гитлер и его присные остаются у власти. Тем или иным образом нам следовало избавляться от них. Иначе говоря, вставить палку в колеса повозки, катящейся в пропасть. Поскольку мы не могли достичь результата общепринятыми методами, следовало держать нашу деятельность в секрете.

В связи со своей деятельностью статс-секретаря мне пришлось общаться с главой Генерального штаба генералом Бекком {Бек Людвиг (1880 – 1944) – германский генерал, начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии в 1935 – 1938 гг., расстрелян как участник заговора против Гитлера 20 июля 1944 г.}. Этот человек с прекрасным, интеллигентным и почти меланхолическим лицом, отягощенный ответственностью, живое воплощение самого Мольтке (имеется в виду Х. Мольтке (1800 – 1891) – в 1858 – 1888 годах начальник прусского (с 1871 года – имперского) Генштаба. Приобрел славу победителя Дании (1864), Австрии (1866) и Франции (1870 – 1871). – Ред.), согласился с моими взглядами. Весной 1938 года мы уже почти не расходились в своем отношении к Италии.

Теперь же мы полностью сошлись и в том, что войны в Европе можно было избежать. Бек полагал, что рано или поздно мы обязательно будем вовлечены в войну, если продолжим двигаться в том же направлении. Я боялся, что его отставка станет серьезной потерей для нас, особенно в отношении официальной деятельности, направленной на достижение мира. Поэтому я настаивал, чтобы Бек основательно продумал свое решение. Но он оставил его в силе. Напротив, Бек привел доводы, почему он подал заявление, которое уже написал. И так он вышел в отставку. Выражая в связи с произошедшим свои чувства, я подарил ему Плутарха.

Мы с Бекком были полностью солидарны в том, что для сохранения мира в Европе следовало избавиться от Гитлера. У нас сложились особые отношения с абвером (орган военной разведки и контрразведки Германии, образован в 1919 году правительством Веймарской республики. В 1938 году реорганизован в Управление разведки и контрразведки Верховного главнокомандования вооруженных сил Германии. В 1944 году расформирован, а его органы вошли в состав Главного управления имперской безопасности (руководитель абвера в 1935 – 1944 годах адмирал Ф. Канарис за участие в заговоре против Гитлера казнен 9 апреля 1945 года. – Ред.). Что касается моих функций, то Бек посоветовал мне оставаться в ведомстве – именно так мне удалось бы сделать все, что я мог, для сохранения мира – вплоть до последнего момента. Как солдат Третьего рейха я не смог бы этого добиться.

Свою позицию Бек, возможно, основывал на своем опыте общения с Гитлером. Бек ясно видел, что его размеренная, без всяких эмоциональных всплесков речь не производит на Гитлера никакого впечатления. Едва ли тот был способен воспринять любую аргументацию, связанную с политикой, какую Бек вставлял в свои доклады.

Во времена монархии, вплоть до 1918 года, высшие военные деятели, такие как Тирпиц и Людендорф, слишком глубоко залезали в политические проблемы. Генерал Бек ограничил себя теми проблемами, которые считал исключительно необходимыми. Такие генералы, как Кейтель и Браухич, также не выходили ни на один шаг за пределы чисто военной сферы (Гитлер этого не позволял).

Сменивший Бека генерал Франц Гальдер (1884 – 1972, генерал-полковник (1940), в 1938 – 1942 годах начальник Генштаба сухопутных войск. – Ред.) во многом разделял его взгляды.

Можно было даже подумать, что Бек посоветовал всем своим друзьям не занимать пост, который он освободил. Но само назначение не значило для него ничего особенного, поскольку его можно было доверить и ничтожеству. Гальдер происходил из Баварии и поэтому оказался более удачливым в выборе нужной тональности для разговоров с Гитлером. Его знали как офицера Генерального штаба высшего уровня, неутомимого труженика. Внешне он напоминал университетского профессора.

Что же касается моих взаимоотношений с Гальдером, то Бек подготовил соответствующую почву. Гальдер объяснил мне, что, с его точки зрения, вместо того, чтобы сопротивляться, надо делать так, чтобы другая партия, то есть Гитлер, двигалась бы в менее опасном направлении. С самого начала до середины сентября мы постоянно обсуждали, как нам добиться желаемого результата оптимальным образом.

С этой целью Гальдер уже отвел некоторые верные войсковые части и соединения, когда неожиданно, в середине сентября, за день до того, как Гальдером и его сторонниками (среди них был и Вицлебен) был запланирован удачный ход, политический кризис принял новый оборот, на сей раз по инициативе Лондона. Так намеченный военными план лишился своего самого мощного аргумента, и все это благодаря известному предложению Чемберлена, захотевшего посетить Гитлера.

А первоначально план заключался в том, чтобы схватить Гитлера и держать его под арестом, пока власть в государстве не перейдет в новые руки. Предполагалось, что, находясь под арестом, Гитлер согласится на предложенные условия и таким образом передача власти осуществится более или менее легитимным путем. Со временем решится и судьба самого Гитлера.

Все время Гальдер и я были предельно осторожными, стремясь, чтобы наши беседы не привлекали внимания. Моя постоянная и самая значимая линия связи с военными кругами велась через главу абвера Канариса. Меня многое сближало с ним, как бывшим морским офицером, я знал его достаточно давно. Раньше, в начале эпохи Гитлера, мы часто беседовали о нашем морском прошлом, Канарис даже навещал меня в Берне. Вскоре мы начали обсуждать и более серьезные вопросы, например, какая судьба ожидает Германию при Гитлере.

Я веду речь о Канарисе не только потому, что находился с ним в доверительных отношениях, или потому, что он довольно часто появляется в моем повествовании, не потому, что Гитлер расправился с ним столь ужасным образом, и не потому, что существовало ложное мнение о нем как о предателе своей страны. Правда заключается в том, что Канарис оказался незаурядным человеком, поэтому в моих воспоминаниях обойтись без рассказа о нем невозможно.

Он был интересным явлением своей эпохи, относясь к той разновидности людей, которые состоялись как личности в период диктатуры, представляя собой смесь непредубежденного идеализма и проницательности (относительно редкие качества в Германии!). Среди нас, немцев, редко встречались мудрость змеи и чистота голубя, соединенные в одной личности вместе.

Когда Канарис был молодым морским офицером, он отличался боевым и авантюрным характером, эти свои качества он и продемонстрировал во время Первой мировой войны. Канарис отлично проявил себя, командуя подводной лодкой. Известно, что он знал семь языков, отличался необычайной дружелюбностью. Не знаю, текла ли в его жилах греческая кровь, но он был явным духовным последователем Одиссея. Возможно, и Гитлер признавал в нем эти свойства, иначе вряд ли он сделал бы его, бывшего морского офицера, главой всей армейской секретной службы. При этом Гитлер явно не заглянул ему в сердце. В течение целого ряда лет и гестапо не понимало, что он за человек.

Канарис обладал способностью разговаривать, никак не выражая своих эмоций. Его голубые глаза не позволяли представить глубину его внутренней сущности. Лишь иногда как будто раздавался легкий хруст и на поверхность пробивался его характер во всей глубине своей духовной и в то же время трагической сущности.

Используя свои знания разных стран и завязанные им дружеские связи во всех частях света, Канарис постоянно путешествовал. Он немного разбирался в политике и часто знал то, что оказывалось полезным и для меня. Канарис оказался одним из немногих людей, с которыми мне было легко разговаривать. В основном мы говорили о том, как избежать войны и уничтожить осиное гнездо Гитлера.

Традиционно любая секретная служба притягивает к себе множество сомнительных личностей, людей, имеющих обыкновение попадать в беду, находящихся в розыске, стремящихся эмигрировать и т. д. Подобным образом абвер умудрялся получать достаточно полную информацию о том, что происходило в Германии. Канарис знал достаточно о том, что собирался делать Гиммлер, и был готов помочь многим, кто мог попасть в руки гестапо.

Чтобы сместить Гитлера, Канарис действовал в тесном контакте с генералом Гальдером, вынашивающим такие же планы. Все знали, что никакие планы изменения режима в Германии не могли осуществиться без участия армии, поскольку с нашими кадрами из МИДа идти на серьезное дело со стрельбой было, естественно, нельзя. Сам я не боялся, что в ходе тщательно организованного военного переворота может разразиться серьезная гражданская война. Чтобы открыть глаза обществу на легкомысленную игру, которую вел Гитлер, следовало дать понять, что каждый немец, который любит свою страну и хочет мира, может и должен стать противником Гитлера.

Я также не верил в то, что СС смогут оказать эффективное сопротивление. Что же касается гражданских служб, то я полагал, что они достаточно скоро решат поддержать новый режим. В министерстве иностранных дел не осталось ни одной группировки, которая искренне поддерживала бы Гитлера. С другой стороны, имелась группа людей, работавших над тем, как свергнуть режим. Не все из них дожили до наших дней. За исключением братьев Кордт, Альбрехта фон Кесселя, Хассо фон Эцдорфа, Готфрида фон Ностица и еще нескольких человек, все они погибли 20 июля 1944 года.

Те, кто работал над тем, чтобы свергнуть режим, не составляли однородную группу. Напротив, имелось несколько группировок людей разных профессий, возрастов и социальных устремлений, практически между собой не связанных. Сам я не состоял конкретно ни в одной из групп. Моя постоянная работа была связана с тем, чтобы исключать любые затруднения в международной политике, и я вовсе не стремился занять какой-либо пост в связи с предстоящими переменами. Я хотел и искренне желал изменений, о чем открыто говорил только нескольким очень близким друзьям. Но мне доверяли члены групп, и я выступал как их сторонник. После конца лета 1938 года мне больше не доводилось давать советы, к которым Гитлер прислушивался бы.

Во время кризиса 1938 года, когда в Англии многие считали, что, демонстрируя силу, Гитлер просто позирует, как бы выступая на сцене, следовало предупредить англичан и познакомить их с истинным положением дел.

Впрочем, и в самом Лондоне решили послать в Чехословакию в качестве полудиبلوماسية представителя лорда Рансимена, известного своей честностью. О его приезде мне сказал британский посол. Гитлер и Риббентроп отрицательно отнеслись к произошедшему, восприняв все это как незапланированное вмешательство; они хотели, чтобы наша дипломатическая миссия в Праге проигнорировала Рансимена. Я же попытался устроить так, чтобы он не остался в неведении об истинных намерениях Гитлера.

Чтобы открыть глаза лондонцам, нужно было сделать дальнейшие шаги. Доктор Эрих Кордт, мой ближайший сторонник в министерстве иностранных дел, знал, как особым образом предупредить Чемберлена и английское министерство иностранных дел. Я согласился на его предложение, и о реальных намерениях Гитлера стало известно лорду Галифаксу и Чемберлену – с помощью брата Кордта Тео, занимавшего должность советника в германском посольстве в Лондоне.

Этим шагом мы хотели вынудить британское правительство продолжать настаивать на мирном урегулировании судетского вопроса, но в то же время четко говорить о своих намерениях противостоять всякой попытке применения силы. Если бы британцы сделали это, Гитлеру пришлось бы уступить.

Конечно, это было рискованное и необычное предприятие, направленное на то, чтобы дальнейшие шаги были предприняты членами нашего министерства иностранных дел, причем за спиной правительства. Наши действия явно не относились к традиционным видам дипломатической деятельности. Это означало проведение конспиративной политики с потенциальным противником ради сохранения мира. Гитлер и Риббентроп довели ситуацию до такой точки, что любой, кто занимал гражданскую позицию, был вынужден вести против них двойную игру.

Не могу не сказать здесь еще несколько слов о тех, кого я называл своими друзьями в эти трудные дни в министерстве иностранных дел. День за днем, с неистовым рвением и с ограниченными возможностями самовыражения, каждый из них на своем месте делал все, что мог, защищая справедливость и мир. Большинство из них не относились к моему поколению, будучи лет на двадцать моложе. То, чего тогда многие из них достигли и на что нацеливались, теперь стало частью истории. Большинство из этих людей – те, что пережили трагедию, – достойны, я в этом уверен, занять подобающее место в истории нашей страны. Именно им суждено написать свою собственную версию произошедшего.

7, 9 и 10 сентября я последовательно говорил английскому послу Хендерсону, что он еще не довел до сведения Риббентропа, Геринга и прочих мнение, что Англия, в случае необходимости, примет участие в войне в Центральной Европе. 10 сентября мы обсуждали, воздержится или нет Англия от публикации предостережения Германии, поскольку такой демарш слишком приободрит чехов.

Тем не менее на следующий день в Лондоне опубликовали предупреждение, в котором недвусмысленно уклонялись от поддержки чехов и сдерживания Гитлера. К сожалению, несмотря на то, что мы обсуждали это с Хендерсоном, никаких других более резких нот угрожающего характера не появилось, даже в частном порядке.

Уже в конце августа, то есть за две недели до описываемых событий, я искал другой способ достижения того же результата – путем бесед с верховным комиссаром Лиги Наций в Данциге профессором Карлом Буркхардтом, одним из немногих настоящих «европейцев», кого мне доводилось встречать. Хотя, возможно, я и имел некоторое отношение к его назначению на этот пост, конечно, я не мог рассматривать его назначение как свое личное достижение. Без сомнения, он лучше других подходил на это место. Я впервые встретился с Буркхардтом в начале двадцатых годов в Базеле, его родном городе, откуда слава о нем распространилась далеко за пределы Швейцарии, и даже тогда известность Буркхардта оказалась вполне заслуженной. Он начал свою карьеру в министерстве иностранных дел Швейцарии и затем вышел в отставку, чтобы заняться написанием книг по истории, что и оказалось его истинным *métier* {Призвание (*фр.*)}. В отличие от других историков Буркхардт имел огромное преимущество в виде опыта практической политики. Его любимые авторитеты XVII и XVIII веков казались ему близкими, освещавшими своим знанием фон современной международной политики и влиявшими на избираемые политические методы.

В конце августа я попросил профессора Буркхардта организовать приезд к Гитлеру какого-нибудь беспристрастного англичанина, не принадлежавшего к дипломатическим кругам, надеясь, что Гитлер его услышит. Буркхардт осуществил эту миссию с помощью британского посла в Берне.

Французский посол в Берлине А. Франсуа-Понсе жаловался мне еще в мае 1938 года, что «никто не может разговаривать с Риббентропом, ибо он слышит только самого себя». С тех пор Франсуа-Понсе держали на задворках, вновь он появился на переднем плане 28 сентября, за день до событий в Мюнхене. Только на Нюрнбергском съезде, говоря от имени диплома-

тического корпуса как его дуайен, он произнес прекрасно написанную речь, специально обращенную к сознанию Гитлера. Возможно, ни Франсуа-Понсе, ни его правительство не хотели оказаться во время этого кризиса впереди, когда франко-чешскую дружбу буквально рубили топором.

Летом 1938 года итальянцы тоже вели себя достаточно тихо. Уже во время поездки Гитлера в Италию я был поражен тем фактом, что Муссолини практически не интересовали планы Гитлера, связанные с Чехословакией. Только в конце августа посол Аттолико спросил нас о наших намерениях. Вот что я писал в своих личных записях, относящихся к 31 августа:

«Отвечая на мой вопрос о возможностях отдельной войны между Германией и Чехословакией, Аттолико ответил, что может высказать только свою точку зрения, совпадающую с моей собственной, согласно которой судьба Италии тесно связана с судьбой Германии. Поэтому немецко-чешская проблема необычайно задевает Италию. Аттолико также думал, что его правительство еще не начало серьезно задумываться над этой проблемой.

Вплоть до сегодняшнего дня итальянское правительство пристально не занималось данным вопросом, потому что совершенно недооценило мощь и решимость Франции и Англии. Тогда я сказал Аттолико, что, прежде чем кризис разовьется, между Римом и Берлином необходимо установить отношения на основе полной откровенности. Муссолини оставался единственным человеком в Европе, который мог повлиять на Гитлера».

С тех пор Аттолико не ослаблял своих усилий. Он поддерживал очень хорошие отношения с Хендерсоном, о чем свидетельствуют воспоминания последнего, в то время как Франсуа-Понсе держался в стороне. В течение сентября 1938 года в мою задачу входило обеспечение обоих посольств информацией, которая могла бы помочь их правительствам в деле мира. Конечно, я мог в изобилии предоставлять такие сведения.

Аттолико позже сказал мне, что, находясь в Берлине, он не вел никаких дневников и только в связи с Мюнхенским делом он кое-что записал для себя. Однако, согласно сведениям, полученным мною от его семьи, и эти записки не были обнаружены. О его деятельности можно прочитать в книге Марио Доности *Mussolini e l'Europa. La Politica Estera Fascista* {«Муссолини в Европе. Внешняя политика фашизма»}, где говорится о треугольнике Аттолико – Хендерсон – Вайцзеккер. Обо мне же он написал следующее: «Война казалась ему [Вайцзеккеру] самым худшим исходом как для немецкого народа, так и для всего мира».

Обо всех троих говорится следующее: «Они работали вместе так долго и с таким обоюдным доверием, что даже забыли, если можно так выразиться, что принадлежат к разным нациям. Осознавая, что служат высшим интересам своих стран, они знали, что нужно вовремя промолчать, не выступая против своих руководителей, или оказаться среди тех, кто согласился с решением, делая то, что от них требовалось, в то же время направляя все происходящее в нужное русло, скорее всего ведущее к миру».

Я не испытываю никаких колебаний, когда цитирую эту книгу, появившуюся в 1945 году. Хотя ее автор скрылся под псевдонимом, ясно, что это был итальянский дипломат, хорошо знакомый с предметом разговора. Сегодня вошло в обиход принижать деятельность Невилла Хендерсона и превозносить Аттолико, хотя оба одинаково ревностно следовали одним и тем же принципам в политике. Справедливо, что в этой книге все трое стоят здесь рядом.

На Нюрнбергском съезде 1938 года присутствовали почти все немецкие послы, и они тоже помогали. Вот что я записал о тех событиях: «Услышав 7 сентября выступления Дикгофа, фон Дирксена, графа Вальзека, фон Мольтке и фон Макензена, я на следующий день написал Риббентропу: «Взгляды всех этих господ в той или иной степени не совпадают с позицией Риббентропа, поскольку они не верят, что западные демократии останутся в стороне в случае германо-чешского конфликта. Господин Риббентроп знает и о моих взглядах».

Риббентроп, видимо, считал, что немецкие дипломаты не способны ни с чем справиться. Читатель Белых книг будет поражен тем фактом, что в 1938 и 1939 годах, когда конфликты с

Чехословакией, равно как и с Польшей, Францией и Англией, постепенно обострялись, наши дипломатические сообщения из Праги, Варшавы, Рима и Лондона почти неизбежно представляли собой *chargés d'affaires* {Хозяйственные отчеты (*фр.*)}, а не отчет *chefs de mission* {Собщение главы миссии (*фр.*)}.

Происходившее легко объяснялось тем, что во время кризиса Гитлер отправил всех послов в обязательный отпуск. Говорят, что без немецких дипломатов Гитлер не смог бы начать войну. Но столь примитивная оценка не соответствует Гитлеру. На самом деле в критические моменты он специально держал ведущих чиновников министерства иностранных дел на дистанции, опасаясь, что они могут вывести ход событий из критической ситуации и перевести ее в мирное русло. Летом 1938 года из рейхсканцелярии просочилась информация, что «немецкой молодежи нужна война, чтобы закалиться как сталь».

МЮНХЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (сентябрь 1938 г.)

События развивались так, что мир был спасен не тем способом, который предложили генерал Гальдер и Вицлебен. Он не стал и результатом действий немецкой оппозиции, направленных против Гитлера, или каких-либо политических демаршей из-за рубежа. Решающим моментом я считаю тот миг, когда Хендерсон позвонил мне однажды утром, вспоминаю, что это случилось 14 сентября, чтобы проинформировать, что если соглашение остается в силе, то Чемберлен готов отправиться с визитом к Гитлеру.

Позже визит Чемберлена подвергся сильной критике, но в то время большинство считало его проявлением храбрости и приветствовало с огромным чувством облегчения. Действительно, во время своего визита Чемберлен не вмешивался в переговорный процесс и не сделал никаких заявлений о возможных шагах его правительства в том случае, если Гитлер применит военную силу против чехов.

Предложения Чемберлена показали, что и Англия, и Франция поддерживали притязания Германии по судетской проблеме и были готовы к расчленению Чехословакии. Действительно, после визита Чемберлена Гитлер и Риббентроп поняли, что их агрессивные намерения в отношении чехов поддержаны. Вновь и вновь мы продолжали обсуждать вопрос: вмешаются ли Англия и Франция, если германская армия войдет в Судетскую область?

15 сентября 1938 года состоялась первая беседа между Гитлером и Чемберленом в Берхгофе в Берхтесгадене. Мы, то есть Риббентроп с несколькими людьми, встретили стройного пожилого человека с его известным зонтиком на аэродроме поблизости от Мюнхена и сопроводили его в специальном поезде в Берхтесгаден.

Пока же я был обеспокоен тем, что Гитлер всегда отдавал распоряжения судетским немцам без консультаций с министерством иностранных дел, и в то же время был доволен тем, что он собирается беседовать с Чемберленом без Риббентропа, то есть наедине (не считая своего превосходного переводчика П. Шмидта). В конце встречи Гитлер живо и иронично описал встречу Риббентропу и мне, он даже хлопал в ладоши, как будто побывал на замечательном зрелище. Гитлер чувствовал, что ему удалось с помощью ловких маневров загнать «этого сухого штатского» в угол.

Вот что я записал: «Жестко заявив о своем намерении прямо сейчас решить чешскую проблему, невзирая на риск начала европейской войны, он заверил, что Германия получит удовлетворение в Европе. Так ему удалось заставить Чемберлена поддержать переход судетских земель к Германии. Гитлер сказал, что не способен отказать народу в праве на плебисцит. Если чехи откажутся, то он будет свободен от обязательств, и германская армия перейдет в наступление».

Тогда же Гитлер подробно изложил нам свои отдаленные и далекоидущие планы, в частности желание увидеть в конце своей жизни неизбежное разрешение конфликтов со всеми нашими врагами. Его замечания казались гениальными, хотя, возможно, они были и простым бахвальством или делались для того, чтобы удовлетворить воинственного Риббентропа.

Последующие две недели выдались бурными. Стало совершенно ясно, что ни Чемберлен, ни его советник Х. Вильсон оказались не готовыми к силовому обеспечению права судетских немцев на самоопределение. Под давлением Гитлера они весьма неохотно согласились на военную интервенцию. Не приходилось сомневаться в том, что они оставляли Берхтесгаден с намерением потакать желаниям судетских немцев. 19 сентября Англия и Франция специальной нотой потребовали от Чехословакии принятия предложений Гитлера. Чехословацкое правительство сначала отвергло англо-французский ультиматум, но 21 сентября подчинилось ему. Мюнхенское соглашение стало кульминационным пунктом в политике умиротворения фашистских агрессоров, проводившейся накануне Второй мировой войны. Великобритания и

Франция стремились направить агрессию на восток, против СССР. (Хотя сил тогда у Гитлера для войны с Чехословакией было недостаточно – против 30 отлично вооруженных дивизий чехословаков, опиравшихся на сильные оборонительные сооружения, немцы имели всего 24 пехотные, 1 танковую, 1 горнострелковую и 1 кавалерийскую дивизию. – Ред.)

Последствия обнаружились неделей позже в Годесберге (Бад-Годесберг, сейчас в составе Бонна. – Ред.), внешне же визит казался успешным. С такими ожиданиями мы встречали Чемберлена в Кельнском аэропорту, об этом мы думали, когда сопровождали его в гостиницу, расположенную на правом берегу Рейна, напротив Годесберга. День был хорошим, жители Рейнланда проявляли живой интерес к происходящему, никто не хотел войны, людям было не столь уж важно – быть с судетскими немцами или без них. Фактический предмет обсуждения, судетские земли, суть разногласий, на самом деле казался относительно незначительным по сравнению с общим стремлением к миру.

Конечно, об этом не шла речь на официальных переговорах. Они состоялись в отеле «Дрезен», расположенном на берегу Рейна. Я присутствовал на большинстве из них. Доминировавшая интонация никоим образом не оказалась жизнерадостной, напротив, все испытывали раздражение. Тем временем Чемберлен выступал в качестве ходатая судетских немцев и сумел во многом преуспеть. Гитлер отплатил злом на добро, потребовав от Чемберлена больше того, о чем было заявлено в Берхтесгадене. Гитлер спорил, как популярный демагог.

Тем временем чехи объявили мобилизацию, сообщение о которой в разгар переговоров взбудоражило всех участников. Риббентроп выпустил, не пользуясь официальной поддержкой, меморандум, предназначенный для последующих обсуждений, который не был принят англичанами (впрочем, он и не предназначался для этого).

Во время продолжавшегося до глубокой ночи обсуждения последовал другой кризис. Стремившийся разговаривать деликатно Чемберлен не выдержал, улегся на диван и сказал, что он сделал все, что мог, и теперь четко понимает, что все рухнуло. И замолчал. Но Гитлер теперь не хотел разрыва и предоставил Чемберлену возможность действовать как честному брокеру.

Во второй раз стороны разошлись, сомневаясь, возможно ли со временем прийти к соглашению, поскольку упорно приближалась дата, установленная Гитлером для вторжения в Чехословакию. Та небольшая группа, что жаждала войны, почти приблизилась к своей цели.

В период пребывания в Годесберге мне казалось, что я могу, хотя и незначительно, влиять на Гитлера. Он приглашал меня за стол переговоров, отправлял с поручениями к Чемберлену, однажды прислушался ко мне, когда после напряженного ночного сидения я посоветовал ему вести себя более примиренчески. Но вскоре после этого, во время Мюнхенской конференции, я не находил тех признаков, по которым мог судить, что Гитлер заинтересовался моими взглядами.

В Годесберге я не знал Гитлера настолько хорошо, чтобы понять, когда его возбуждение было подлинным, а когда он притворялся, когда его непонимание другой стороны было истинным, а когда хорошо наигранным, когда он действительно намеревался ударить и когда он только блефовал.

Со своей стороны Чемберлен на этих переговорах не пытался хитрить, он вел себя как деловой человек с юридическим образованием, говорящий в парламентском стиле. В результате к гармонии прийти не удалось. Фактически мне казалось, что встреча в Годесберге закончилась на ноте явного личного несогласия.

Если бы события развивались в соответствии с ощущениями определенных кругов в британском министерстве иностранных дел, то война разразилась бы уже осенью 1938 года. Но Чемберлен и его миролюбивый советник Х. Вильсон вели свою собственную политику. Несмотря на яростную речь Гитлера в берлинском Дворце спорта 6 сентября, Хендерсон получил новые инструкции. 27 сентября я передал их в рейхсканцелярию, а в полдень встретил Гитлера и Риббентропа, настроенных на уничтожение Чехословакии.

Рано утром 28 сентября 1938 года начал наконец беспокоиться и французский посол. Он позвонил мне и попросил аудиенции у Гитлера, заметив, что должен сделать новые предложения. Я передал его просьбу фон Риббентропу, остановившемуся в гостинице «Кайзерхоф». В свою очередь, Риббентроп был раздосадован тем, что игра может быть расстроена, на сей раз благодаря Парижу. Между нами последовала яростная стычка. Я заметил, что чудовищно начинать войну, когда действительные разногласия между двумя странами столь незначительны и связаны только с тем, каким способом будут присоединены судетские земли. Возмущенный Риббентроп ответил, что лучше предоставить решение Гитлеру. В таком настроении мы вместе отправились из «Кайзерхофа» в рейхсканцелярию.

Множество людей с надеждой ждали решений Мюнхенской конференции. Среди них следует упомянуть президента Рузвельта, посоветовавшего 27 и 28 сентября правительствам обеспечить «мирное, справедливое и конструктивное соглашение». Он полагал, что его можно будет достичь на конференции, которая пройдет в каком-нибудь нейтральном городе в Европе. Через некоторое время Рузвельт лично попросил выступить в качестве посредника Муссолини.

Утром 28 сентября, следуя американскому предложению и советам англичан, Муссолини предложил Гитлеру отменить приказ о мобилизации, который должен был вступить в действие тем утром. Отказав Муссолини, Гитлер оказался бы в изоляции. Кроме того, сохранялась возможность французского демарша, элегантно осуществленного Франсуа-Понсе, и новых предложений со стороны англичан.

Тем временем Нейрат и Геринг в благожелательном настроении прибыли в рейхсканцелярию. Все дела происходили здесь весьма странным образом. Консультации происходили не за закрытыми дверями, то есть в кабинете Гитлера или в конференц-зале. Однажды нам удалось наблюдать за тем, как повсюду стояли и разговаривали группы людей, время от времени к ним подходил кто-то, прояснявший ситуацию.

Когда я присоединился к группе, Геринг как раз напал на Риббентропа за его воинственное отношение к происходящему. Гитлер предложил на следующий день встретиться с Муссолини, Чемберленом и, возможно, с Даладье, чтобы уладить чешский вопрос. Услышав это, пятнадцать или двадцать присутствующих испытали чувство облегчения.

Только Гиммлер и Риббентроп обменялись разочарованными взглядами. Оба видели, что уменьшается возможность вооруженной агрессии, а следовательно, и политическое унижение Англии, которое так долго готовил Риббентроп. И когда Гитлер попросил его высказать свое мнение, Риббентроп заявил о своем несогласии.

Во время завтрака в рейхсканцелярии все испытывали явное чувство облегчения. За столом доктор Геббельс сказал, что выдвинутая Лондоном и Парижем программа конференции одобрена, что немецкий народ питает особенное отвращение к войне, в чем все могли убедиться за день до этого, когда моторизованная дивизия проходила через Берлин. Всем хорошо известна история столь неудачной военной пропаганды, ее часто приводят свидетели происшедшего тогда. Сам я следил за проходом войск из своего окна на Вильгельмштрассе, хотя и не нуждался в подобных зрелищах, чтобы почувствовать отвращение к любой войне.

Спустя несколько недель Геринг говорил мне, что два обстоятельства, которые он узнал от Гитлера, подвинули его выбрать мирные методы. Во-первых, сомнение в предрасположенности к войне немецкого народа. И во-вторых, опасение, что Муссолини оставит его в тяжелом положении.

Что же касалось лично меня, то за завтраком я почувствовал, что с меня упала тяжелая ноша. Было объявлено, что конференция состоится в Мюнхене на следующий день. Еще не все было проиграно. Нейрат, Геринг и я составили текст, который предполагалось выдвинуть в качестве основы для дискуссии на конференции. Когда Геринг показал заготовку, Гитлер остался ею доволен, Риббентроп же вечером в министерстве иностранных дел высказался насчет актуальности темы переговоров на предполагаемой конференции. Параллельно Риббен-

троп составил свой собственный текст, который должен был перечеркнуть достигнутые договоренности.

Тем временем, никого не ставя в известность, я отправил наш согласованный текст Аттолико, который телеграфом переслал его Муссолини. Когда последний воспроизвел его в Мюнхене как собственное предложение, Риббентроп был вынужден отступить, он ничего не мог поделаться, и конференция продолжала развиваться в мирном русле.

Получив одобрение со стороны иностранных участников, конференция тотчас набрала хороший темп. Население Мюнхена активно приветствовало Муссолини, но Чемберлен и Даладье были встречены еще более восторженными и спонтанными овациями.

Никто не стал раскачиваться, и действительно, теперь оказывалось сложным это сделать. Царила непринужденная обстановка, делегаты не сидели вокруг стола, а неформально собрались в огромный круг, усевшись в удобные кресла. Никто не занял председательское место, не было программы, беседа шла не по намеченному плану, перескакивая с одной темы на другую. Только Чемберлен попытался ввести подобие порядка в происходившее. Он выработал свою собственную компромиссную формулу переговоров и упорно настаивал на ней на дневном заседании; похоже, он был не в лучшем настроении.

О настроении Даладье судить было трудно. Лично мне он казался воплощением здравого смысла. Он знал, что будет трудно убедить свой собственный народ поддержать идею отказа судетских немцев от права на самоопределение и что это решение нельзя будет провести без помощи Англии. Он также считал, что Чемберлен несет ответственность за сделанные уступки.

Сам же я думал тогда, что решение далось Даладье очень трудно, он был вынужден после длительных и бесцельных дебатов выйти в соседнюю комнату, усесться на диван и попросить мюнхенского пива. Его советник Алекс Леже не скрывал, что решение оставить своих чешских союзников далось Даладье нелегко.

Собравшиеся по-разному реагировали на происходившее. Явно находившийся не в своей тарелке Риббентроп выглядел смущенным, чувствуя, что его провокация не удалась. Что касается Чиано, то он выглядел весьма довольным. Я же с самого начала не испытывал особого беспокойства по поводу того, что конференция может провалиться. Гитлер явно не был настроен серьезно, когда во время утреннего заседания уселся с часами в руке и притворился, что играет (можно назвать это и таким образом) с идеей отдать приказ к мобилизации.

В Мюнхене Гитлер еще не освободился от влияния Муссолини; казалось, что он охотно следовал за ним и нуждался в его поддержке. Сам Муссолини в Мюнхене оказался в хорошей форме, он говорил по-немецки, по-французски и немного по-английски. Стремясь самовыразиться, он соединял методику парламентских дебатов с диктаторскими замашками. Таким он казался не только мне, но и другим.

Что касается Гитлера, то он добился вхождения судетских немцев (и населенных ими тогда земель Чехословакии. – Ред.) в рейх, а три других государственных деятеля добивались мира. Мюнхенское соглашение оказалось тем редким примером в современной истории, когда значимые территориальные изменения были достигнуты путем переговоров. И всего этого удалось достичь лишь за двадцать четыре часа. (От Чехословакии отторгалась территория площадью в 41 098 кв. километров с населением около 5 миллионов человек, из которых более миллиона – чехи и словаки. В руки немцев попали важные оборонные металлургические и химические заводы, огромное количество вооружения. Германия получила Судетскую область, свои куски чехословацкой территории урвали Польша и Венгрия. – Ред.)

ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ ПОСЛЕ МЮНХЕНА (осень 1938 г.)

Не прислушавшись к мнению Риббентропа, Гитлер согласился с Чемберленом, в результате чего 30 сентября появилась высокопарная англо-германская декларация, вскоре совершенно разошедшаяся с Мюнхенскими соглашениями (декларация о взаимном ненападении и мирном урегулировании всех возникающих спорных вопросов. – Ред.). Больше всего в этой ситуации Гитлеру не нравилось то, что он, диктатор, единоличный правитель, невольно вступал в переговоры с иностранной державой, принимая ее как равную. Вероятно и то, что столь спокойный разворот вещей заставил его пожалеть о заявлении, что судетские земли станут последними, на которые он претендует в Европе.

Риббентроп и Гиммлер выработали два основных тезиса, предложив их Гитлеру. Первый заключался в том, что Германия не полностью использовала страх западных держав перед угрозой войны, поэтому вполне можно было обойтись без болезненных переговоров и компромиссов Мюнхена. Второй тезис заключался в том, что в Мюнхене Англия пыталась выиграть время, чтобы нанести удар позже, когда она лучше вооружится.

Тот факт, что все, кажется, согласилось с мюнхенским результатом, свидетельствовал о том, что, похоже, эти тезисы были приняты на вооружение. Во время вспыхнувшего кризиса всех тревожило беспокойство Чемберлена по поводу мира, совершенно не соответствующее образу флегматичного англичанина. Даладье сказал, что сделанные в Мюнхене уступки были тепло восприняты французским народом.

В новостных киновыпусках и иллюстрированных изданиях показывали, как после возвращения из Мюнхена в Париж машина Даладье с трудом пробивается через ликующую толпу французов. Сенат поддержал его, а в палате депутатов против были только коммунисты. Всем также известно, как Чемберлен появился на балконе Букингемского дворца вместе с королем и королевой и как его вновь и вновь вызывали на балкон собравшиеся толпы лондонцев. Вспомним и о том, как американский посол в Париже отправился поздравлять французского министра иностранных дел (одновременно – министра финансов. – Ред.) Ж. Бонне с букетом цветов.

Среди тех, кто не был удовлетворен результатами, полученными в Мюнхене, оказались чехи и представители Советского Союза {СССР стал единственным государством, выступившим в защиту Чехословакии, выразив готовность оказать ей немедленную военную помощь. Но чехословацкое правительство так и не обратилось за помощью, подчинившись условиям Мюнхенского соглашения. (Однако помощь можно было оказать только через территорию Польши, а поляки были тогда на стороне Германии, за что менее чем через год и поплатились. – Ред.)}. Но любой, кто заявлял, что остальной мир не аплодировал Мюнхену, должно быть, основывался на короткой памяти масс. Такое заявление оказалось последним изобретением политиков катастрофы. На самом деле Мюнхен оказался первым поражением в военной стратегии Гитлера.

Могли ли западные державы применить силу в отношении Гитлера? Странно, что и в Германии эта мысль начала формироваться после Мюнхена, основываясь на том, что произошло на конференции. Говорили, что время показало, что Риббентроп оказался прав, и именно он не потерял самообладания. Но где лежала истина? На самом деле вопрос не был решен, поскольку Гитлер решил перейти к переговорам, а не действовать с помощью силы {Еще 30 мая 1938 года Гитлер утвердил план захвата Чехословакии (план «Грюн»), а в сентябре на съезде НСДАП в речах Гитлера и Геббельса прозвучали призывы к «освобождению угнетаемых немцев» и ликвидации чехословацкого государства.}.

С моей стороны было ошибкой не выступить против искажения фактов. Довольный тем, что в Мюнхене удалось сохранить мир, я был склонен забыть все сопутствующие обстоятельства. Позже все, кто в окружении Гитлера летом 1938 года советовал принять мирное решение, были объявлены пораженцами и потерявшими самообладание. Так отомстили тем, кто испортил обедню подстрекателям войны.

Но разве может использование угрозы войны по отношению к соседям и великим державам стать основой нормальной политики? К 1930 году здравомыслящие европейские политики согласились, что в отношении Германии необходимо пойти на уступки, в частности одобрить аншлюс Австрии и восстановление прямого сообщения между рейхом и Восточной Пруссией – германской территорией, оторванной от Германии согласно Версальскому договору 1919 года и фактически оказавшейся на положении острова.

Считалось, что предпринятые меры помогут сохранению мира. Но успешно использовавшиеся Гитлером насильственные методы закономерно привели к утрате политического доверия к нашей стране. Из-за кризиса, который так и не удалось преодолеть в Мюнхене, будущее мира было туманным.

Теперь уже никто не может ответить на вопрос, думал ли тогда в Мюнхене Чемберлен, что война неизбежна и ему нужно лишь выиграть время. Но выигрыш времени всегда означает, что не надо создавать препятствия Провидению, если Провидение работает на мирное решение. Именно поэтому в Мюнхене следовало предотвратить войну, и, сделав это, Чемберлен действительно вошел в мировую историю.

Современные суждения о тех событиях часто грешат неточностью. До настоящего времени Чемберлена рассматривают как ограниченного пацифиста, Х. Вильсона – как неопытного советника, а Хендерсона – как глуповатого дипломата.

Чемберлен ошибочно полагал, что письменные заверения со стороны Гитлера являются гарантией мира. И среди моих друзей оказалось несколько человек, которые во времена Мюнхена занимали примиренческую позицию по отношению к Англии. Они считали, что Мюнхенское соглашение является «вторым лучшим решением». Лучшим же выходом они полагали немедленный арест Гитлера, что и планировалось сначала 13 сентября, а затем 27 сентября 1938 года. Мне же казалось, что было бы лучше, если бы оба решения осуществились одновременно. Неверно было бы ставить все на одну и ту же лошадь.

Должен признаться, без всякой задней мысли, что тот день, когда приняли Мюнхенское соглашение, казался мне самым счастливым в моей жизни. Войны удалось избежать. Тогда я больше ни о чем не думал. Все остальное по сравнению с этим событием казалось несущественным. Наступит время – и в Германии, и за ее пределами, – когда политические и моральные мотивы, приведшие к мирному решению в Мюнхене в 1938 году, будут оценены и поняты правильно. Моя совесть была чиста, я полагал, что поступил правильно, принеся жертву, когда согласился принять должность статс-секретаря в министерстве иностранных дел в тех условиях, когда от конкретного человека мало что зависело.

Одним из результатов Мюнхенского соглашения стали отставка и эмиграция президента Бенеша. Я хорошо его знал еще со времен работы в Лиге Наций. Выступая на несколько уставшем французском, он последовательно отстаивал свою позицию, добиваясь точного соблюдения положений Версальского договора, относящихся к Чехословакии. Если во внутренней политике он играл роль демократа, то во внешней оказался реакционером, мешавшим консолидации Веймарской республики. Невольно он сделал достаточно много, чтобы в Австрии произошел аншлюс, оказавшись и одним из тех, кто подготовил почву для прихода Гитлера. Возможно, он сам до конца своих дней ощущал, какие трагические последствия имели его действия и для его страны, и для Европы.

Во время Мюнхенской конференции меня назначили председателем комиссии, которая занималась проработкой той части соглашения, которая была связана с территориальными

изменениями. Комиссии довелось обсуждать весьма непростые вопросы. Целый ряд проблем оказался в соглашении недостаточно проработанным. Мне удалось заручиться поддержкой со стороны английского посла, который много помогал мне, пытаясь разрешить эти вопросы.

С другой стороны, я был поражен разногласиями в нашем собственном лагере. Некоторые представители Генерального штаба вели себя в комиссии как победители после битвы. Лично мне довелось несколько раз схлестнуться с Риббентропом, вставлявшим извне палки в колеса, даже в отношении таких пустяков, как моя привычка говорить по-французски (так оказалось лучше для итальянского посла, не говорившего по-немецки). До меня доходили слухи об отношении ко мне Гитлера, полагавшего, что я занимаю в комиссии слишком соглашательскую позицию. Несмотря на все эти происки, основную часть работы в той или иной степени удалось завершить через четыре или пять недель. Беспокойство, вызванное осенним кризисом и скрытой угрозой войны, постепенно улеглось.

Однако Риббентроп, так и не простивший меня за ту роль, которую я сыграл в Мюнхене, стал чинить мне всевозможные препятствия. Когда в ноябре 1938 года я отправлялся в Париж на похороны фон Рата, третьего секретаря нашего посольства, убитого «ассасином» (автор сравнивает неизвестного террориста с ассасинами, которые в XI – XIII веках, действуя в составе секты исмаилитов, прославились организацией тайных убийств. Здесь уместнее вспомнить сикариев (кинжальщиков – лат.), которые в I веке убивали римлян в Иудее, нападая из-за угла. – Ред.) – неизвестным евреем, он запретил мне вести политические беседы с французским министром иностранных дел.

Конечно, жертвой покушения должен был стать наш посол. Выступая над гробом фон Рата в немецкой протестантской церкви в Париже в присутствии семьи погибшего, представителей президента республики, министра иностранных дел Бонне, дипломатического корпуса, я сказал: «Die Heimate gr̃yt dich, Ernst von Rath» («Родина оплакивает тебя, Эрнст фон Рат») и «Deutschland erwartet dich» («Германия ждет тебя»). Стоявшие на некотором расстоянии несколько журналистов неправильно меня поняли, поэтому случилось так, что в ряде газет мне приписали антисемитский лозунг «Deutschland, erwache!» («Германия, пробуждайся!»).

За церемонией в Париже последовала перевозка тела в Германию, где состоялось торжественное государственное погребение. В Третьем рейхе никто не был застрахован от подобных ошибочных комментариев в прессе. Никакого опровержения в прессе не последовало, ведь всего лишь за три или четыре дня до памятной службы в Париже доктор Геббельс выступил с нападениями в адрес евреев и повсюду в Германии жгли синагоги.

В Париже я жил в отеле «Грийон», как мне рассказали, в том самом номере, где останавливался президент Вильсон в 1919 году и где он разрабатывал Устав Лиги Наций. Если бы ситуация не оказалась столь сложной, возможно, я бы наслаждался своим пребыванием в Париже. Стремясь защитить меня от террористов, мне придали на все время эскорт из мотоциклистов, громкими сигналами расчищавших путь для моей машины. Как и пожарные бригады, мы ездили на красный свет с предельной скоростью.

Стремясь убрать меня с глаз долой, Риббентроп охотно отпустил меня в трех- или четырехнедельный отпуск. Так я оказался вместе с женой в круизе по Средиземному морю.

Любой, кто захочет увидеть современный период в перспективе и составить о нем правильное историческое суждение, просто обязан совершить путешествие по Средиземноморью. Пусть он увидит укрепления в гавани Чивитавеккья (примерно в 60 километрах к северо-западу от Рима. – Ред.), сооруженные для защиты от сарацин. Пусть постоит на месте разрушенного Карфагена, посетит Лептис-Магна в Триполитании, раскопанный из песка археологами. Пусть высадится в кварталах Сиракуз, где греческие рабы могли вернуть себе свободу, читая наизусть греческий эпос. Пусть рассмотрит классические пейзажи старого Агригента (в Сицилии, ныне Агридженто. – Ред.) с его храмами и, мельком взглянув на новый горизонт,

вернется в Рим, проехав по Аппиевой дороге (проложена в 312 году до н. э. между Римом и Капуей, позже продолжена до Брундизия. Хорошо сохранилась. – Ред.).

Разве Муссолини и Гитлер не напоминали возникших старой квадриги, под громоподобные аплодисменты толпы поднимавшей облака пыли на арене, расположенной на другой стороне Палатинского холма в Риме? Как одержимые, они гоняли круг за кругом ради прозрачного мига славы, не заботясь о лошадях и о том, что колесница может перевернуться и искалечить их.

В древние времена иногда случалось так, что Афины избавлялись от своих тиранов, впуская иностранных воинов (из других греческих полисов). Тогда все происходило достаточно безболезненно. В случае с Наполеоном я придерживался иной точки зрения. Во время путешествия я читал книгу Эмиля Дарда «Наполеон и Талейран». Я был заинтригован, обнаружив, как Талейран умудрился отдалиться от своего начальника и, как считалось впоследствии, предать его. Мне показалось интересным узнать, как столь классический случай политического дезертирства смог показать, что ситуация может развиваться и таким образом. И как Талейран отдал Францию ее иностранным противникам, чтобы те освободили ее от диктатора.

На самом деле не совсем точно, что, оставив министерство иностранных дел, Талейран формально отдался от своего императора. Когда он предал императора, то занимал одну из самых высоких должностей в государстве. Но если не учитывать, что Талейран оставался в высшем эшелоне, означало ли это, что *toutes proportions gardées* {Соотношение сохранялось (*фр*).} и что данную ситуацию можно было сопоставить с Германией наших дней? Разве можно было сравнивать судьбу Франции в 1815 году с поражением Германии сегодня? Справедливо ли было во времена тотальной войны даже предполагать возможность вооруженной интервенции из-за рубежа? Могла ли Германия вообще выжить в таких суровых условиях?

Во время тихих и спокойных часов, проведенных мною на Средиземном море, я пришел к выводу, что случай с Талейраном может перекликаться с нашим только частично. Действительно, можно оставаться на службе, надеясь сбросить диктатуру (конечно, не в одиночку). Я никогда не одобрял и считал недопустимым провоцировать катастрофы, вызывать войну, чтобы проиграть ее и таким образом избавиться от Гитлера.

Мысли о моих собственных троих сыновьях и зяте, которых я был бы обязан послать на поле битвы, укрепляли меня в решении предпринять новое усилие. Возникал естественный вопрос: если я стану продвигаться в данном направлении, что со мной произойдет? В худшем случае я пал бы на политическом поле битвы.

БЕРЛИНСКАЯ ЗИМА (1938/39)

Вернувшись со Средиземного моря, я попросил Риббентропа объяснить по поводу отношений между нами. Он попытался уклониться от темы, заявляя, что я заработал у Гитлера репутацию пораженца и что ему пришлось защищать меня. Возможно, это и было правдой, но я не исключал, что Гитлер составил свое мнение обо мне на основе бесед с Рудольфом Гессом.

Перед Мюнхенской конференцией мне временами казалось, что Гитлер прислушивается ко мне. Даже если это и было не так или было в течение недолгого времени, нужен ли я сейчас, когда мир был установлен? В этом не приходилось сомневаться, когда в декабре 1938 года я вернулся на службу, и, ведя изнурительную борьбу с разбойниками в сфере внешней политики, я начал новое предприятие, более значительное, чем Мюнхенский договор.

Непросто оказывалось определить, что замышляет Гитлер. Только после некоторого знакомства с ним я начал понимать, каким необычайным даром притворства он был наделен. Фюрер обладал техникой, позволявшей изображать любое эмоциональное состояние: возбуждение, искреннее негодование, простодушие, озабоченность чужими несчастьями, почтение. Любой, кто не слышал из других источников, что Гитлер на самом деле думает о правах человека и высших нормах морали, легко поддавался его обаянию актера.

Когда Гитлер разговаривал со мной наедине, что происходило редко, мне казалось, что он прислушивается ко мне, хотя и без особенного интереса. Мой прямолинейный взгляд на вещи утомлял его, ведь он жил, подчиняясь своим чувствам, позволяя себе руководствоваться инстинктом. Размахивая руками в воздухе и заламывая пальцы, он как бы черпал свое вдохновение от окружающих. Похоже, что он забывал содержание прошлой беседы или убеждал себя, что некоторые факты верны, в зависимости от ситуации.

Между нами не существовало личных контактов. Встречаясь, я сталкивался с его жестким взглядом, он редко приближался ко мне по своей воле, практически не вступая в беседу. Однажды, уже во время войны, он справился о моем здоровье. Я ответил: «Лучше и лучше». Испытуяще взглянув на меня, Гитлер попытался понять, что это значит, не смеюсь ли я над ним, но ничего не сказал. Он чувствовал себя не в своей тарелке со мной, очевидно рассматривая как инородное тело, возможно, как неизбежное зло рядом с Риббентропом.

Гитлер чувствовал себя непринужденно только в обществе своих верных последователей, связанных с ним еще до прихода к власти, говоривших на баварском наречии и помнивших их прошлые деяния. Вместе они выпивали, но для Гитлера это не означало расслабиться, поскольку на таких сборищах он никогда ничего не пил.

Однажды, на борту «Грилле», я видел, как он пьет особое пиво, варившееся специально для него. Полюбопытствовав, я попросил налить мне немного. Могу только сказать, что любой, кто питал привязанность к подобной дряни, должно быть, числился в союзе с дьяволом. Все, что нравилось Гитлеру, – книги, масштабная архитектура, оркестровая музыка (прежде всего произведения Вагнера, но также и таких композиторов, как Легар! – Ред.) – вовсе не прельщало меня.

За его столом никогда не было обычных человеческих разговоров. Чаще обсуждались технические проблемы. Суждения Гитлера по поводу той или иной личности всегда отличались едкостью и умалением ее достоинств. Он был совершенно лишен таких качеств, как терпимость и юмор, не говоря уже о критическом отношении к самому себе или умении со смехом относиться к происходящему.

Часто продолжают спрашивать, как случилось, что такой серьезный народ с высокими стандартами, как немцы, смог попасть под обаяние Гитлера. Почву для взлета такой личности подготовили несколько причин: провалы демократического режима, установившегося после принятия Веймарской конституции, серия унижений, пережитых Германией после Версаля,

отсутствие равных прав для страны среди других держав, безработица, рост нищеты и религиозный вакуум.

Даваемые Гитлером обещания необычайно соответствовали господствовавшему тогда настроению разочарования и всеобщего упадка. Сказанное им представляло мешанину правды и лжи, реального и выдуманного, прикрытую его самоуверенностью и неутомимой энергией.

Все сказанное, конечно, в полной мере не объясняет притягательность личности Гитлера. Такая ментальность иногда казалась совершенно чуждой немецким массам, к которым он обращался. Даже мне было трудно характеризовать его как немца. Но иногда именно негерманские черты оказывались его тайным оружием. Если бы он попытался проявить свои трюки в Австрии, они оказались бы малоэффективными. В Чехословакии такой тип поведения был никому не интересен. Скромные, склонные к простодушию в вопросах политики немцы позволили себя увлечь совершенно незнакомому им человеку. И все это происходило в то время, когда немецкий народ называл своим мучителем Наполеона.

Гитлеру не нравился Берлин. По большей части он находился в Берхтесгадене, в своей резиденции Бергхоф. В то время не существовало правительства в привычном смысле этого понятия, с традиционными заседаниями кабинета министров. Управлявшие своими ведомствами министры могли в течение нескольких месяцев и даже лет не иметь возможности поговорить с Гитлером.

Уже в начале 1938 года был учрежден штаб оперативного руководства при Гитлере (входящий в состав Верховного главнокомандования вооруженных сил (ОКВ). – Ред.). Все решения принимались только там, при одобрении Гитлера, как рейхсканцлера (а также президента, главнокомандующего и фюрера (то есть вождя) немецкого народа. – Ред.). Иногда дело просто отодвигалось кем-то в долгий ящик.

Искусство министров состояло в том, чтобы подгадать удобный час или минуту, когда Гитлер начинал беседу, и затем вбросить осторожно ремарку, которой затем придавалась форма «распоряжения фюрера». Достаточно было произнести за столом, что испанский генералиссимус Франко оказался слабым человеком, который в Германии «в лучшем случае возглавил бы партийный блок», и тотчас, как вихрь, это сообщение промчалось ко всем партийным чиновникам и министрам, и акции Испании на немецкой фондовой бирже резко упали в цене.

Чтобы постоянно быть информированным о мнении Гитлера, все организации имели собственных представителей в его штабе. Здесь постоянно находились адъютанты командующих армией и морским флотом. Геринга представлял генерал Боденшатц, а Геббельс посещал Гитлера лично. Риббентроп, постоянно наблюдавший за Гитлером и даже как бы сделавший из него объект изучения, ввел в его ближайшее окружение своего *homme de confiance* {Доверенный человек.} Гевеля, позже ставшего послом.

Кроме того, Риббентроп, когда только мог, сопровождал Верховного главнокомандующего во всех его передвижениях. Обычно он селился неподалеку, в получасе или часе езды от места жительства Гитлера, поскольку тот далеко не всегда хотел его видеть рядом с собой. Так Риббентроп находился поблизости, готовый появиться на сцене в любой момент.

Вот так и случилось, что я часто оставался в Берлине один с иностранными послами и посланниками, вынужденными гадать, что же планируется в нашей внешней политике, или ловить грубые высказывания Верховного главнокомандующего.

Вплоть до осени 1938 года я не оставлял попыток повлиять на развитие политических событий обычным образом, как министр иностранных дел. С зимы 1938/39 года мои записи о подобных усилиях становились все реже. Мне пришлось искать иные пути. Полагаясь на пронырливость некоторых иностранных дипломатов, я позволял себе откровенно разговаривать с ними, что в то время не было принято. Конечно, я невольно подвергал себя большому риску.

Во времена Третьего рейха искусство дешифровки достигло особых высот. Под прямым руководством Геринга оно было доведено до такой степени совершенства, что мы могли читать половину телеграмм, отправлявшихся иностранными дипломатами, находившимися в Берлине. Меня весьма заботили положительные и отрицательные стороны процесса дешифровки. Конечно, информация оказывалась весьма полезной, если иностранные дипломаты собирались совершить демарш, а мы, заранее зная, что они собирались сказать, готовили ответ еще до того, как они переступали порог нашего министерства. Кроме того, мы могли проверить, насколько точно они сообщали о ходе переговоров своим правительствам.

Существовала и другая сторона медали. Было весьма сложно вести доверительные беседы, не предназначенные для ушей Гитлера, Геринга, Риббентропа и прочих, с представителями тех стран, шифры которых нам были известны. Меня все время подмывало дать совет итальянскому послу заменить его шифр. И адмирал Канарис однажды фактически сказал своему итальянскому коллеге, что нам известен ключ к его шифру, что, впрочем, не имело никаких последствий. Так и не предупредив никого, я только смог попросить Аттолико не упоминать моего имени в телеграммах, что могло сказаться на моем положении. Правда, главный секретный код англичан остался нам неизвестен. Но, даже несмотря на данное обстоятельство, Хендерсон был осторожен и не упоминал меня в телеграммах, где давалась деликатная информация.

Проводившее дешифровку ведомство, так называемое Forschungsamt (Исследовательское бюро), также прослушивало и телефонные разговоры. Поэтому все семейные скандалы и компрометирующие происшествия, возникавшие в жизни иностранных дипломатов, становились известными представителям партии, которые полагали, что подобные вещи составляли часть повседневной жизни в министерстве иностранных дел. Им оставалась неизвестной этическая и часто трагическая изнанка жизни людей этой профессии.

Одним из результатов подобного вмешательства оказалось то, что Гитлер и Риббентроп ввели более строгий режим секретности, минимально затронувший их собственные ведомства. Предполагалось, что распоряжения, адресованные Риббентропу или мне лично, я не должен был никому показывать без специального разрешения министра. Риббентроп считал совершенно неправильным, чтобы министерство иностранных дел информировалось о намерениях правительства. Но в то же время никто не обращал внимания на то, что Риббентроп показывал эти распоряжения всем без разбора, включая и адъютантов Гитлера. Во время войны только четверем или пяти чиновникам из всего министерства иностранных дел разрешалось слушать иностранные радиостанции. Считалось, что руководству политического ведомства, например помощнику статс-секретаря Верману, не полагалось слушать иностранное радио.

Подобные меры, возможно, вполне соответствовали уровню мышления партийной верхушки. Умственные способности этих людей не позволяли отличить значимое от второстепенного, секретное от тайного. Я даже говорил, что иностранные дипломаты в Берлине могли бы узнать самую последнюю информацию у любого прохожего.

В своих воспоминаниях о том времени, когда он был послом в Берлине, Франсуа-Понсе жалуется на секретность, которая практиковалась в Третьем рейхе, в частности, он пишет, что получать достоверную политическую информацию было чрезвычайно сложно. Сказанное им верно по отношению к некоторым неожиданным поступкам Гитлера, но, помимо этого, книга Понсе действительно является ярким свидетельством того, насколько много может увидеть внимательный наблюдатель.

Сам же я также получал выгоду от многословия партийных кругов, благодаря которому мог получать информацию для оказания влияния на них. Во время помпезных и военизированных банкетов в рейхсканцелярии, на всех партийных праздниках и съездах меня не оставляло тяжелое чувство от лицемерия и подозрительности присутствующих. Здесь не было ни австрийской чистосердечности, которую Гитлер мог принести с собой из Вены, ни простого

буржуазного наслаждения едой и крепкими напитками. В этих залах ничего не осталось от элегантности и духовности, царившей, когда канцлерами был Бюлов и даже его преемник Герман Мюллер. Обычно собиралось множество гостей, многие не знали друг друга, не представляли даже дам, оказавшихся рядом за столом.

Двойственность поведения в партии и государстве была ярче всего заметна у работавших в разных ведомствах представительниц прекрасного пола, гораздо выраженнее, чем у мужчин. Несчастье ожидало того, кому доводилось сидеть за столом рядом с дамой, придерживавшейся принципа, что партии следует командовать государством. Бесспорно, многие дамы разбирались в тайнах кухни гораздо лучше, чем повара Гитлера. За маленькими круглыми боковыми столиками, рядом с большим подковообразным столом специально сидели молодые девушки, чтобы в соответствии с полученными инструкциями поддержать компанию, когда гости начинали расходиться.

Конечно, по многим причинам мне следовало держаться подальше от подобных празднеств. Но в то же время было невозможно вообще не посещать их, поскольку ничего нельзя было сделать без личного вмешательства. Я настаивал, чтобы мои знакомые в министерстве, особенно молодые люди, вступали в партию. Сам же я искал встреч в узком кругу с теми, кто обладал правом решения, или, по крайней мере, добивался, чтобы они знали о моем существовании.

Вскоре Риббентроп озаботился проблемой униформы для министерства иностранных дел. Апробировалось множество моделей, и мой гардероб в ближайшее время пополнили голубые, черные и серые пиджаки и жилеты, здесь же расположились бриджи и брюки, сапоги для верховой езды, кинжал, сабля и множество декоративных пустячков.

Я удостоился чести появиться во время своей первой аудиенции у римского папы в забавной униформе с золотыми пуговицами, ремнем с португесей и в жесткой шляпе. Позже я быстро отверг эту форму и носил вместо нее обычный костюм. Следует добавить, что в других странах также старались придумать свою униформу для дипломатов, представляющую нечто среднее между формой армейского майора и кинематографического коммивояжера. Форма Риббентропа отличалась особым рисунком, на рукавах у него был вышит глобус, на котором сидело нечто напоминавшее орла. Однажды он сказал мне, что в рисунке также были руны, вместе с глобусом они должны были «обозначать министерство иностранных дел, направляемое Гитлером», возможно, он воспринимал наше ведомство как символ мировой активности Великого Германского рейха.

Вся отмеченная мною активность, в том числе и связанная с министерством иностранных дел, не распространялась на подконтрольную немецкую прессу. Сам я прекратил читать немецкие газеты, относясь к прессе скорее отрицательно, чем положительно. Все считали, что нельзя верить печатному слову, главное, чтобы не было бестактности и предвзятых сведений. И издатели страдали оттого, что их ограничивают в их деятельности, и прежде всего от монотонности постоянно повторяемых идей. Газетчики всегда гонялись за официальными сообщениями, боясь опубликовать что-либо без одобрения властей.

За исключением *Schwarze Korps*, издаваемой под эгидой СС и, следовательно, находившейся на особом положении, вряд ли нашлась бы хоть одна газета, осмеливавшаяся выступить с критикой официальных сообщений, высших партийных или любых других чиновников. Поддерживать официоз означало недопущение никакой критики. Вот почему падение ближайшего сподвижника Гитлера Рудольфа Гесса в мае 1941 года показалось таким фантастичным: вчера он был полубогом, а сегодня чуть ли не идиотом, которого все жалели.

В предвоенной Германии множество вещей могло поразить приезжавших иностранцев. Улицы были чистыми, транспорт прекрасно организован, поезда ходили по расписанию, нигде не было безработных или нищих. Высокий уровень поддерживался в театрах, на концертах

и на выставках, хотя они и страдали от ограничений, налагаемых партией. Продовольствие распределялось в достаточных количествах и было в изобилии.

И только при пристальном взгляде становилось ясно, насколько обманчиво первое впечатление. За внешне приглаженным фасадом скрывалась деятельность полиции, любое столкновение с которой было опасным. Что касается меня самого и моей семьи, мы предприняли все необходимые предосторожности, убедившись в том, что в случае неожиданного обыска ничего компрометирующего найдено не будет.

Насколько мы слышали, методика допросов отличалась особой жестокостью, подозреваемые могли просто исчезнуть. На информаторов не смотрели свысока, их награждали, таким образом поощряя доносительство. Все меньше и меньше люди верили в правосудие.

Нам было известно о существовании концентрационных лагерей, но мы не знали, кто в них находится. Мы даже не подозревали о том, как человеческая жизнь может подвергаться систематическому унижению и что совершались такие зверства, о которых стало известно только после войны. Мы же даже не могли представить, что гестапо оказалось способным на такие вещи. Верно (и это ужасно), что людей держали в неведении по поводу того, что происходило до и после судов. Правда, все могли видеть, как вывозили евреев и полукровок, обращаясь с ними весьма сурово. Не могли остаться незамеченными и вероломные игры, затеянные с протестантскими церквями, те жесткие меры, которые применялись по отношению к католической церкви и ее собственности.

В свете всего сказанного естественным оказывалось стремление помочь, насколько это было возможно, по собственной инициативе или будучи принужденным к этому. Моя жена практически превратилась в учреждение, оказывая помощь тем, кто в этом нуждался. Если она встречалась на приемах с какой-либо важной партийной шишкой, то пользовалась возникшей возможностью, чтобы ходатайствовать в пользу решения трудной проблемы или замолвить словечко в защиту церкви и их учреждений. Когда партийцы отказывались помочь, то происходило это потому, что они просто боялись изменить нацистским принципам. Прославление грубости и жестокости было частью духа того времени.

Меня самого также одолевали просьбами, чаще всего они исходили со стороны церковных кругов. Власть государства больше не основывалась на этических принципах. Единственным оставшимся бастионом являлось следование традициям, личным или семейным, иногда церковным. Сказанное относилось и к партии, она это ощущала, вот почему нацисты прежде всего нападали на христианство и семейные ценности.

Воскресенье теперь отводилось не семейным обедам, а партийным делам. Для партийных церемоний установили специальные музыку, флаги, медали, все виды формы и другие обряды, часто скопированные с ритуалов Римско-католической церкви. Однажды, когда я уже находился в Риме, один немецкий священник сказал, что его особенно беспокоят нацистские ритуалы, поскольку они сильно воздействуют на недалеких людей, находившихся под их впечатлением. Так называемый нацистский «взгляд на мир» оказывался более опасным, чем влияние церкви.

Конечно, совершенной иллюзией было то, что рейхстаг осуществлял какой-либо контроль над государством, он собирался только для того, чтобы «получить решения от правительства рейха». Он выслушивал и одобрял их (иногда подтверждая свое мнение аплодисментами), но мне ни разу не довелось увидеть, как здесь голосуют. У меня было собственное место на правительственных скамьях, и я обычно занимал его, когда происходил диспут по поводу старшинства. Так, в первую очередь Риббентроп полагал, что он должен главенствовать над всеми прочими министрами.

Что же касается меня, то я предпочитал занимать место где-то сзади, там, где бы я не слишком бросался в глаза. Обычно, когда кто-то говорил о Гитлере или когда принимались правительственные постановления, было принято аплодировать. В этом случае легко было ока-

заться в затруднительном положении, поэтому я стремился избежать подобной ситуации как только мог.

Понятно, что при каждом удобном случае я старался избегать заседаний в рейхстаге. Чтобы оставаться достоверным, замечу, что заседания, как правило, посвящались международной политике, поскольку к 1938 году Гитлер отошел от своих ранних концепций, связанных с социальными вопросами. Эту сферу деятельности он оставил на усмотрение государственных и партийных органов, сосредоточившись на военных проблемах и задачах, связанных с внешней политикой. Именно в этих вопросах он оставался наиболее страстно заинтересованным.

ЧЕШСКИЙ КРИЗИС И ВТОРЖЕНИЕ В ПРАГУ (март 1939 г.)

Вернувшись в декабре 1937 года из своей средиземноморской поездки в министерство, я обнаружил в дипломатическом корпусе «пробелы». По своему собственному желанию Франсуа-Понсе «скользнул вдоль оси» в Рим. Причиной этого шага стала его уверенность, что на Гитлера можно воздействовать с помощью Муссолини. Как бы там ни было, его отъезд оказался потерей для нас. Он прекрасно говорил по-немецки, отличался особым лоском и был единственным дипломатом, к которому благоволил Гитлер.

Именно Франсуа-Понсе сумел привести Гитлера в благоприятное расположение духа утром 28 сентября 1938 года. Рассказывают, что по этому случаю он приветствовал Гитлера следующими словами: «Знаете, господин канцлер, я всегда был вашей путеводной звездой», – и лед был сломан. Когда Франсуа-Понсе собирался переехать из своего посольства, находившегося на Парижской площади в Берлине, в палаццо Фарнезе, расположенное в Риме, он шуточно назвал последнее место «Palazzo far niente» {Дворец небытия (*ит.*)}. К сожалению, его предвидение довольно скоро сбылось. Когда было нужно, Муссолини оказывался практически недоступным, а надежды, что он сможет эффективно работать ради мира, не осуществились.

Естественно, что Кулондру, новому французскому послу в Берлине, занявшему место Франсуа-Понсе, приходилось нелегко. Он был типичным чиновником, что, естественно, не производило на Гитлера никакого впечатления. И говорил Кулондр так, как будто его слова вот-вот должны были напечатать, скажем, в Желтой книге. Сам я неохотно шел с ним на открытые контакты, поскольку еще не привык к нему и не был уверен, что мои личные и субъективные оценки следует передавать в отсылаемых им официальных депешах.

Похоже, что он не понимал или не хотел доверять своим собственным чувствам, что во мне он мог найти союзника для достижения высших целей, чего мы оба искренне хотели. Позже, прочитав множество опубликованных депеш Кулондра, посланных из Берлина, я увидел, что он нередко воспринимал мои слова как дополнение к официальным сообщениям, считая, что они отражают точку зрения правительства, чего на самом деле не было. Я жалел, что у меня не хватило времени вступить с ним в более тесные взаимоотношения. Если бы их удалось наладить, то это принесло бы пользу нашему делу.

Английский посол Хендерсон заболел и почти всю зиму провел дома. Аттолико находился в дурном расположении духа из-за событий прошедшей осени. Насколько мне было известно, напряженность, возникшая после Мюнхена, мало-помалу улеглась. В германском лагере постепенно росло чувство обиды, вызванное случившимся в Мюнхене. Сразу же после Мюнхена Венгрия и Польша присоединились к грабителям, и делали это с отчасти непристойным пылом. Зимой 1938/39 года я постоянно предупреждал венгерского посла в связи с военными намерениями его правительства в отношении Закарпатской Украины. Равным образом обогатившиеся поляки (Польша захватила в октябре 1938 года у Чехословакии Тешенскую Силезию. – Ред.) получили от Гитлера встречный иск.

Едва ли месяц прошел со времени Мюнхенского соглашения, где Гитлер объявил, что он рад собственному распоряжению на встрече с Риббентропом начать территориальные переговоры в отношении Данцига и Польского коридора (имеется в виду полоса земли с выходом к морю, полученная Польшей по Версальским соглашениям и отрезавшая Восточную Пруссию от основной территории Германии. – Ред.). Еще в 1934 году, когда Германия интенсивно вооружалась, Гитлер обеспечил восточную границу, заключив соглашение с Польшей. Но теперь, когда он захотел получить удовлетворение на Востоке, фюрер успокаивал Запад.

30 сентября 1938 года по инициативе Чемберлена Гитлер подписал англо-германское соглашение, которое подтверждало соглашение о морских вооружениях 1935 года и должно было обеспечить мир в будущем. В декабре 1938 года Гитлер отправил Риббентропа в Париж, где тот подписал аналогичное соглашение, закреплявшее произошедший в 1919 году отказ от Эльзаса и Лотарингии и незыблемость существующих границ между государствами.

Франко-германская декларация от 6 декабря 1938 года вместе с сопровождавшими ее переговорами воспринималась Риббентропом как то, что Франция ограничит свои интересы пределами своей колониальной империи и не будет вмешиваться в то, что происходит в Восточной Европе. Французский министр иностранных дел Бонне воспринимал случившееся иначе, но через три месяца, в марте 1939 года, суть того, что было сделано, стала ясна, причем самым неприятным образом.

Германо-польские переговоры осенью 1938 года по поводу Данцига и сообщения с Восточной Пруссией через Польский коридор практически не продвигались. Но означало ли это, что Гитлер собирался предпринимать активные шаги? Исходя из исторических параллелей, было ясно, что диктаторы с трудом отрекались от национальных целей и предполагаемых успехов, в отличие от монархов, которые могли оставлять своим законным наследникам завершение собственной работы.

Когда в декабре 1938 года я вернулся из отпуска, намерения Гитлера прояснились окончательно. Поэтому я воспользовался первой же возможностью переговорить с Риббентропом, чтобы обсудить эту тему. Я предупредил его, что нельзя предпринимать никакие действия, направленные против Чехословакии, и попытался убедить его продолжать переговоры по поводу Польского коридора, внеся разумные предложения.

Казалось, что Риббентроп ничего не знает о намерениях Гитлера; Гитлер был не уверен в себе. В конце осени мы разработали в министерстве иностранных дел договор о дружбе с Чехословакией, который чехи подписали без лишнего шума. Он позволил нам контролировать чехов в той степени, в какой это было необходимо, и в то же время обеспечивал их суверенитет. Сам же Риббентроп мыслил в течение некоторого времени в том же направлении, но вскоре без всяких объяснений переменил свою точку зрения.

Предварительный договор исчез в одном из многочисленных кабинетов Риббентропа, и немецкий народ продолжал по ошибке считать Чехословакию советским «воздушным перевозчиком». Поэтому я проинструктировал нашего поверенного в делах в Праге, чтобы он точно сообщал о том, что то, что осталось от Чехословакии, больше не представляет военной опасности. Что же касается Гитлера, то в то время было трудно сказать, какими на самом деле были его намерения.

В присутствии одного из моих друзей он однажды воскликнул: «Что? Я позволяю себя обманывать? Если что-то и произойдет в этом роде, я сам кого угодно оставлю в дураках!» Собирался ли он отомстить Чехословакии, ведь ему не удалось это сделать раньше?

Чтобы раскрыть планы Гитлера, в качестве одного из подходов я рассчитывал использовать господина Гевеля, сокамерника Гитлера по заключению в Ландсберге в 1923 году, они находились в доверительных отношениях. Фактически он был даже более близок к Гитлеру, чем Риббентроп, которого Гитлер использовал как послушное орудие, хотя из-за его склонности к помпезности им было трудно общаться.

Я был высокого мнения о Гевеле как о человеке, возможно, он благоприятно влиял на Гитлера. Он производил впечатление добродушного человека, вроде бы не амбициозного. И все же зимой 1938/39 года у меня не было четкого представления о развитии событий. Только одно казалось очевидным – это то, что германо-польские переговоры, особенно между польским министром иностранных дел Бекем и Риббентропом, в январе зашли в тупик. Да и как могли сработаться два таких разных и тщеславных человека, как Бек и Риббентроп? Очевидно,

период псевдодружбы между двумя странами подходил к концу. И 24 февраля 1939 года в германское посольство в Варшаве уже бросали камни.

В середине февраля 1939 года Гитлер посетил дом Бисмарка в Фридрихсруэ, а на следующий день его пригласили почтить своим присутствием спуск на воду линейного корабля «Бисмарк» в Гамбурге. Я хотел извлечь пользу из поездки, внушив Гитлеру свои сомнения в отношении его планов насчет Праги. Однако мне удалось поговорить об этом только с Риббентропом. Результаты беседы оказались неудовлетворительными, поскольку Риббентроп обладал привычкой с умным видом выслушивать собеседника, если не был уверен в намерениях Гитлера.

Правда, я смог в поезде провести длительную беседу с адмиралом Редером (Эрих Редер (1876 – 1960) – гроссадмирал (1939), с 1928 года начальник Главного морского штаба, в 1935 – 1943 годах главнокомандующий ВМФ Германии. – Ред.) и с облегчением узнал, что тот только что объяснил Гитлеру, что морской флот не будет готов сражаться против Англии ранее 1942 года. Конечно, Редер вовсе не хотел войны. Занимавший в то время пост главнокомандующего сухопутными войсками фон Браухич оказался менее ответственным и не прислушивался к моей точке зрения, похоже, его волновали чисто военные идеи.

Следуя Мюнхенскому соглашению, французское правительство, вероятно по настоянию Праги, вновь подняло вопрос о безопасности остатков Чехословакии. Однако французы не смогли найти нужную тональность, чтобы отстоять свою линию в беседах с Гитлером. Французам нужно было только без всяких амбиций заявить, что они не смиряются с дальнейшими актами применения силы.

Вместо этого французы использовали прием, который психологически никуда не годился и заключался в том, что они потребовали от Гитлера гарантий целостности чешской границы и обещания хорошо себя вести в будущем. Вместо того чтобы заставить Гитлера отказаться от любой идеи использования силы против Праги, поскольку это было слишком опасно, они захотели связать его моральными обязательствами. Мне же казалось, что лучше всего было бы совсем отвлечь внимание Гитлера от Праги, предложив ему договор о дружбе или убедив его, что отсюда в дальнейшем не последует никакая военная угроза. Другими словами, попытаться «заморозить» данный вопрос.

Правда, что идея гарантий казалась в то время самой злободневной. 19 сентября 1938 года в Мюнхене Англия и Франция гарантировали Чехословакии неприкосновенность новых границ при условиях, которые еще не были выполнены. И Гитлер, и Муссолини размышляли в Мюнхене, как выразить приемлемые гарантии нерушимости границ. Теперь же западные державы хотели свести все к четырехсторонним гарантиям великих держав. Однако Гитлер дал понять чешскому послу, что он не станет считаться даже с односторонней гарантией. Еще меньше он был склонен участвовать в коллективной четырехсторонней гарантии, в Мюнхене даже не шла об этом речь.

Тем не менее западные страны пытались тешить себя иллюзиями, требуя от Гитлера гарантий. Так вначале произошло во время визита Риббентропа в Париж 6 декабря 1938 года. Затем ко мне попытались подобраться через Кулондра перед самым Рождеством и, наконец, с помощью французско-британских нот по тому же поводу в феврале 1939 года. Во время дипломатических переговоров я, как мог, осторожно пытался отговорить всех от продвижения этого вопроса. Любая дискуссия по этому поводу была бесполезной и могла только увеличить существующие трудности.

Вместе с тем я считал, что в качестве дополнительной меры безопасности гарантийный план окажется вовсе не бесполезным. Но было нетрудно увидеть, что сами западные державы всерьез не были им озабочены. Ведь ничто не мешало им самим заявить об особых гарантиях границ независимо от Гитлера. Но они вовсе не стремились прийти на помощь Праге. Все это стало очевидным в моей беседе с английским послом 12 и 13 марта.

Хендерсон подчеркнул, что Германия имеет преобладающие интересы в Чехии; и через три дня Чемберлен в палате общин высказался еще более ясно, без сожаления отрекшись от чехов. Но из этого вовсе не следовало, что марш Гитлера на Прагу можно будет простить с точки зрения законности и политики.

В феврале Хендерсон вернулся к исполнению своих обязанностей, похоже еще питая надежды. Он готовился к визиту в Берлин некоторых членов британского кабинета министров, по-моему, ими должны были стать Стенли и Хадсон.

Аттолико также не проявлял активности. Муссолини снова остался в стороне, поскольку Гитлер в то время не информировал его о своих планах в отношении Праги.

Если первый чешский кризис 1938 года разразился с большим шумом, второй начался тихо, с раскола самой Чехословакии. Мне трудно сказать, насколько германская интервенция способствовала случившемуся. Я мог полагаться только на свою интуицию. Примерно 10 или 11 марта мне стало известно, что Гитлер попытался спровоцировать словаков позвать его на помощь. С этого времени уже не приходилось сомневаться в его намерениях (13 марта 1939 года по указке из Германии лидер словацких сепаратистов Тисо провозгласил «независимость» Словакии. – Ред.).

Но в дипломатической сфере никаких приготовлений не было, мне не разрешали давать информацию иностранным дипломатам, находившимся в Берлине. Вот почему некоторые правительства, в частности Италии и Польши, могли впоследствии утверждать, что их застали врасплох. Я только смог в последнюю минуту намекнуть английскому послу, планировавшему визит двух английских министров в начале следующей недели.

Беседа с Хендерсоном оказалась трудной. В ответ на его вопрос я заверил, что все, что произойдет, должно развиваться цивилизованным образом. И когда Хендерсон прямо спросил, собирается ли каким-либо образом армия принять участие в действиях, я ответил, что германская армия всегда вела себя прилично. Больше я ничего не сказал, как пишет Хендерсон в своих воспоминаниях. Однако и того, что я сказал, было достаточно, и он поспешил свернуть визит английских министров.

Соглашение с представлявшим Словакию монсеньором Тисо (Тисо Йозеф (1887 – 1947) – с 1910 года католический священник, с 1918 года – профессор богословия, с октября 1938 года глава автономного правительства Словакии, в 1939 – 1945 годах президент союзной Гитлеру Словакии. Казнен, как предатель словацкого народа. – Ред.) организовали без ведома министерства, так что я к этому не имел ни малейшего отношения. Снова Гитлер все сделал сам, используя собственные каналы. Я встретился с Тисо гораздо позже, он оказался пухлым, забавно выглядевшим прелатом, явно хотевшим сделать для своей страны все от него зависящее. Впоследствии я встречался и с его министром иностранных дел, худым стариком Тукой, десять лет просидевшим в тюрьме по политическим причинам.

Интеллигенция представляла в Словакии весьма тонкую прослойку, возможно, потому, что здесь огромную роль в политике, по сравнению с другими странами, играло духовенство. Все это, конечно, означало, что священнослужителей ждала та же судьба, что и политиков, и примером как раз и мог служить печальный конец Тисо (после войны. – Ред.). А Тука рассказывал, что в заключении почти потерял зрение, но не утратил чувство юмора. Он рассказал мне, что во время своего пребывания в тюрьме писал две книги одновременно, одну серьезную и к тому же академического свойства и еще роман. Таким образом, меняя тему, ему удавалось передохнуть в процессе работы над книгами. Тука посоветовал мне поступить подобным же образом, если когда-нибудь доведется оказаться в таком же положении, я поблагодарил его за совет. Находясь вместе с Гитлером, зарекаться от тюрьмы не следовало.

Никогда не мог понять, насколько добровольно Тисо подписал соглашение. Соглашение же с президентом Гахой {Гаха Эмиль (1872 – 1945) – с ноября 1938 г. президент Чехословакии, а в 1939 – 1945 гг. назначен так называемым государственным президентом созданного нем-

цами в Чехословакии протектората Чехии и Моравии. 16 мая 1945 г. арестован, как военный преступник. 1 июня умер в тюрьме.} было построено на чистом шантаже. Ни один президент государства по собственной воле не подписал бы такой документ, но Гаха это сделал. Политическая ситуация в его стране и оказанное на него военное давление оказались достаточными, чтобы заставить его отправиться в Берлин и подписать договор. Ему это показалось меньшим злом. Мне довелось быть свидетелем первой части беседы с ним.

Я видел, как он сгорбился, войдя в комнату, слышал, как он почти сразу же заявил, что рад пойти на существенные уступки. Психологического давления со стороны Гитлера, представлявшего собой смесь угроз и подкупа, соединенного с военным шантажом, шедшим от Геринга, оказалось достаточно, чтобы получить желанную подпись. Кто мог обвинить Гаху, что для его страны было бы лучше, откажись он от подписи? Не думаю, что Гитлер и Геринг стали бы колебаться, решив для начала атаковать Прагу с воздуха. Гаху можно только обвинить только в том, что он помог Гитлеру придать видимость законности германской оккупации Праги.

Можно, конечно, попытаться представить, о чем думал Гаха, взвешивая все за и против, но он не мог найти никаких аргументов, заслуживающих внимания Гитлера. В политическом смысле я считал случившееся кардинальной ошибкой. До этого Гитлер успешно обходился лозунгом «Немецкое – немцам». Отказавшись от этого принципа и быстро забыв о торжественных заверениях, что он удовлетворил свои территориальные притязания, Гитлер неизбежно подставлял Чемберлена и Даладье.

Спустя несколько часов после встречи с Гахой Гитлер и Риббентроп исчезли в направлении Чехословакии. И снова меня оставили наедине с дипломатическим корпусом, и мне пришлось смягчать неизбежный шок, вызванный аннексией Чехословакии. Должен сказать, что я предпочел это сделать сам, а не допускать объяснений Риббентропа, который вполне мог спровоцировать открытый скандал. Ведь я получил предписания отвечать на все подобные протесты резко.

Тотчас после Праги Кулондр указал мне, что Мюнхенское соглашение и франко-немецкая декларация от 6 декабря 1938 года нарушены. В ответ я обратил внимание на то, что документ подписан Гахой. Через несколько дней Кулондр вновь появился, на сей раз с формально составленным протестом. Я же сослался на полученное от Риббентропа указание, согласно которому французский министр иностранных дел Бонне заверил в Париже в декабре 1938 года германского министра иностранных дел, что Чехословакия больше не станет предметом разногласий между Францией и Германией.

Кулондр раздраженно все отрицал, поэтому наша беседа вскоре приняла явно недружественный характер, хотя все происходило именно так, как ожидалось. Мне происходящее показалось еще более отвратительным, поскольку внутренне я был согласен с французским послом. Я отказался принять от него ноту протеста, он же отказался забрать ее обратно. Кусок бумаги так и остался лежать на столе между нами. В конце беседы я заявил послу, что рассмотрю ее в том же порядке, как и другие документы, поступающие по почте. Так и случилось, что, несмотря на полученные мною инструкции, я принял протест.

Стремясь избежать похожей сцены с британским послом, я сказал Хендерсону, когда он звонил мне, чтобы договориться о встрече, что если ему совершенно необходимо поговорить со мной, то пусть он напишет, а германское правительство протесты не принимает. Хендерсон отнесся к моей просьбе с пониманием и поступил в соответствии с предложенной мной процедурой.

Оба посла вскоре покинули Берлин, чтобы «отрапортовать» своим правительствам, как это принято в современной практике, о наполовину разорванных дипломатических отношениях. Я опасался, что германский марш на Прагу, возможно, будет стоить Хендерсону его

поста, поскольку он не смог предвидеть события. Мне казалось, что его не следовало винить за это. С февраля я рискнул и начал намекать Хендерсону: «Кризис – да. Война – нет».

Теперь дипломатическая активность резко возросла. Фигурально выражаясь, прежде почти ясное небо стали заволакивать грозовые тучи. На все более темневшем небосводе остался только один небольшой лучик света. Им стала судьба Мемеля. За пятнадцать лет до описываемых событий Мемель был незаконно передан под управление Литве. За этими действиями Антанты и всем, что за ними последовало, Веймарская республика наблюдала как зритель. Теперь литовское правительство почувствовало, какую ошибку оно совершило.

В ожидании надвигающегося шторма оно решило первым обратиться к Германии с просьбой о соглашении между нами. Литовский министр иностранных дел Ю. Урбшис направился в Берлин и посетил Риббентропа. После коротких консультаций в Каунасе он вернулся, заключив частично добровольное, а частично ненамеренное соглашение с нами. Я сам направлял переговоры с Урбшисом, что привело к присоединению Мемеля к рейху. За несколько часов мы преодолели многолетние разногласия, и договор был подготовлен. Похоже, что и сам Урбшис, отличавшийся приятным обхождением, почувствовал облегчение и не скрывал своего удовлетворения. (22 марта германские войска вошли в Клайпеду. – Ред.)

Великие державы возражали против реинтеграции Мемеля в рейх, о чем постоянно давали нам знать. За три месяца до этого, 15 декабря 1938 года, министр иностранных дел Польши Бек сказал нашему послу в Польше фон Мольтке, что Польша имеет определенные экономические и торговые интересы в Мемеле, которые необходимо обеспечивать любыми средствами. Поскольку Польша больше ни на чем не настаивала, тема Мемеля в дальнейшем не обсуждалась.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ (весна 1939 г.)

Ощущалось, что в мире практически никто не симпатизировал Германии. Даже Муссолини взял косвенный реванш за Прагу, заняв Албанию в Страстную пятницу и не предупредив заранее об этом Гитлера (сорокатысячная итальянская армия 7 апреля 1939 года высадилась в албанских портах, а 8 апреля заняла столицу страны Тирану. – Ред.). Не замедлила последовать враждебная к странам оси реакция со стороны Югославии, Греции и Турции. В это же время Даладье заявил, что Гитлер одурачил его. Покинувший Чехию в тот самый день, когда Гитлер уже маршировал к Праге, Чемберлен вскоре разразился еще одной нотой.

Отношение великих держав к чехам носило платонический характер, но теперь они стали бояться за свое собственное существование. Как позже писал У. Черчилль, в результате политики умиротворения агрессоров в Европе появился «зажженный фитиль». Одновременно протестуя против происходящего в Берлине, Невилл Чемберлен произнес новую, весьма критическую и суровую речь в Бирмингеме. Лондон предложил систему гарантий (на случай неспровоцированной агрессии. – Ред.) для стран Восточной Европы, включая Грецию, Румынию и Турцию.

До того как Гитлер предпринял марш-бросок в Прагу, поляки никак не шли на соглашения, а теперь их переговоры с Гитлером зашли в тупик. В беседе с Риббентропом польский посол Липски назвал действия Гитлера в Чехословакии ударом, направленным против Польши. В конце марта 1939 года я придерживался мнения, что разрешить вопрос Данцига «уже невозможно, ибо мы использовали весь наш капитал, и теперь немецко-польский конфликт будет развиваться лавинообразно».

Разве можно было рассчитывать, что иностранные государства смирятся с тем, что Гитлер, бряцая оружием, захватывал чужие территории, хотя формально он и не нанес ни одного военного удара? Вряд ли. Не было славянского народа, который нужно было освободить. И можно было быть уверенным, что Лондон, подстрекаемый Вашингтоном, мог теперь положить конец дальнейшему продвижению Гитлера в Европе. Еще один шаг, и Англия может вступить в войну.

Напрашивалось только одно объяснение в ответ на заявление, сделанное британским правительством в палате общин 31 марта 1939 года. Хорошо известно, что непреложное правило английской политики – не брать на себя обязательства.

После заключения Локарнского договора Остина Чемберлена упрекали в том, что он превысил пределы по вовлечению Англии в европейское урегулирование. Но его брат Невилл еще более тесно связал Англию с Польшей. В любом нормальном договоре о сотрудничестве каждая сторона обязана оказать партнеру военную помощь при неспровоцированном нападении третьей стороны. При этом каждая сторона сама определяет способ оказания помощи. Согласно заключенному англо-польскому договору Британская империя должна была вступить в войну.

Разве мог такой договор, как считали его лондонские разработчики, обеспечить реальный мир? Неужели они считали, что он может остановить Гитлера, ослепленного своими внешнеполитическими успехами? Разве кто-либо подумал над тем, что таким путем удастся заставить польские власти действовать осторожно?

Лично я так не считал, и британский посол разделял мою точку зрения. Британский министр, позже посол Д. Купер выразил свою точку зрения следующим образом: «Никогда за всю свою историю Англия не предоставляла право второстепенной по мощи стране решать, вступать ей в войну или нет. Теперь же решение остается за горсткой людей, чьи имена, кроме полковника Бека, практически никому не известны в Англии. И все эти незнакомцы способны завтра развязать войну в Европе».

В начале апреля ко мне пришел польский посол Липски, поспешивший меня заверить, что англо-польское соглашение сопоставимо с немецко-польским 1934 года. Я мог только ответить ему иронической улыбкой. В той же беседе Липски признался, что польские войска концентрируются вокруг Данцига.

Так Германия вступила в новую и более опасную стадию своей внешней политики. Каждый стремился по-своему интерпретировать события марта 1939 года.

Несколько критических месяцев до пражских событий Гитлер в основном находился вдали от Берлина. Министерство иностранных дел практически не могло вмешиваться в столь критическое развитие ситуации. Мои предупреждения Риббентропу не принесли никаких плодов, я ничего не смог добиться и путем не прямых связей с Верховным главнокомандованием Гитлера. Будут ли ведущие западные державы и дальше потворствовать агрессии со стороны Гитлера?

Поэтому марш Гитлера на Прагу произвел эффект разорвавшейся бомбы замедленного действия.

Президент США Ф. Рузвельт выдвинул собственные мирные предложения, одновременно назвав страны оси потенциальными агрессорами. Игнорируя дипломатические традиции, он даже не удосужился облечь свое заявление в надлежащую словесную форму. Возможно, в его обращении содержались добрые намерения, но они вовсе не могли найти поддержку у человека с такой ментальностью, какой обладал Гитлер. После случившегося Англия начала призыв на военную службу.

В речи, произнесенной в рейхстаге 28 апреля 1939 года, Гитлер бранился по всем пунктам. Во-первых, он набросился на президента Рузвельта и высмеял его обращение. Гитлер отказался от англо-германского соглашения о морских вооружениях 1935 года, заявив о его расторжении. Германо-польское соглашение 1934 года, срок действия которого истек только через пять лет, он объявил несущественным и бессодержательным. Последнее заявление, с точки зрения как Варшавы, так и Берлина, отражало существовавшую политическую ситуацию. Но зачем нужно было кричать об этом?

В начале мая 1939 года поляки представили нам меморандум, который Гитлер не принял. Его передача сопровождалась речью министра иностранных дел Бека в польском сейме (парламенте), в которой обсуждалась тема «гонора» («чести»). Слово «гонор» было встречено громкими аплодисментами в сейме – верный признак того, что им, вероятно, пользоваться не станут. И сам министр Бек это почувствовал, в чем позже сознался нашему послу Мольтке.

Германо-польские переговоры зашли в тупик и вскоре вообще прекратились. В начале мая французский посол и, не так явно, английский попытались возродить их, но в связи с психическим состоянием обеих сторон больше не поднимали этот вопрос. Чтобы возобновить переговоры, следовало более резко обозначить обсуждаемые проблемы, в противном случае не удалось бы прийти ни к какому решению.

В свое время Гитлер, как мне рассказывали, постоянно повторял в кругу своих близких товарищей, что польский вопрос развивается автоматически в нашу пользу, у нас есть время, поэтому нам следует спокойно ждать. В прошлом Гитлер доказал, что может повернуть любые обстоятельства в свою пользу и избежать развития конфликта. Мог ли столь расчетливый человек рисковать потерей всего завоеванного им? Кроме всего прочего, он был гораздо более умным и коварным, чем его министр иностранных дел. Считая, что ему уже удалось дважды обмануть другие нации, а затем и третий раз, Гитлер вполне мог поступать так и дальше.

Как можно было ответить на эти вопросы, если было совершенно ясно, что Гитлер играл судьбой немцев и их будущим? Этого более нельзя было допускать, и, следовательно, нужно было каким-то образом ограничить власть Гитлера. Почему же тогда ничего не происходило? Почему зимой или весной 1939 года никто не пытался сделать шаг, подобный визиту Чемберлена в Германию (в 1938 году)?

В моих заметках нет ответа на эти вопросы. Летом 1938 года и в военные годы 1940 – 1942 годов я часто второпях записывал вещи, которые заботили меня, чтобы помочь своей памяти, но смог найти всего несколько записей о первых девяти месяцах 1939 года. Конечно, мне приходилось делать свои записи таким образом, чтобы не скомпрометировать себя или третьих лиц.

Вот почему не сохранились записи о тех беседах, которые я постоянно вел с Канарисом, полковником Остером, начальником Генерального штаба сухопутных войск Гальдером, министром Попицем, бывшим статс-секретарем МИДа Планком, с Альбрехтом Хаусхофером (1903 – 1945, немецкий писатель, сын крупного геополитика Карла Хаусхофера (одного из наставников Гитлера). Расстрелян нацистами. – Ред.), с послом фон Хасселем и с моими друзьями в министерстве иностранных дел. Не сохранились и записи того, о чем я говорил в своем семейном кругу.

Следовательно, отвечая на вопрос, почему значимые месяцы середины 1939 года не ознаменовались эффективными шагами, направленными против Гитлера, я должен полагаться только на собственную память. Возможно, это случилось потому, что не нашлось нужного человека. Никто не хотел примерить на себя роль Брута, а ведь так важно оказаться в нужном месте в нужный час.

По своему характеру немцы не очень хорошо приспособлены к роли революционеров. Они питают врожденное уважение к авторитету государственной власти. В других странах часто случались восстания и гражданские войны, но они почти не зафиксированы в немецкой истории. (Во всяком случае, намного меньше, чем, например, во французской истории. – Ред.) Любой, кто пытался противоречить существующим властям, сталкивался с сильной оппозицией, хотя с объективной точки зрения, вероятно, часто был прав.

В то время Гитлер оказался на вершине успеха. Массы не увидели ошибочность марша на Прагу, не догадывались, что мы шли по ложной тропе и что на самом деле такое возвышение оказалось началом скорого падения. Люди не догадывались ни о чем, поскольку реакция иностранного сообщества им была недоступна. Любой, кто сместил бы в это время Гитлера, рассматривался как новый Герострат. Может быть, такую акцию потом частично и одобрили бы, если таким образом наверняка удалось бы избавить людей от страданий, вызванных войной.

Не было никакой уверенности и в том, что Германия не станет субъектом иностранной интервенции в том случае, если бы этот режим пал, поскольку никто не знал, сохранится ли стабильность со стороны чехов, поляков и французов. Хороший немец и хороший европеец на самом деле не желали разрушений, не думали о гражданской войне дома и внешней интервенции.

В любом случае вопрос требовал всестороннего обсуждения, но никакие конкретные действия не были предприняты, военные, возможно, подсчитывали, какое количество боеготовых дивизий им необходимо было иметь в нужный момент (как во время кризиса сентября 1938 года). И они думали, что тогда смогут и остановить Гитлера, и избежать как внутренней (гражданской), так и внешней (мировой) войны.

Гитлер начал укреплять свои позиции. Он послал фон Нейрата, который многозначительно назвал среди своих предков императора Карла IV (1316 – 1378, он же Карл I Чешский из династии Люксембургов, император Священной Римской империи и чешский король в 1346 – 1378 годах. При нем Чехия заняла ведущее положение в составе Священной Римской империи. – Ред.), в Прагу в качестве «протектора», как своего рода «фасад» протектората. В своей речи в рейхстаге, произнесенной в конце апреля 1939 года, Гитлер заявил о готовности подписать мирные договоры с европейскими и другими государствами. Дания, Эстония и Латвия были готовы принять это предложение. Но самым крупным и громко разрекламированным событием мая в Берлине оказалось подписание германо-итальянского союзного договора (22 мая, стороны назвали его «стальным пактом». – Ред.).

Когда в прошлом году, перед визитом Гитлера в Италию, Риббентроп предлагал итальянскому правительству подписать договор о союзе, его предложение отклонили. С тех пор велись переговоры о трехстороннем договоре между Берлином, Римом и Токио. При этом японцы поступали со свойственной им медлительностью и осторожностью. Такие свойства они проявляли во всех мероприятиях, связанных с обязательствами или заключением договоров. В начале мая Риббентроп направился в Милан, чтобы встретиться с Чиано, и вернулся через несколько дней со «стальным пактом» в своем портфеле. Должен сознаться, что в данном случае я не ожидал, чтобы наивная и прямолинейная методика Гитлера – Риббентропа неожиданно сопровождалась таким успехом.

В то время Гитлер разговаривал в примиренческой манере, в Милане Риббентроп притворялся, что является сторонником мирных процессов, поскольку итальянцы явно не хотели войны. Предполагаемые доверительные отношения не воспринимались серьезно, так как всего за несколько недель до этого Гитлер маршировал в Прагу, а Муссолини оккупировал Албанию. Не поставив друг друга в известность, они только удивлялись действиям друг друга. Но, несмотря на все это, стороны объявили теперь о заключении договора о союзе, который казался более наступательным, чем оборонительным по характеру.

Что вызвало такую неожиданную перемену? Муссолини не был дураком. И Чиано не отличался чрезмерной любовью к Германии, в некотором роде его можно было назвать специалистом в области внешней политики, хотя я всегда относился к нему скептически из-за его безответственности и отсутствия постоянства во взглядах. Тогда я не знал, что в Риме произошли большие перемены. О них стало известно из опубликованного позже дневника Чиано и других свидетельств.

Тогда же я думал, что наиболее вероятным объяснением будет следующее: Муссолини получил доступ к британской прессе и разъярился, решив *ab irato* {В гневе (лат.).} заключить с Гитлером договор о союзе, содержащий не ограниченные никакими условиями обязательства, хотя дружба между диктаторами и миновала свою высшую стадию.

Судьбы обоих диктаторов были связаны не только договором о союзе, но и тем, что в любом случае Муссолини сильно зависел от Гитлера. Если бы Гитлер отказался от власти, будущее Муссолини также оказалось бы неясным, настолько далеко зашли их связи. Для фашистского диктатора «стальной пакт», таким образом, был не чем иным, как подтверждением сложившейся ситуации {Германо-итальянский договор о союзе («стальной пакт») был подписан 22 мая 1939 года сроком на десять лет. Стороны обязались в случае войны оказывать взаимную помощь всеми средствами на суше, море и в воздухе.}.

Поскольку со своей стороны Гитлер не ожидал многого ни от этого договора, ни от итальянских вооруженных сил, сам договор считался безвредным. Риббентроп, находившийся в прямом контакте с Гитлером и общавшийся с ним по телефону, во время переговоров по поводу договора в Милане и на берегах озера Гарда, был более высокого мнения. Он вернулся с видом победителя и сказал мне: «Больше Польша не будет для нас проблемой». 25 августа 1939 года пришлось платить по этому счету (25 августа 1939 года был подписан англо-польский договор о взаимной помощи. – Ред.).

В июне 1939 года я считал, что Италия чувствует, что она больше не свободна и не может предлагать свою дружбу с Германией западным державам в качестве залога, вот почему она и подписала договор. Пакт возвеличил обоих молодых министров и позволил итальянскому правительству надеяться, что, может быть, оно сможет осуществлять больший контроль над Гитлером, более, чем раньше, склонным к неожиданным решениям.

Фактически «стальной пакт» представлял собой переход от «любовной интрижки» к «браку по расчету». Поскольку Италия не собиралась ввязываться в войну в связи со своими притязаниями к Франции, едва ли нам следовало опасаться, что кто-то вместо нас начнет таскать каштаны из огня. Благодаря договору могло показаться, что и Италия оказалась в опасном

положении. Кроме того, в Германии были люди, озабоченные тем, чтобы разрешить внутреннее напряжение и проблемы путем привлечения внимания к внешней политике. Но мнение Гитлера «Почему не подождать?» оказалось определяющим. Как мне и казалось, Англия так и не решилась вступить в войну. Поэтому нам оставалась некоторая свобода маневра на дипломатическом поле. Я сказал Хендерсону: «Пусть все уляжется, и придержите ваших польских друзей, которые играют в азартную игру с Британской империей».

Нередко можно услышать, что «стальной пакт» содержал положение, обеспечивающее трех-четырёхлетний период мира и стабильных отношений между союзниками. Если бы это было так, то договор вполне заслуживал бы своего высокопарного наименования. На самом же деле ничего подобного не произошло.

Гитлер никогда не допустил бы ослабления позиций Германии ради выполнения условий договора. Всего через восемь дней после его подписания Муссолини писал Гитлеру, что, по его мнению, договор обеспечит мир в течение трех или четырех лет. На это Гитлер не ответил, и соответствующее дополнение не было включено в договор. Только Чиано позже смог использовать заявление Муссолини в качестве удобного оправдания.

После заключения «стального пакта» оставалось еще раздражение Геринга по поводу того, что Риббентроп, как первый представитель Третьего рейха, был награжден итальянским орденом Благовещения, став таким образом «кузеном короля». Макензен, наш посол в Риме, безрезультатно пытался добиться пожалования такого же ордена Герингу.

После начала войны в Германии говорили, что Италия не смогла оказать нам ту помощь, какую мы ожидали от нее, как от союзника. Действительно, иногда союзники доставляют больше хлопот, чем враги. Я всегда говорил, что винить следовало только самих себя, как говорится, что посеешь, то и пожнешь. В данном случае ответственность лежала на Гитлере и Риббентропе – как на тех, кто заключил договор с Италией. К несчастью, в Германии переоценили итальянский альтруизм. Наш опыт взаимодействия с Италией и Савойской династией (с 1034 до 1416 года ее представители – савойские графы; с 1416 до 1720 года – савойские герцоги; с 1720 до 1861 года – короли Сардинского королевства; с 1861 до 1946 года – короли объединенного королевства Италии. – Ред.) в 1914 и 1915 годах и, как сказано выше, наш опыт общения с Муссолини были недавней историей.

Бисмарк слишком хорошо знал, что нельзя полагаться на помощь Италии. В 1882 году он заключил Тройственный союз с Австро-Венгрией и Италией (если точнее, с Австро-Венгрией в 1879 году, а в 1882 году к договору присоединилась Италия. – Ред.). Но он не вынашивал в данном случае планы агрессии {Автор пристрастен. Бисмарк, разгромив в 1866 году Австрию, а в 1870 – 1871 годах Францию, хотел разгромить Францию еще раз в 1875 году, но помешала Россия. Поэтому, в расчете на будущую схватку за «жизненное пространство», и создавался вышеупомянутый альянс, нацеленный прежде всего против Франции и России. (Примеч. ред.)}.

Менее зрелищными и в то же время более значительными по результатам, чем «стальной пакт» (и то, что его сопровождало), оказались весьма трудные переговоры с СССР, происшедшие весной 1939 года. Полагаю, что Сталин был первым, кто в марте 1939 года публично заявил, что он стремится к взаимопониманию с Германией. Со времени Мюнхена Сталин чувствовал себя в изоляции. Гитлер тоже находился в изоляции – после Праги. Возможно, что из-за того, что обе стороны находились в изоляции, Гитлер считал, что постепенное восстановление дружеских отношений между двумя государствами, СССР и Германией, не только возможно и полезно, но и служит прежде всего оборонительным целям. Обе страны снова начали переговоры, находясь, как и в Рапалло в 1922 году, в положении изгоев, однако не в такой естественной атмосфере, как тогда.

В начале 1920-х годов обе страны находились в тяжелом положении. За семнадцать лет, которые прошли с того времени, они «отбросили свои костыли», и теперь каждая из них пред-

ставляла опасность друг для друга или для третьей стороны. Гитлер сделал все от него зависящее, чтобы вызвать враждебность со стороны Москвы по отношению к себе, и действительно, он выстроил всю свою политическую систему на антимосковской идеологии (то есть на антикоммунизме и антисемитизме. – *Ред.*).

В апреле 1939 года мы услышали, что думает Гитлер об установлении отношений с Советским Союзом. Сталина он уважал больше, чем остальных своих противников. Гитлер воспринимал его как равного. В мае Сталин без видимых причин уволил своего народного комиссара иностранных дел М.М. Литвинова (заменив его В.М. Молотовым. – *Ред.*). Возможно, это случилось потому, что Сталин хотел избавиться от сторонника дружбы Советов с западными демократиями?

В День Святого Духа, руководствуясь инструкциями Гитлера, Риббентроп пригласил меня и некоторых других в Зонненбург, чтобы обсудить, что нам следует делать далее. В результате мне поручили выслушать советского *chargé d'affaires* в Берлине. Наша беседа прошла удовлетворительно. Я был рад, что сделал такой шаг, поскольку в течение всей национал-социалистической эпохи я так и не смог понять, почему мы должны предоставлять нашим многочисленным врагам преимущество основывать свою политику на утверждении о стойкой враждебности Германии к России. Между нами и Советским Союзом не существовало разногласий в отношении границ, СССР не оказывал заметного влияния на внешнюю политику Германии. Следовательно, в перспективе мы наконец могли исправить эту ошибку, что в нашей современной сложной позиции казалось наиболее соблазнительным. Попытка *détente* {Разрядить (*фр.*)} отношения с Россией означала, что речь идет о настоящей внешней политике, что играло в пользу сохранения мира, игнорируя зашоренность внутренней политики. Конечно, я не ожидал и даже не мечтал, что последует быстрое и взвешенное сближение или наладятся совершенно нормальные русско-германские отношения.

В то время к Советскому Союзу «сватались» со всех сторон. С апреля или с мая 1939 года наметились очертания нового Тройственного союза, сходного с тем, что существовал перед Первой мировой войной (и который Бисмарк в свое время искусно мешал создать). В Москве англичане и французы начали вести переговоры с СССР о военном соглашении. Если бы Гитлеру удалось вмешаться и прекратить эти переговоры, возможно, это охладило бы «горячих польских парней». Если бы варшавское правительство могло прикрыть свои тылы, помощь Англии и Франции вряд ли понадобилась бы.

Замечу, что я вовсе не хочу, чтобы подумали, будто я пытаюсь провести параллель между судорожным желанием Гитлера похоронить свою вражду со Сталиным и русско-германским «перестраховочным» договором 1887 года. Я никоим образом не стал бы ставить рядом Адольфа Гитлера и Отто Бисмарка. Насколько мне известно, первым попытался сравнить этих двоих людей лорд Ванситарт (Ванситарт Роберт, барон Денхем (1881 – 1957) – британский дипломат, постоянный замминистра иностранных дел в 1930 – 1938 годах. – *Ред.*). Однажды он процитировал французскую поговорку: «*C'est prodigieux ce que les Anglais ignorent*» {Удивительно, до какой степени англичане невежественны (*фр.*)}. И прокомментировал высказывание следующим образом: «Я согласен со сказанным, только принимая его иначе – англичане не знают, что они более невежественны, чем сами полагают».

От брани в адрес Сталина Гитлер перешел к попыткам обменяться с ним рукопожатием, хотя на самом деле то, что первоначально выглядело со стороны Гитлера оборонительными намерениями, в конце концов стало нападением. Заключение германо-советского договора о ненападении открывало ему путь на Варшаву – теперь Польша в его руках. Особенности ментальности Гитлера были таковы, что теперь, когда он отказался от враждебности по отношению к СССР, мир подвергался еще большей опасности.

Ранее Гитлер заявлял, что немецкие колонии следует искать не в Африке, а на востоке европейского континента. Говоря о *Lebensraum* {Жизненное пространство (*нем.*)} для немцев,

Гитлер и Риббентроп думали о русской территории. И когда было инициировано сближение с Россией, похотливый взгляд Гитлера уже не мог быть прикован к территории Советского Союза. С другой стороны, Гитлер не мог удовлетворить свой аппетит польской территорией, пока не был уверен в отношении Москвы.

Ради сохранения мира оптимальным было бы продолжение периода неопределенности, тогда Москва не смогла бы заключить никакие соглашения ни с западными державами, ни с Гитлером. Он мог бы продлиться до лета, тогда смогли бы выиграть время. В предстоящие шесть месяцев зимы даже Гитлер не начал бы войну. И тогда уже можно было решать, что делать.

Таковы были мои расчеты в мае и июне 1939 года. Я по-прежнему находил русских «необычайно подозрительными». Во всяком случае, переговорам была свойственна восточная медлительность. Берлинско-варшавские переговоры между Берлином и Варшавой постепенно сошли на нет, но большой опасности не предвиделось. Посетив нас в мае или июне, верховный комиссар Лиги Наций по Данцигу К. Буркхардт сказал, что дважды подумает, прежде чем решится на переезд своей жены и детей из Женевы в Данциг. Я ответил, что ему не стоит беспокоиться о безопасности такого переезда, хотя если бы речь шла о моей собственной семье, то я подумал бы и поступил точно так же.

Поскольку Риббентроп полностью передал мне все общественные отношения с дипломатическим корпусом, что представляло собой главную служебную обязанность статс-секретаря, я должен был переехать в его официальную резиденцию, унаследованную от моего предшественника, и постоянно находиться в Берлине. Резиденция размещалась на улице Адмирала фон Шредера, 36, и мы переехали туда в июне 1939 года. Нам больше нравилось в нашем прежнем доме – на тихой Майнекештрассе.

«Адмирал», как мы называли наш дом, представлял собой виллу, специально рассчитанную на активную светскую жизнь, характерную для мирного времени. Но мир продолжался совсем не долго. Через несколько месяцев началась война, комнаты для приемов превратили в пошивочные мастерские Красного Креста, которыми непрестанно руководила моя жена. Работа помогла ей преодолеть обиду на партию. После начала войны все непартийные мастерские Красного Креста, за исключением находящейся в нашем доме, были закрыты, несмотря на приносимую ими пользу.

В начале июня 1939 года состоялось последнее громкое событие в Берлине: визит югославского принца-регента и его жены. Опекая их, моя жена заметила, что Гитлер был заворожен обаянием принцессы. Обычно жесткий в обращении во время посещений гостей, он буквально осыпал принцессу мелкими знаками внимания, показывал ей комнаты и предметы искусства. Когда она отказалась продолжить осмотр, сославшись на то, что почти полночь, и сказала, что ей пора идти, он ответил ей, как любовник: «Счастливые часов не наблюдают». Происходившее оставляло слабую надежду, что в этом человеке остались какие-то человеческие чувства и что его демоническая потребность катастроф, возможно, могла переключиться на что-то иное.

Если не считать этот югославский визит, я не видел Гитлера с начала мая до середины августа 1939 года; мы не встречались даже случайно. Из Берлина нельзя было выяснить, что делал Гитлер в Оберзальцберге.

Мои друзья по армии, знавшие о том, что происходит, говорили мне, что осенью непременно произойдет вторжение в Польшу. Сам же я не хотел верить в столь фаталистическое отношение к происходившему. В обычной ситуации я, возможно, изложил бы министру свое видение ситуации – в форме предварительных предложений и меморандума. Но я давно оставил методику фронтальных атак, находя ее неэффективной.

Вместо этого я должен был действовать окольными путями, и так продолжалось вплоть до середины 1939 года. В конце июня и начале июля случились перемены в моей методике

самовыражения во время дипломатических бесед. Весной 1939 года я осмелился утихомирить эту бурю в период равноденствия. Во время одной из бесед Кулондр процитировал меня следующим образом: «Il faut maintenant laisser s'apaiser les eaux du lac» {Наконец следует успокоить эти глаза, голубые как озера (*фр.*)}, но теперь я начал говорить в иной тональности. Вместо политики утихомиривания, я забил тревогу.

Если Гитлер на самом деле серьезно обдумывал вторжение в Польшу и если западные державы продолжали оставаться нерешительными во время своих переговоров с Москвой, то «подвешенное состояние», существовавшее между Берлином и Москвой, переменилось в опасную сторону. Могло случиться и так, что Гитлер обойдет западные державы и выиграет гонку, добившись расположения Сталина. Всему этому можно помешать, если сохранить мир.

В своей попытке найти подходящее решение я соглашался, уже в сентябре 1938 года, чтобы братья Кордт в Лондоне начали тайно действовать. Они намекнули некоторым английским друзьям, что Гитлер собирается одержать верх над ними в Москве. Братья Кордт получили соответствующий конфиденциальный ответ, что этого не произойдет, ибо британское правительство не предоставит Гитлеру шанса нарушить договоренности. Все это обнадеживало, поскольку учреждение тройственного соглашения Лондон – Париж – Москва, помимо всего прочего, оказывалось менее спорным, чем договор между Берлином и Москвой с идеей нового расчленения Польши. Политики часто выбирают из двух зол меньшее.

Летние месяцы июня, июля и августа я снова проводил в Берлине вместе с главами иностранных миссий. На самом деле я был рад такой вынужденной изоляции. Беседы между Риббентропом и одним из послов могли только привести к новым обострениям в отношениях.

Частично мои дипломатические беседы того времени прекрасно и точно отражены в Голубой, Белой или Желтой книгах различных правительств. Мне почти не приходится жаловаться на то, что иностранные дипломаты передавали содержание наших бесед в искаженной форме. Хотя вполне естественно, что каждый из них давал только сокращенный отчет, выбирая то, что считал значительным и полезным.

Однако выводы, которые делали иностранные послы из наших бесед, оказывались не столь удачными. Обладавший верной интуицией англичанин Хендерсон часто тактично перебивал меня, в то время как француз Кулондр, хотя и превосходивший Хендерсона в логических построениях, не пробыл достаточно долго в Берлине, чтобы отличить мой образ мышления от тех, которыми обладали Гитлер и Риббентроп.

Мне, как профессиональному дипломату, доставляло особое удовольствие взять в руки официальные публикации трех правительств – германскую Белую книгу, британскую Голубую книгу и французскую Желтую книгу. Все они появились после начала войны и отодвинули другие, позволив сравнить разные тексты.

Интересным оказалось и увидеть, как Хендерсон, помня о моих разумных намеках и личных ремарках, избегает компрометировать меня в своих описаниях. Благодаря попавшим в мои руки французским документам я смог установить, что было опущено в депешах Кулондра и что вошло в Желтую книгу.

Что же касается наших собственных Белых книг, в издании которых я не имел ни времени, ни желания участвовать, то я запрещал кому бы то ни было делать любые изменения в том, что я написал, допуская только необходимые сокращения. Не стану здесь кратко излагать содержание этих записей, поскольку не ставлю перед собой задачу отразить в этой книге историю дипломатии летом 1939 года. В любом случае существенные и значимые события в дипломатической сфере происходили не на Вильгельмштрассе.

В Берлине нужно было сделать только две вещи: примирить и окольными путями успокоить как Гитлера, так и поляков. Кроме того, в мою задачу входило помочь англичанам уяснить, что их обещание помощи полякам практически остается на бумаге, в то же время они

фактически передают решение о начале войны в руки безответственных и упрямых властей иностранного государства (то есть Польши).

Англии и Франции пришлось пристально следить за поляками. Публично повторявшееся заверение о том, что они придут на помощь полякам, имело эффект обратный ожидаемому. Они становились все более несдержанными, о чем свидетельствовала речь председателя польской морской и колониальной лиги в День военно-морского флота в конце июня 1939 года. Всем было хорошо известно, что Гитлера никак нельзя было запугать с помощью публичных угроз.

Последнюю истину необходимо подчеркнуть, поскольку в некоторых странах, например в Англии, проводилась открытая дипломатия, в речах и газетных статьях звучали угрозы, направленные против правительства рейха (вместо предупреждений, обычно следующих по дипломатическим каналам). Если в июле 1914 года Эдуард Грей не допускал столь резких выражений в прессе, то теперь правительство Чемберлена восполнило это с лихвой.

Теперь я оказался перед дилеммой, которую нельзя было решить публично: как предупредить Польшу, не разъярив при этом Гитлера, и как в то же время предупредить Гитлера, не вызвав ярость поляков. Более разумным и в то же время более амбициозным мог показаться следующий вариант. Полагаясь на терпимость других стран, Варшава проводила в течение нескольких лет политику «постепенной колонизации», шла ли речь о Вильно (Вильнюс был захвачен Польшей у Литвы в 1920 году. – Ред.), Алленштейне (Ольштыне) или Данциге. А Гитлер не верил, что Англия сохранит верность Польше и выполнит свои обязательства по договору. Избалованный и ослепленный своими успехами, он полагал, что договор был блефом.

В мою задачу входило сообщать содержание моих бесед с иностранными дипломатами, которые настолько недвусмысленно выражали свои позиции, что Гитлер не мог игнорировать это и должен был им верить. Хендерсон, с которым я мог говорить без обиняков, высказывал мне как раз те замечания, в которых я так нуждался. В этом отношении не скупился и Кулондр. Как нам стало известно из найденных нами документов французского министерства иностранных дел, однажды, в августе 1939 года, он сообщал домой, что я хотел получить от него ясное заверение, что Франция сохранит верность договору. Я оставался противником войны, обеспокоенный тем, как развивались события, и хотел извлечь пользу из британских и французских заявлений, сделанных более четко и направленных на перспективу, чтобы убедить свое правительство, что существует опасность конфликта в Европе.

Мои беседы с послами редко встречали одобрение Риббентропа. Он ни с кем не хотел советоваться и изменять свои взгляды в зависимости от мнения других. По-видимому, его раздражало, что мои записи этих бесед не совпадали с его собственной манерой письма и его докладами Гитлеру. Хорошо, что он не знал, какие слова на самом деле произносились во время этих бесед. Насколько возможно, я приспособливал эти заметки к ментальности получателя. Чтобы достичь нужного эффекта, я использовал фразы, имевшие двойное значение, часто иронизировал, так что читатель, знакомый с моей обычной манерой письма, мог подумывать, что это написано другим человеком.

В июле 1939 года моя записка по поводу одной из бесед с Хендерсоном привела к телефонной беседе между Шлосс-Фушлем, курортным местечком близ Зальцбурга, избранным Риббентропом в качестве своей резиденции, и рыбацким домиком на озере в Укермарке (то есть под Потсдамом. – Ред.), где я проводил воскресенье, в результате мне пришлось лететь в Шлосс-Фушль. Когда я прибыл, то должен был сказать Риббентропу, чтобы он перестал разговаривать со мной как с мичманом, если же он не изменит свою манеру общения, то ему лучше поискать другого статс-секретаря. Риббентропу тогда пришлось стать более приятным в общении.

Но все сказанное не означало, что мне удалось убедить его. Риббентроп не хотел верить в то, что союзники найдут общий язык с Польшей. Что же касается взгляда самого Гитлера, то в первой половине июля мне сказали, что он еще не был уверен в том, удастся ли локализовать войну с Польшей. Разве эта оговорка не говорила о возможной европейской войне? Именно в этот момент и следовало влиять на дальнейшие решения Гитлера.

Впервые я увидел Данциг тридцать лет тому назад. Тогда мы бросили здесь якорь, и командующий флотом Хольцендорф взял меня на завтрак на «Плоткин», где адмирал фон Холлебен, начальник императорских верфей, объяснил нам достоинства еды и напитков Данцига. Он сказал, что в таком отдаленном провинциальном городке, как Данциг, всегда следует вести богатую внутреннюю жизнь.

В 1919 – 1920 годах Данциг, как «вольный город», усилил свое влияние, но вскоре потерял его снова, проиграв Гдыне, построенной поляками на голом месте. В Лиге Наций Штреземан сражался, чтобы заставить поляков максимально использовать Данциг (который они так пылко желали вместо того, чтобы просто отказаться от города и его гавани). И именно Данциг и проход к Восточной Пруссии (через Польский коридор. – Ред.) оказались яблоком раздора. Могло ли происходить так, чтобы решение проблемы шло самотеком, как часто повторял Гитлер среди своих близких друзей?

Я вновь испытал чувство радости, когда доктор Карл Буркхардт занял пост верховного комиссара Лиги Наций в Данциге. Это было непросто. Ему пришлось общаться здесь с Грейзером, председателем местного сената, имевшим добрые намерения, но малообразованным, слабовольным и вовсе не подходящим для своего места. Грейзер был вовсе не тем человеком, который мог противостоять грубостям гаулейтера Ферстера, которого Гитлер направил в Данциг, как нарушителя спокойствия. Ферстер был одним из старых друзей Гитлера и получал инструкции непосредственно от него. Говорили, что Ферстеру позволялось даже беспокоить Гитлера, когда тот принимал ванну.

Буркхардт необычно живо, но не без тени грусти, которая обычно овладевает ученым, видящим невежество и непрофессионализм, описал свои профессиональные и другие контакты с этими двумя главами «вольного города Данцига». По своей манере поведения он напоминал европейца далекого прошлого, но вынужден был находиться в обществе подобных людей.

И все же Буркхардт оказался полезным другом и помощником в противостоянии Риббентропу и Гитлеру. Вспоминаю два случая, произошедшие, как мне кажется, в июне и в августе 1939 года, когда (частично по моей просьбе) он пытался убедить Гитлера и Риббентропа, что, если они окажутся вовлеченными в военные действия с Польшей, они развяжут мировую войну.

Было очевидно, что все эти попытки провалились не по вине тактичного Буркхардта, обладавшего дипломатическим спокойствием. Позже, после начала войны, немцы плохо обошлись с ним. Но влияние Буркхардта на поляков оказалось вовсе не таким сильным, как нам хотелось. Его взаимодействие с высокомерным министром иностранных дел Беком казалось мне не очень удачным.

Во времена моей службы в Лиге Наций я мог наблюдать за вызывающим поведением Бека в Женеве. Я не слышал, чтобы кто-нибудь говорил о нем с симпатией или уважением. Мне самому довелось вступить лишь в несколько личных контактов с польскими дипломатами.

Даже с явными врагами можно попытаться найти точки соприкосновения, но с поляками удача мне не сопутствовала. Летом 1939 года немецкий Генеральный штаб монополизировал политические отношения с Польшей, и контакты с польским посольством в Берлине свелись к чисто техническим проблемам. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что между двумя странами в эти месяцы не велось никаких серьезных переговоров.

Конечно, угроза вторжения сохранялась. До конца июля и начала августа Гитлер планировал визит германских кораблей в Данциг. В нем должны были принять участие два крейсера, эскадра торпедных катеров и две эскадры подводных лодок – всего около двадцати боевых кораблей. В то время, чтобы ввести в бухту более пяти судов, требовалось одобрение сената Данцига, которое можно было получить через дипломатические каналы, то есть через Варшаву, поскольку Польша представляла Данциг в международных делах.

Но Гитлер не хотел идти на такой шаг, он намеревался сделать запрос прямо в сенат Данцига, формально уведомив Варшаву перед самым приходом кораблей. Я придерживался мнения, что большое количество кораблей и преднамеренное нарушение дипломатических процедур будет воспринято не иначе как начало ожидаемых действий против Данцига. Я несколько раз пытался препятствовать осуществлению этого плана, прямо обращаясь к Риббентропу и косвенно к Гитлеру, а также сам лично взаимодействовал с морским флотом. Нигде мне не сопутствовала удача. Я оставался в одиночестве.

Я также посоветовал отложить визит флота до 4 августа, когда Гитлер и Муссолини должны были встретиться на перевале Бреннер (в Тироле, на границе Италии и присоединенной к Германии Австрии. – *Ред.*). Следовало обсудить ситуацию во время встречи, и я подумал, что итальянцы могут убедить Гитлера отказаться от этого плана. Я уже писал, как итальянцы оставили нас в тяжелом положении в 1914 году на том основании, что Берлин не посоветовался с Италией по поводу своих действий после убийства в Сараеве, поставив Рим перед *fait accompli* {Свершившийся факт (*фр.*)}. Как оказалось, визит наших кораблей в Данциг не состоялся, но мне так и не удалось выяснить, понял ли Гитлер суть проблемы.

Со стороны Польши отмечалось множество инцидентов. Моя информация основывалась не только на немецкой прессе, которую я не считал надежным источником. Наш представитель в Варшаве, Мольтке, с моей точки зрения лучший из всех наших послов, с самого начала занимался проблемой немецкого меньшинства в Польше и был серьезно обеспокоен ростом националистических настроений.

Здесь я не буду говорить о том, что произошедшее стало возможным благодаря неспособности поляков и немцев ладить друг с другом – во многом из-за традиционной польской спеси, в прошлом огорчавшей еще Талейрана. (Эта спесь в свое время привела и к тому, что поляков в 1612 году вышибли из Москвы, и обратный процесс привел к разделам Польши (1772, 1793 и 1795), взятию Суворовым Варшавы (1794) и гибели Польского государства в 1795 году. – *Ред.*) Теперь же она постоянно отравляла польско-германские отношения, преднамеренно отягощенные Версальским договором.

Очевидно, что немецко-польский конфликт по поводу меньшинств не стал изобретением Гитлера. Любой, кто знаком с историей двадцатых и начала тридцатых годов, поручится за это, я сам видел, как ни одна встреча в Лиге Наций не проходила без серьезных трений или кризисов, случавшихся между немцами и поляками.

Я оказался и свидетелем того, как в Веймарской республике польская агрессия и нарушения договора вызвали у политика-миротворца Штреземана знаменитую вспышку гнева, когда он громко стукнул кулаком по столу в Лугано. Позже, во время встречи в Мадриде, я видел, как та же проблема привела к попытке изменить статус меньшинств.

Ситуация не улучшилась и во времена Третьего рейха. Хотя Гитлер запретил упоминать эту тему в немецкой прессе, подавление немецкого меньшинства администрацией польских воеводств не прекратилось. В наших дипломатических и консульских отчетах 1939 года отражено, как волна притеснений поднималась все выше и выше, заслонив теперь ранее возникший вопрос Данцига и Польского коридора.

Вызванное действительной и непосредственной судьбой немецкого меньшинства напряжение оказалось таким сильным, что проблема приобрела самоценное значение. С мая до июля практически не было обсуждений этой темы на дипломатическом уровне. Скрытое напряже-

ние напомнило мне об игре в покер, когда делаются высокие ставки. Правда, мне казалось, что Гитлер, возможно, со временем ослабит свое столь жесткое отношение. Но сейчас мы втягивались в новый поток, где корабль больше не подчинялся рулевому. Теперь уже оказывалось недостаточным доказывать Гитлеру, что проявление агрессии против Польши означает объединение против него Англии и Франции. Дружеский совет Италии означал гораздо больше, чем только намерение избежать катастрофы.

ФИНАЛ ГЕРМАНО-ПОЛЬСКОГО КРИЗИСА (август 1939 г.)

Во второй половине июля вместе с Аттолико я пытался заставить итальянское правительство дать Гитлеру дружеский совет. Всем было хорошо известно, что Муссолини хотел, чтобы мир продлился еще три или четыре года. Не раскрывая своих намерений, мы усердно размышляли над тем, как устроить встречу Гитлера и Муссолини. В качестве предварительного шага итальянцы предложили провести конференцию великих держав и найти выход из ситуации.

Риббентроп проигнорировал предложение и отверг мою точку зрения, отличавшуюся от его собственной. Встреча, планировавшаяся 4 августа на перевале Бреннер, так и не состоялась. Муссолини проявил странную покорность судьбе, отдав все на волю случая. Говорили, что он заболел, влюблен, стареет. Во всяком случае, и Аттолико, и я радовались тому, что хотя бы Чиано собрался приехать.

Непосредственно перед визитом Чиано мы поняли, что ситуация стала критической. В ультимативной форме Польша потребовала от данцигского сената, чтобы в городе начала работать польская таможенная служба. В случае отказа поляки обещали применить ответные меры.

Отвечая на это заявление, германское Верховное главнокомандование сделало заявление, которое мне поручили прочитать польскому дипломатическому представителю. Мне было неприятно это делать, и здесь требовалось изложить случившееся открытым текстом, чтобы избежать больших провокаций со стороны Польши в Данциге. Ответственность за подобные действия, как указывалось в заявлении, целиком возлагалась на Польшу.

Ответ последовал в течение двадцати четырех часов, без консультаций с Парижем и Лондоном, из-за опасений, что они рассмотрят любое вмешательство со стороны германского правительства в отношении между Польшей и Данцигом как нарушение польских прав и интересов и как «акт агрессии». Поступивший ответ показал, до чего мы дошли за те двадцать лет, в течение которых данцигский вопрос обсуждался между Берлином и Варшавой. Французский посол в Варшаве Леон Ноэль, явно симпатизирующий полякам, охарактеризовал их ответ как «pourtant comminatoire» { Угрожающий (*фр.*). } и «cette fois une imprudence» { Неосторожный (*фр.*). }.

Критическая ситуация сохранялась и в то время, когда Чиано прибыл в Зальцбург. Поскольку мы могли перехватывать сообщения Чиано, прежде всего телефонные переговоры с итальянским посольством в Берлине и в особенности с его родственником канцлером Магистрати, нам стало известно, что он замыслил.

С точки зрения Чиано, Аттолико был нервным пессимистом, в своем дневнике он написал о нем следующее: «...Он пытается вместе с кем-то в министерстве иностранных дел [то есть со мной, Вайцзеккером] спасти свою страну от несуществующей опасности».

Чиано заслужил бы большую похвалу, если бы прибыл в Зальцбург с ясным желанием предупредить надвигающуюся войну и вел об этом переговоры. Я сам не присутствовал на беседах с Чиано, меня постарались убрать с дороги. Вскоре я узнал из нескольких достоверных источников, что произошло следующее: Чиано с самого начала заявил, что вторжение Германии в Польшу будет означать начало войны в Европе. Когда Риббентроп решительно возразил ему, а затем и Гитлер заявил, что Англия и Франция увиливают от своих обязательств, Чиано постепенно начал менять свои взгляды. В конце визита он сказал: «Фюрер, до сих пор вы были всегда правы, и на сей раз вы снова правы». Он не упоминал статьи «стального пакта», в соответствии с которым впереди было три или четыре года мира, он не говорил, что, если Германия окажется агрессором, это не должно затрагивать Италию, он не ссылаясь на то, что Италия не

может принять участие в войне, потому что еще не готова. Он говорил много, но не сказал ничего конкретного.

Видимо, Чиано убедил себя в том, что, вопреки очевидности, европейская война не затронет его страну и что поражение Германии не станет самым худшим событием для Италии. Говорили, что после встречи Чиано отправился восвояси в дурном настроении, явно разочаровавшись в немцах и, надо надеяться, в самом себе тоже. Чиано унес впечатление, что война надвигается. Позже в Ватикане он заявлял, что Риббентроп открыто сказал ему, что немцы хотят войны.

Надежда, что наши союзники могли преподать нам полезный урок, исчезла, мы не получили никаких уроков и от наших врагов. Поэтому мы пришли к заключению, что война с Польшей становится реальностью. Полагаю, что мы не ошиблись в своем мнении, я сам не видел, как лучше прояснить ситуацию.

Я ошибался только в отношении России. Я не ожидал, что их нежелание вступать в войну так быстро ослабеет. От нашего посла в Лондоне нам было известно, что Англия и Франция постоянно вели переговоры в Москве. Как я уже говорил, я думал, что знаю, что британское правительство не собиралось проявлять свои чувства, если в Москве Гитлер перехитрит его. Гитлер намеренно старался не спешить в достижении соглашения с Москвой, поскольку опасался потерпеть неудачу и получить отказ, сопровождаемый дьявольским (верный себе, Вайцзеккер играет словами: *Tartar laughter* может пониматься и как дьявольский смех, и как татарский смех) смехом. Он по-прежнему выводил на передний план экономические вопросы, тогда как русских больше волновали политические проблемы.

Поскольку все шло своим чередом, я немного расслабился. Что касается моего официального участия в деле, то события двигались в соответствии с моими желаниями. Ради безопасности я сказал в середине июня нашему послу в Москве графу Шуленбургу, что хватит говорить о политике и что он должен шаг за шагом продвигаться в экономической области. Шуленбург был прекрасно информирован насчет Восточной Европы и пользовался необычайной популярностью у советских лидеров благодаря своим *grand seigneur* {Царственные (*фр*).} манерам. В конце июня я не думал, что Гитлер за столь краткий срок способен прийти к выводу о необходимости политического соглашения. В первые дни августа я говорил себе, что славяне определенно заставят Гитлера сбить свою цену. Я говорил, что Москва ведет переговоры с обеими сторонами и воздержится от последнего слова еще некоторое время, по крайней мере так долго, насколько это вписывается в планы Гитлера.

Такова была расстановка сил в начале августа, когда Гитлер внезапно начал оказывать давление. Руками проинструктированного им Риббентропа он начал громко стучаться в дверь Москвы, и его рвение увеличивалось в прямой зависимости от того, как обострялся польский кризис в конце августа. То, что он собирался сделать с Польшей, Гитлер открыл Чиано в Оберзальцберге 13 августа, заметив, что польский кризис должен быть обязательно разрешен до конца августа. В то же время я постоянно слышал, как в первой половине августа в штабе Верховного главнокомандующего повторяли, что Гитлер не предпримет никаких действий против поляков, не убедившись сначала в реакции русских. Если с ними не удастся достичь соглашения, тогда он отложит свои замыслы, шумно проведет в конце августа юбилей победы при Танненберге (двадцатипятилетие Восточно-Прусской операции 1914 года, в ходе которой немцы (Гинденбург и Людендорф), оставив против 1-й русской армии заслоны и пользуясь развитой железнодорожной сетью, сосредоточили почти все силы своей 8-й армии против 2-й русской армии Самсонова и в боях 26 – 30 августа (н. ст.) нанесли ей поражение. – Ред.), а затем Партийный съезд мира в Нюрнберге.

Теперь стали очевидными две вещи: все зависело от установки дат в программе Гитлера, согласно которым задерживалось или откладывалось заключение договора с Россией. Но 14 августа Гитлер уже не мог себя сдерживать, он предложил послать Риббентропа с визитом

в Москву. 15 августа я виделся с английским послом Хендерсоном и в конце нашей беседы намекнул на предполагаемый визит Риббентропа. Конечно, разговор не отмечен в моих собственных записях, поскольку мои действия были очень осторожными, но Хендерсон сообщил о них в депеше, отправленной им в Лондон. «Вайцеккер... заявил, – писал Хендерсон, – что не только помощь России полякам окажется совершенно незначительной, но что в конечном счете СССР заберет свою долю из польской добычи». Надеюсь, что это предупреждение смогло оказать должный эффект в Лондоне и заставило англичан поторопиться.

19 августа Сталин пожал протянутую Гитлером руку, получив огромный кусок Прибалтики в сферу своих интересов. 20 августа, до того как я узнал, что случилось накануне, я подумал, что гонки с англичанами и французами за расположение русских не разрешены. Но я заметил, что если намечаемая в ближайшую неделю поездка Риббентропа в Москву состоится, «то это означает, что Россия приглашает Гитлера напасть на Польшу и не опасается нового 1812 года. Я возложил все свои надежды на восточную медлительность».

Не стану описывать финальную фазу переговоров, приведшую к подписанию в Москве 23 августа 1939 года советско-германского договора о ненападении. Сам я не сыграл здесь никакой роли. В течение двадцати четырех часов Риббентроп распорядился судьбами Финляндии, Эстонии, Латвии, Польши и Бессарабии {23 августа 1939 г. Молотов и Риббентроп в Москве подписали Пакт о ненападении сроком на десять лет, а также секретные протоколы к договору о разделе сфер влияния в Восточной Европе.}.

Сердцевиной договора стало разделение Польши и других территорий на германскую и русскую сферы интересов, что было указано в секретном протоколе, текст которого был опубликован только после войны, причем Москва всячески стремилась его дезавуировать. В мае 1946 года мне пришлось подтвердить содержание Протокола по памяти перед Международным трибуналом союзников в Нюрнберге.

Флирт Гитлера со Сталиным привел к возникновению напряженности в отношениях Германии с Японией. Еще до назначения министром Риббентроп установил близкие отношения с тогдашним японским военным атташе в Берлине Осимой. Позже он смог добиться, чтобы этот японский воин, оказавшийся восторженным поклонником немецкого военного возрождения, был назначен послом, что открыло прекрасные возможности для консолидации берлинско-римско-токийского треугольника.

Существовавшее между Японией и Россией напряжение соответствовало сложившемуся в то же время напряжению между Берлином и Москвой. (В это время своей кульминации достигли бои между советско-монгольскими и японскими войсками на реке Халхин-Гол, начавшиеся 28 мая вторжением японцев и грозившие перерасти в полномасштабную войну на Дальнем Востоке. Японцы были разгромлены только 30 – 31 августа, а боевые действия по просьбе японцев прекращены только 16 сентября. Японцы потеряли 25 тысяч убитыми, 39 тысяч раненых попали в плен; советско-монгольские войска – 6900 убитыми и 17 500 ранеными и заболевшими. – Ред.) Но что могло произойти теперь, когда Гитлер и Сталин пришли к тайному соглашению? Как это соотносилось с «тайным приложением» к «антикоминтерновскому пакту» между Германией и Японией, заключенному Риббентропом 26 ноября 1936 года? (25 ноября. – Ред.)

Пока Риббентроп находился на пути в Москву, чтобы подписать договор, мне пришлось выполнить неприятную миссию и познакомить Осиму с этой неприятной для него новостью. Последний, избалованный доверительными отношениями, установившимися между ним и Риббентропом, всегда общался с министром напрямую. В обход существовавшей традиции ближайшие сотрудники Риббентропа предпочитали навещать Осиму в его посольстве, чтобы знакомить его с информацией и получать необходимые сведения, вместо того чтобы японское посольство придерживалось заведенного порядка и направляло своих людей в министерство иностранных дел, где с ними говорили бы более объективно.

Осима пришел ко мне домой в полночь 22 июня. Сообщение о том, что Риббентроп летит в Москву, чтобы заключить договор, оказалось для него полной неожиданностью. Это стало для Осимы тяжелым ударом, ведь он был японцем и генералом, а значит, не имел права выходить из равновесия. Многие знали его как храброго человека, который всегда держал себя с достоинством, но мало кто подозревал, что Осима был чувствительнее, чем могло показаться. Когда он услышал мои слова, его лицо застыло и стало серым.

Получив такой удар со стороны своего старого друга Риббентропа, Осима не мог больше занимать пост в Берлине. Объясняя свой поступок, Риббентроп выступил с заявлением, что в течение шести месяцев Япония молчала по поводу предполагаемого тройственного договора и что теперь ей наконец следовало бы определиться в отношении к данному вопросу.

Следующим актом в этой комедии стал совет японцам добиться взаимопонимания с русскими. Министр иностранных дел Мацуока затронул эту проблему, когда в 1941 году, за несколько недель до вторжения Гитлера в Россию (13 апреля 1941 года. – Ред.), подписал пакт о нейтралитете.

Необычной особенностью августовского кризиса 1939 года стало отсутствие четко определенного предмета спора между Германией и Польшей, поэтому нельзя было выразить в виде конкретных требований. Гитлер старался избегать четких формулировок в политических вопросах, полагая, что свобода толкования демонстрирует его самообладание и силу.

Что же касается Данцига, то Гитлер находился в прямой связи с данцигским гаулейтером Ферстером, поэтому нам было довольно сложно контролировать происходившее между ними. Мне оставалось только отложить стратегические действия и попытаться удержать этого амбициозного хлыща из Данцига вне политики, пока не минует август и дата, назначенная для начала военных действий. Гитлер опасался осенней распутицы и грязных польских дорог.

В середине августа я обсуждал с Хендерсоном, как и летом 1938 года, план, как нам обойти Риббентропа и послать подходящего англичанина, желательно генерала, чтобы он открыто поговорил с Гитлером, желательно *tkte-б-tkte*{Наедине (*фр*)}. Еще одна возможность выполнения похожего плана появилась, когда Риббентроп улетел в Москву.

15 августа мне довелось разговаривать с Хендерсоном и Кулондром в связи с полученными от Риббентропа инструкциями. Я с радостью провел эти беседы и смог внести собственный вклад, добившись двойного результата. Я смог ясно показать в своем отчете, что оба посла приняли нашу точку зрения, что отдельная польско-германская война оказывается невозможной.

Через послов я смог сообщить правительствам в Париже и Лондоне, что моя позиция не изменилась. Кулондр сообщил домой, придерживаясь моей линии поведения, что Франция проявит твердость по отношению к Гитлеру и в то же время выскажет Варшаве, что ей необходима умеренность и следует контролировать своих провинциальных чиновников, в чьих руках лежит вопрос обращения с немецким меньшинством.

После нашей беседы 15 августа и последующих бесед, состоявшихся спустя три дня, послание Хендерсона произвело ожидаемый эффект, взбудоражив английское правительство. Британский премьер-министр, который не смог, как в предыдущем году, полететь в Германию в качестве «ангела мира», послал 22 августа Гитлеру письмо. В нем содержалось три основных пункта: Англия готова поддерживать Польшу, Англия готова прийти к общему пониманию с Германией, Англия может выступить как посредник между Берлином и Варшавой. На данной стадии это было как раз то, что нужно.

Согласно указанию из Лондона, Хендерсон должен был передать Гитлеру письмо Чемберлена. Вначале Гитлер не захотел принять английского посла, но после ночной телефонной беседы со мной изменил свое решение. Это был первый и единственный раз, когда Гитлер разговаривал со мной по телефону. Он хотел знать, может ли принять посла, если министр иностранных дел отсутствует. Конечно, я ответил утвердительно.

Договорившись о том, что я приеду к Гитлеру на следующее утро с Хендерсоном, я отправился спать полностью удовлетворенным, но был практически тотчас разбужен звонком Риббентропа из Кенигсберга, куда он прибыл на обратном пути из Москвы. Ему рассказали о том, что произошло, и, кипя от гнева, он призвал меня к отчету. На самом деле он не смог изменить план Хендерсона увидеться с Гитлером без него, но попытался склонить Гитлера, чтобы тот грубо с ним обращался.

Всем известно, как протекали беседы в Бергхофе, одна состоялась утром, а другая в полдень 23 августа 1939 года, описаны и отношения между сторонами. Они не нанесли ущерба делу, но, к сожалению, и не сдвинули его с мертвой точки.

Хендерсон вполне нормально представил свою позицию, хотя, возможно, ему было бы лучше воспользоваться услугами присутствовавшего при беседах переводчика, поскольку сам он не владел немецким языком в достаточной степени. В машине по пути из аэродрома в Бергхоф я дал Хендерсону некоторые советы, тем не менее он не смог найти аргументы против гитлеровских банальностей, его предвзятых идей и его бредней; позднее я тоже не смог это сделать.

Похоже, что Гитлер на повышенных тонах пытался вынудить английское правительство отказаться от своих гарантий в отношении Польши. Только когда Хендерсон покинул комнату, я заметил, что из-за возбуждения Гитлер упустил шанс. Едва дверь за послом закрылась, как Гитлер шлепнул себя по бедру, рассмеялся и заметил: «Чемберлен не переживет этой беседы: его кабинет падет в тот же вечер».

Итак, Гитлер полагал, что его истерическое поведение, соединенное с удачным ходом Москвы, выбросит Чемберлена из седла. Я высказал противоположное мнение, утверждая, что англичане оказались рабами собственной политики, они не смогли отказаться от гарантий, которые дали полякам. Чемберлен мог не потерять свое положение, но, напротив, как я говорил, заручиться поддержкой всего парламента утром, выступив с объявлением войны. Но я говорил в пустоту. Было очевидно, что Гитлер готовит войну, неясно было только, когда она начнется.

Такая ситуация сохранялась 23 августа, когда я отправился на вечернюю прогулку в сад Марии Терезии Шлесслъ, находившийся неподалеку от Зальцбурга, где мы оставались с Альбрехтом фон Кесселем, который со времен Берна разделял все мои тревоги. Мы спрашивали себя, существовала ли какая-нибудь причина для того, чтобы мы оставались в министерстве иностранных дел, чтобы продолжать вести отчаянную и в конце концов обреченную на неудачу борьбу против разгулявшихся дьявольских сил.

На следующее утро, 24 августа, я общался с Гитлером наедине. Он успокоился и почти был готов прислушаться к моим словам. Гитлер высказал некоторые сомнения по поводу положения Италии. Я подтвердил его сомнения и сказал, что итальянцы ведут себя так, как будто происходящее их не волнует. Граф Магистрати, родственник Чиано, говорил, что условия, при которых должен был осуществиться «стальной пакт», не были соблюдены и что поэтому договор оказался неэффективным. Также он заявил, что Англия придет на помощь Польше, но Италия нам не поможет.

Тогда Гитлер счел, что вторжение на Восток оказывается более неприятным, чем он полагал накануне. Он снова подумал, что поляки могут найти повод и снова шаг за шагом начать двигаться к мирному разрешению проблемы, а после первой стадии войны Англия бросит поляков, как она уже делала это с чехами. Я посоветовал Гитлеру, чтобы он, не колеблясь, ухватился за любую возможность, которая может позволить провести переговоры с поляками. Я заметил, что если начнется война с Англией, то нет никаких оснований, чтобы я оставался в министерстве иностранных дел.

Высказанное мной в Бергхофе несогласие с взглядами Гитлера не вызвало никакой реакции с его стороны. Похоже, что он колебался, временами мне казалось, что я убедил его. Но

когда 24 августа, после нашего возвращения на самолете в Берлин, стало ясно, что британский парламент не оказал Гитлеру того уважения, на которое тот рассчитывал, он испытал явное разочарование.

Вечером того же дня Гитлер в присутствии Геринга и меня заставил только что вернувшегося Риббентропа описать, как выглядела ситуация в Москве. Риббентроп заявил, что в Москве он «чувствовал себя почти в компании старых партийных товарищей». Гитлер выслушал его и остальную часть сообщения с интересом, но без какого-либо энтузиазма. Его интересовало только заключение договора вместе с секретным протоколом, который гарантировал ему, что русские не станут вмешиваться, если он начнет кампанию против Польши. Сказанное мной подтверждает, что в то время Гитлер уже задумывался о 22 июня 1941 года.

Подписав Московский договор, Гитлер перешел Рубикон. Он не отличался ни благоразумием, ни логичностью рассуждений. Некоторые полагали, что он следовал рекомендациям астрологов или даже своего личного фотографа Гофмана или некоторых подчиненных из своего штаба. Возможно, поэтому он постоянно менял свое мнение.

22 августа Гитлер произнес перед своими генералами речь, из которой стало ясно, что он твердо собирается начать войну в течение нескольких дней, независимо от того, будет она локальной или нет. Уже на следующий день он начал рассуждать о возможности локализации войны, которая вполне могла перерасти в европейскую. 24 августа снова переменял свое мнение, поскольку война на два фронта снова показалась ему сомнительным делом. Не доверяя своим итальянским союзникам, Гитлер еще в середине следующего дня, 25 августа, думал, что может вовлечь западные державы в сделку.

Вечером 25 августа Гитлер отозвал приказ о наступлении, который уже был напечатан, опасаясь, что Англия в конце концов вступит в войну, а итальянцы этого не сделают. 31 августа он снова безучастно реагировал на все варианты, приказал начать наступление на Польшу, хотя и знал, что ничего не изменилось. Иначе говоря, Италия останется в стороне, а Англия, как она твердо обещала, поможет Польше. 3 сентября, когда англичане и французы объявили Германии войну, Гитлер был удивлен и даже чувствовал себя не в своей тарелке. Сам я узнал о случившемся от Пауля Шмидта, переводчика, сообщившего новости Гитлеру.

Историки, восстанавливавшие ход этой последней стадии, ограничили себя (что вполне понятно) дипломатической версией изложения событий, официальными книгами разной ориентации, конфискованными документами, мемуарами и тому подобными материалами. Сделав это, они недооценивают, преуменьшают некоторые политические реалии – как результат легкомысленных действий Гитлера в последние десять дней августа 1939 года, когда среди немецкого меньшинства в Польше росла напряженность, на границе происходило множество инцидентов, когда огромное количество людей переместилось в Центральную Польшу. Сообщалось о множестве других происшествий, и все случившееся легло тяжелой ношей на весы, перевесив искусственные дебаты так называемых государственных деятелей о том, как следует решить первоначальную проблему.

Закономерным будет вопрос: разве весной 1939 года не наблюдалось неуправляемого движения колесницы к пропасти? Очевидно, что в последнюю неделю августа происходило то же самое. Теперь Гитлер был заложником своих собственных методов. Он больше не мог тянуть лошадей в одну сторону, не рискуя выпасть из колесницы. А на головной лошади сидел сам Дьявол.

Не возьмусь анализировать горы существующих документов, появившихся с тех дней. Только сошлюсь на несколько характерных эпизодов, воспользовавшись собственными записями.

«25 августа [так я писал] я провел в основном в рейхсканцелярии. Риббентроп по-прежнему пытается рассорить англичан с поляками, и он связывает свои надежды с итальянцами. Я говорил ему, что итальянцы оставят нас, когда мы окажемся в сложном положении. Он накри-

чал на меня: «Я не согласен с вами на сто процентов. Муссолини выше всяких дрызг». Что же касается Гитлера, то я ему сказал: «Позвольте мне оставить министерство иностранных дел и вернуться к моей прежней службе морского офицера, как только Англия вступит в войну». Я убедил и Аттолико сказать то же самое своему правительству. Но, как говорят, Муссолини и Чиано проводят целые дни на пляже на побережье неподалеку от Рима».

В тот же день, 25 августа, я записал следующее: «Тем временем уходит последняя возможность, когда будет принято решение. Вместо Аттолико в 15.02 Гитлер принял генерала Кейтеля, который получил приказ для армии вторгнуться в Польшу (наступление началось на следующее утро в четыре часа). Хотя и поздно, но я настойчиво попытался объяснить Аттолико, каковы были его обязанности как союзника. Если быть точным, то я видел только на два процента возможность предотвратить мировую войну, в которой Италия оставит нас и пустит все на самотек... То утро оказалось самым удручающим в моей жизни. Самой ужасной казалась мысль, что мое имя будет связано с этим событием, не говоря уже о непредсказуемых результатах в отношении будущего Германии и моей собственной семьи».

Сказанное стало последней попыткой противостоять судьбе, теперь происходящее стало очевидным. Как старший по службе, я оказался в тот момент на пороге войны, в той же самой позиции, которую я так красочно описал. Четко предвидя свой политический конец, я рисковал быть пригвожденным к столбу, чувствовал обреченность. Происходящее иногда казалось мне страшным сном.

«Около 18 часов [так написано в моих записках от 25 августа] я снова направился в рейхсканцелярию и неожиданно услышал, что планы переменялись и решение о вторжении отменено. Причиной стало обнародование сообщения о подписании окончательного варианта англо-польского договора о взаимной помощи, и, во-вторых, поступило сообщение из Рима, что итальянцы не смогут присоединиться к нам из-за недостаточного военного оснащения и запасов. Просто чудо, что приказ о приостановке начала наступления (на Польшу. – Ред.) поступил в войска вовремя».

Позже Риббентроп упрекал Чиано за то, что информация об отказе Италии поддержать нас и сообщение, что она не сможет принять участие в войне без дальнейшего перевооружения, стали известны и в Лондоне, а следовательно, он отвечает за интервенцию англичан против нас. Дневники Чиано показывают, что на последней стадии, по крайней мере после 25 августа, между Римом и Лондоном существовали близкие контакты, несовместимые с римско-берлинским союзом. Но даже и до этого английский посол в Риме не верил в участие итальянцев. Во всяком случае, зная военный потенциал Италии, в Лондоне не верили ни в участие итальянцев в войне, ни в возможность их влияния на позицию по Польше.

Итак, вечером 25 августа Гитлер отступил, благодаря чему появилась хотя бы относительная возможность действовать со слабой надеждой, что победит разум. Многие считали, что шар проколот и уже никогда не взлетит. Канарис, Хассель и другие приводили логические доводы, но я сохранял скептическую позицию, поскольку события в Польском коридоре были реальными фактами, на которые нельзя было закрывать глаза. 26 и 27 августа никто больше не смог ухватиться за тоненькие ниточки мира, так что те, кто тянул в сторону войны, оказались в более выгодном положении.

Не могу точно охарактеризовать свое собственное состояние в те сумасшедшие и несшие разочарование дни. Мои беглые записи, сделанные по горячим следам, являются лишь бледным отражением тогдашнего накала страстей.

28 августа я записал:

«Не рассматривались никакие конструктивные решения. Как только всплывало что-то разумное, Риббентроп душил его на корню. 27 августа Гитлер заявил своим преданным сторонникам, что придерживается идеи «тотального решения», но мог бы согласиться и на поэтапное урегулирование. Все равно приближается вторая кульминация кризиса, поскольку Гитлер не

получил того, что хотел. Помимо всего прочего, мир хочет наконец увидеть конец бесконечных волнений, продолжающихся последние полтора года. И в Германии начинают думать о приближающемся «конце Нибелунгов».

28 августа Хендерсон вернулся из Лондона и начал переговоры с отдававшего холодом письма от Чемберлена с практическими предложениями. В письме содержится согласие с мнением Бека направить переговоры в русло уважения жизненных интересов Польши.

В два или три часа ночи 29 августа царит всеобщее воодушевление в связи с весьма радужным посланием от скандинавского эмиссара, посетившего Чемберлена. Геринг сказал Гитлеру: «Давайте прекратим игру «все или ничего». На что Гитлер ответил: «Всю мою жизнь я играл по принципу «все или ничего».

На протяжении всего дня настроение колеблется между величайшей дружбой с Англией и развязыванием войны во что бы то ни стало. Отношения между нами и Италией становятся все прохладнее. Позже вечером все мысли Гитлера, кажется, связываются с войной, и только с ней. «За два месяца с Польшей будет покончено, – говорит он, – и тогда мы проведем большую мирную конференцию с западными странами».

30 августа мы ждем, что станет делать Англия, убедит ли она (как намеревалась) Польшу пойти на переговоры. Мы разработали относительно компромиссный план, ставший первой конструктивной идеей за многие месяцы, но, видимо, только ради галочки. В полночь, когда Хендерсон приносит ожидаемый ответ, руководствовавшийся своими собственными соображениями Риббентроп обращается с ним как со сбродом, говоря, что тот опоздал, поскольку ответ англичан слишком задержался. Все это означает, что мы все ближе подходим к войне. Сияющий Риббентроп отправляется к Гитлеру. Я же испытываю отчаяние. Немного позже присутствую во время разговора Гитлера и Риббентропа. Теперь я окончательно понимаю, что война неизбежна».

Тем не менее ранним утром 31 августа через фон Хасселя, находившегося в дружеских отношениях с Хендерсоном (еще с совместной дипломатической службы в Белграде), я попытался заставить поляков прислать из Варшавы уполномоченного вести переговоры или, по крайней мере, объявить о таком шаге.

Я сказал Хасселю: «Мы не можем скатываться в пропасть из-за двоих сумасшедших» (имея в виду Гитлера и Риббентропа). Я ему также говорил о том, что он может сказать Герингу через его сестру, что Риббентроп копает могилу рейху и что он, Геринг, должен представить себе в красках, как Каринхалле погибнет в пламени. (Так и произошло. При подходе Красной армии (в 1945 году) Геринг отдал приказ взорвать свою усадьбу Каринхалле. – Ред.) Позже, когда все попытки найти польского переговорщика провалились, я смог пообщаться с самим Герингом.

В отчаянии я хотел произвести на него впечатление, сказав, что Риббентроп окажется первым, но не последним, кто будет повешен. После случившегося Геринг трижды умолял Гитлера, чтобы он отступил, однако, согласно его записям, он кричал в пустоту.

Происходившие события сохранились в моих записях, сделанных 31 августа и 5 сентября 1939 года, которые я всю войну хранил в безопасном потайном месте.

«31 августа 1939 г.

Сегодня мы целый день работали над установлением сообщения между Варшавой и Берлином. Свои предложения внесли Лондон и Рим. Я порекомендовал прислушаться к просьбе польского посла. По этому поводу я беседовал с Риббентропом, который придерживается иной точки зрения. Я предложил уйти в отставку, желая этого больше, чем раньше.

Наша беседа в рейхсканцелярии велась на таких повышенных тонах, что все невольно начали прислушиваться. Я сказал Риббентропу, что поступлю по-свински, если не дам ему знать, что я думаю. После этого Липски (польского посла) почти приняли, но в последний

момент вновь отправили под формальным предлогом, что он не обладает правом переговоров».

«Начиная с вечера 30 августа они, очевидно, твердо решили начать войну, несмотря ни на что. Подозреваю, что этим мы обязаны советам Риббентропа, лично оборвавшего все нити переговоров. Но мне не совсем ясно, почему Гитлер начал войну против западных держав без Италии, поскольку он до сих пор отказывался от такого шага. Вплоть до 30 августа я воспринимал его игру как опасный блеф, полагая, что все же удастся прийти к соглашению. Я не буду писать ничего о бесчисленных попытках, сделанных мною, чтобы избежать развития вещей в том направлении, куда они поворачивались. Это уже не имеет значения, поскольку все попытки провалились.

Наступила новая стадия. Есть ли у меня в жизни цель? Будущее покажет».

«5 сентября 1939 г.

С апреля 1939 года основной моей целью было сохранение мира. Вообще я не могу написать, что сделал для этого все возможное, поскольку само время оказалось таким неопределенным. В первые пять или шесть месяцев я пытался открыто добиться цели, высказывая Риббентропу то, что я думал. Позже, поняв мотивировку его поступков, я стал использовать другие способы.

Последним днем, когда я имел исключительную возможность сделать что-либо, оказалось 2 сентября. Тогда ранним утром итальянцы сделали последнюю попытку, замечу, что совершенно напрасную, добиваться перемирия. Я видел, что Гитлер и остальные уже были в курсе этого, прежде чем появился Риббентроп. Итак, наступил еще один день.

Возможно, мне следовало подождать лучших времен, прежде чем другие смогут оценить те усилия, которые я делал, чтобы предотвратить худшее. Но в любом случае это никак не помогло мне и не изменило ситуацию. Тем не менее я был глубоко тронут коротким прощальным письмом, оставленным мне английским послом 4 сентября после того, как в воскресенье Англия и Франция объявили войну.

Письмо Хендерсона заканчивалось словами: «Господи, благослови Вас», и я ответил ему тем же. Но не могу не заявить, что оказался единственным, кто чувствовал подобное. После того как Англия объявила войну Германии, я несколько раз проходил мимо британского посольства на Вильгельмштрассе. Я видел, как Хендерсон вместе со своими помощниками укладывал багаж – как будто между Англией и Германией существовало полное согласие; никто не думал о том, чтобы остановиться и оглядеться, не было ничего похожего на демонстрацию или выражение ненависти. Не германский народ, а Гитлер и Риббентроп развязали войну с Англией».

Продолжаю цитировать свою запись, относящуюся к 5 сентября.

«Теперь началась война. Господь не допустит, чтобы все хорошее и ценное было уничтожено. Чем быстрее кончится война, тем лучше. Но следует помнить, что противник никогда не заключит мир с Адольфом Гитлером и Риббентропом. И что это означает? Как будто не ясно!

Начиная с 31 августа я стал редко бывать в рейхсканцелярии. Как бы там ни суетились, мне все же казалось, что высшие партийные функционеры прекратили свое существование. Больше не приходилось сомневаться, что нацистская Германия со временем растает как дурной сон.

В связи с разразившейся войной я избежал посещения сессии в рейхстаге. Я не хотел никоим образом в ней участвовать, даже в качестве слушателя. Во время утреннего заседания в министерстве иностранных дел 1 сентября я только дал нашим чиновникам следующий совет: «Каждый поступает так, как велит ему его совесть».

ПОЛЬСКАЯ КАМПАНИЯ (осень 1939 г.)

1 сентября 1939 года разразилась война, а на следующий день, к вечеру, был убит наш сын Генрих. Он был командиром взвода 9-го пехотного полка и погиб одним из первых, когда поднял своих солдат против польской пехоты у железнодорожного переезда близ Клонова.

Наш сын Рихард, находившийся в том же полку, стоял в почетном карауле у тела своего брата в утренние часы 3 сентября. Затем Генриха похоронили условно вместе с несколькими своими товарищами, спустя две недели его привезли в часовню нашей усадьбы «Уединение», расположенную близ Штутгарта, где состоялась поминальная служба. Затем на краю леса, на тихом маленьком воинском кладбище, наш сын Карл Фридрих произнес слова прощания. И там теперь лежит Генрих, под простым деревянным крестом.

Цель, к которой стремились Генрих и его друзья, лучше всего может быть объяснена как единство веры и жизни, а примерами для них были герои Средних веков. Но вряд ли кто из них, солдат 1939-го и последующих лет войны, выжил из этой группы, чтобы сегодня поведать о своих идеалах. Почти все они разделили одну судьбу.

«Как все это могло произойти? – писал я. – Разве нельзя было избежать войны, используя более действенные меры?»

Возможно ли, чтобы такого события в истории человечества, как война, можно было избежать? Кто может быть судьей? И кто имеет реальное право определить виновных в отношении отдельных наций и конкретных личностей?

Чтобы описать эту катастрофу, поэты, философы и священники станут использовать такие слова, как Трагедия, Судьба и Провидение. Но каждый, кто до войны лично или в силу своих служебных обязанностей был связан с происходившими событиями, не сможет избежать этих вопросов. Если он не лишен совести, то давно задумался обо всех проблемах и, возможно, не откажется протянуть мне руку.

В поисках правды историки в течение долгого времени будут пытаться установить истинные причины войны. Если они станут пользоваться источниками Третьего рейха, то им следует помнить о том, что в Германии никто не мог ничего добиться открыто. Трезво мыслящие чиновники и офицеры должны были излагать свои мысли и предложения языком понятным тем, к кому они обращались.

Используя документы того времени, историк воссоздаст объективную картину в том случае, если проникнет в психологию людей, на которых ориентировались документы и с кем эти люди были косвенно связаны. В то время любой, кто хотел достичь конкретных результатов в политике, писал так, чтобы позже это выглядело бы как мудрое предостережение, а не ради того, чтобы спасти собственную душу. Он писал и говорил, споря с психопатами и для психопатов.

Историкам следует это понять и постараться проникнуть в подтекст. Им будет недостаточно удовлетвориться заключительной стадией перед войной, но следует проникать день за днем в прошлое, пока они дойдут до того места, когда наше знание истории отчетливо не позволит установить главные и глубинные причины событий, связи между ними, соотнося их с общечеловеческими ценностями.

По отношению к людям, которые были связаны с событиями, приведшими к войне, можно употреблять такие слова, как «серьезные» или «легкомысленные», «осознававшие свою ответственность» или «безответственные», «добро» или «зло». Сегодня мы можем применить эти слова к действиям отдельных государственных деятелей, и с этой точки зрения и следует рассматривать, кто виновен в войне».

Приведенные выше рассуждения по поводу того, кто виновен в войне, я записал летом 1944 года, за год до конца войны. Вот о чем я думал тогда, и так я думаю сегодня, несмотря на

огромное количество исторических источников, написанных с разных точек зрения, несмотря на судебные разбирательства, состоявшиеся со времен войны. Не говоря уже о тех расследованиях, которые могут произойти.

То, что думал и что пытался сделать трезвомыслящий человек, пытаясь избежать начала войны, он не мог написать, не навлекая опасность на себя, на других и на течение событий. Вот почему любая запись того, что происходило в Германии в связи с попытками предотвратить войну, всегда оказывается бедной по содержанию и изобилует пробелами.

Решающим же для меня оказался тот факт, что, несмотря на все случившиеся неудачи, надежда на сохранение мира все же оставалась. Хотя борьба с происходившим воспринималась как безнадежное дело, тем не менее мне казалось, что эту борьбу следует продолжать и что каждый должен сделать все, что от него зависит.

Вина за начало войны усугубилась виной за продолжение войны. Проклятие, сопровождавшее дурное дело, должно было обернуться против того, кто его задумал, и закончиться ужасным концом. Спустя шесть недель после того, как разразилась эта война, я назвал ее «величайшей и самой непростительной катастрофой в современной истории Германии». Стало очевидно, что в надвигающемся поражении правительство рейха не станет щадить германский народ, ведь и сами члены правительства чувствовали, что их вот-вот пригвоздят к столбу.

Политический ход событий во время войны (особенно к концу, когда Гитлер просто держался, пытаясь выжить) не сохранился так отчетливо в памяти, как период ему предшествующий. От отставки меня удерживало только желание попытаться изменить течение этих разрушительных событий с помощью иностранных держав, прежде всего тех, которые занимали нейтральную позицию, а также с помощью той оппозиции, которая существовала внутри Германии. Но в моих записях, относящихся к 1939 – 1943 годам, практически нет об этом информации. Начиная с первых дней войны вся моя деятельность была направлена на восстановление мира. И все попытки оказались напрасными. *Voluisse sat est* {Желания недостаточно (лат.)}.

Когда Англия и Франция объявили войну, генерал Кейтель сказал мне: «Как только мы займем Польшу, Англия и Франция заключат мир, ибо не останется целей, ради которых следовало бы воевать». Возможно, реплика принадлежала не Кейтелю, а его хозяину и господину (то есть Гитлеру). Что же касается вторжения в Польшу, то здесь он оказался прав. Весь мир был поражен достижениями германского вермахта.

Я не могу сказать, чья в этом заслуга. В октябре 1939 года Риббентроп говорил, что работа военного руководства совершенно не отвечает требованиям времени, так что лавры победителя принадлежат только Гитлеру. (Заслуга прежде всего Генерального штаба сухопутных войск, по-прежнему, как и в Первую мировую, работавшего как хорошо отлаженная машина, отлично подготовленного офицерского и унтер-офицерского корпуса и рядовых солдат, знающих, за что они воюют и умирают. – Ред.)

После польской кампании Гитлер по-прежнему надеялся, что сможет достичь соглашения с Англией, поскольку на Западе в течение сентября война фактически не велась. Бездействие западных держав объяснялось скорее нежеланием французов жертвовать своими солдатами и техникой ради Англии, чем попыткой англичан прийти к соглашению.

Как бы то ни было, Гитлер обнародовал свое желание мира в речи, произнесенной в рейхстаге 6 октября 1939 года. Он заявил, что согласен с существованием Польши при определенных гарантиях безопасности, и жестко потребовал возвращения германских колоний.

Могли ли Англия и Франция принять предложения такого рода? Могли ли они сделать это с учетом того, что СССР, возможно, выступит на стороне Германии? Был ли у западных стран план ведения войны и план отдельных кампаний?

Зимой 1939 года сэр Невилл Хендерсон, оправдываясь передо мной, произнес: «Как обычно, Англия и теперь не вполне готова вести войну, возможно, Германия станет одерживать победы в начале этой войны, но в конце концов она проиграет». Действительно, именно

так развивалась Первая мировая война, она представляла собой войну противоречий, которую демонстрировало английское правительство. Целью англичан в этой войне было снова все уничтожить, поэтому Гитлером овладел дух беспокойства. Я сказал нашему послу Гевелю то, что Гитлер несколько раз повторил в августе 1939 года: «Обычно англичане долго пробуждаются и так же долго собираются заснуть снова».

Теперь же, после польской кампании, я считал вступление Англии в мирные переговоры почти невероятным, но не совсем невозможным. Мне казалось, что в этом направлении нам и следовало сделать серьезные попытки. Известно, что под лежащий камень вода не течет.

Перемирие с Гитлером? Разве этого хочет оппозиция, существующая внутри Германии? Оставить Гитлера у власти и, кроме того, позволить ему наслаждаться славой победителя? Для меня здесь не было никаких сомнений. Я был за мир, не важно, на каких условиях он был бы заключен (думаю, что и любой здравомыслящий и тонко чувствующий человек подумал бы точно так же). Ни в то время, ни позже я никогда не рассматривал войну как способ смещения Гитлера. Я придерживался той точки зрения, что и власти Гитлера, и войне следовало положить конец, но Гитлера не следовало смещать с помощью войны и тех неизбежных жертв, которые с ней связаны.

Поэтому я предложил, чтобы после речи Гитлера мы не успокаивались. Если мы действительно хотели мира, то, очевидно, должны были сделать противнику некоторые намеки. Во время войны не готовят почву для мирных переговоров путем публичных заявлений. И действительно, в то время мне доводилось слышать, что Гевель действовал из лучших побуждений, но по-дилетантски. Он оказался одним из людей Геринга и поэтому не пользовался благосклонностью Риббентропа. Сам Риббентроп нарисовал Гитлеру фантастическую картину Европы, которая более или менее совпадала с идеями Карла Великого.

Французское заявление от 3 сентября, в котором объявлялась война, было выдержано в более спокойном тоне, чем английское. В то же время ответ Даладьё от 10 октября на речь Гитлера, произнесенную 6 сентября, оказался более провокационным, в то время как ответ Чемберлена (от 12 октября) был более взвешенным. И все же 12 октября оказалось несчастливый днем. Как уже говорилось, я не утверждал, что Англия готова была прийти к пониманию. Но ни в коем случае ответ Чемберлена не следовало воспринимать как негативный. Мы снова пытались тянуть за те самые «ниточки мира», но ничего из этого не вышло.

В те дни пресса и радио работали необычайно быстро, так что речи государственных деятелей немедленно комментировались и критиковались (даже еще до того, как публиковались официальные документы). Так и произошло 12 октября 1939 года. В связи с трудностями сообщения с Брюсселем (возможно даже, и из-за технических помех) полный текст речи Чемберлена, которую он произнес в полдень, поступил к Гитлеру где-то между девятью и десятью часами вечера.

Обычно ни Гитлер, ни его пресс-атташе не дожидались, пока поступит точный текст речи, торопясь высказать свое мнение по этому поводу. В тот же вечер Гитлер заявил, что Чемберлен отказался принять предложение Германии о мире. Поэтому война продолжилась. Теперь трудно сказать, существовал или нет шанс достичь понимания. Вскоре Риббентроп заявил, что Германия принимает британский вызов.

ПОПЫТКА СОХРАНИТЬ МИР (зима 1939/40 г.)

Потребовалось много времени, чтобы война на Западе развернулась по-настоящему, и было очевидно, что французы явно не хотят сражаться. Если бы Франция не оказала честь своему союзнику Англии, перейдя в наступление, а мы, со своей стороны, не атаковали бы французов, не создались бы новые благоприятные условия, способствующие установлению мира?

Что же нам оставалось делать? Ответ оказался самым банальным: локализовать войну, как можно дольше сохраняя нейтралитет там, где только возможно. Я сам придерживался точки зрения, что на войне следовало использовать любую возможность для переговоров с противником. Всегда существует надежда получить результат, если начать действовать. Если даже после предпринятых попыток окажется, что союзники никогда не пойдут на переговоры (скажем, с такими деятелями, как Риббентроп), станет ясна реальная причина отказа. Если же в результате удастся сбросить Риббентропа, остальные препятствия уйдут вместе с ним. Но если окажется, что противник не готов вступить в переговоры с Гитлером, то надо начинать действия против Гитлера.

Казалось, что и военные события развивались по тому же сценарию. С началом войны генерал Гальдер, начальник Генерального штаба сухопутных войск, был по чьей-то команде удален из Берлина и длительное время находился далеко отсюда. Хотя мы с Гитлером виделись редко, я смог установить с ним доверительные и надежные отношения через фон Эндорфа из министерства иностранных дел. Гальдер одобрил мои усилия сохранить мир, я также в свою очередь поддержал его, когда в октябре 1939 года он пытался, как и в предыдущем году, организовать арест Гитлера.

Кроме того, 12 октября, когда Гитлер получил ответ Чемберлена, я представил Риббентропу меморандум, в котором предлагал не предпринимать планируемое стратегическое нападение на Западе в течение зимы. Особенно я выступал против любого повторения уже случившегося в 1914 году, то есть нарушения нейтралитета Бельгии. Я писал, что от этого зависит, останемся ли мы в положении защищающейся стороны на Западном фронте или же выступим как нападающая сторона. Другими словами, речь шла о принятии политического решения. Начиная военные действия, нам не следовало забывать о том, что сразу же появится третье лицо, извлекающее пользу из борьбы двух. Оборонительная же война оставляла простор для действий и могла предполагать начало переговоров.

Летом 1939 года Риббентроп повторял мне снова и снова, что Франция покинет своих польских союзников в бедственном положении, поскольку, если она не сделает этого, французские юноши истекут кровью на нашем Западном валу. Но если тем не менее Франция вступит в войну, то, как он говорил, мы сможем удержаться на Западе в течение пяти, а если потребуется, то и десяти лет и тем временем эксплуатировать Восток.

Почему же, рассуждал я, нельзя было применить осенью 1939 года методику, использованную Гитлером летом того же года? И все равно, практически не испытывая никаких иллюзий, 12 октября я представил Риббентропу свой меморандум. Фактически он его полностью отверг. Риббентроп заявил, что я думаю понятиями пропаганды союзников. Через две недели я снова попытался обсудить с ним ту же тему, но все оказалось напрасным.

Риббентроп был противником любых политических инициатив, исходивших из министерства иностранных дел. Он был сторонником романтической идеи «государства фюрера», в котором все подчинялись командам сверху. Когда Риббентроп еще только пришел в министерство иностранных дел, то жаловался, что любой атташе готов дать совет своему министру.

Во время войны, когда Риббентроп практически не бывал в Берлине, он окружил себя своего рода политическим Генеральным штабом, состоявшим из сотрудников и адъютантов, большая часть которых были сломлены морально и физически или уволены со службы. Все

больше и больше Риббентроп склонялся на сторону пропаганды, когда казалось, что кто-то поступает неверно, он начинал отдаваться своей страсти преследования с невероятным рвением и не жалел сил и времени, стремясь выявить все прегрешения обвиняемого. Так что чиновники, работавшие под его руководством, в конце концов постарались вообще ни в чем не участвовать и поэтому всегда выглядели невинными.

Вопреки воле Риббентропа случилось так, что наступление, планировавшееся на Западе зимой 1939/40 года, постоянно откладывалось по двум причинам, ни одна из которых не имела ничего общего с политикой. Встречаясь время от времени в ту зиму с Йодлем (Альфред Йодль (1890 – 1946) – генерал-полковник (1944), с августа 1939 по май 1945 года начальник штаба оперативного руководства Верховного главнокомандования вермахта. Казнен. – Ред.), я сошелся с ним во мнении, что при наступлении на Западе мы не сможем продвинуться далее Бордо.

Йодль говорил, что рассчитывать на успех мы сможем не раньше мая 1940 года. Но Гитлер считал иначе, я слышал, как он говорил в декабре 1940 года (видимо, ошибка, в декабре 1939 года. – Ред.), что кампания на Западе «будет стоить мне миллиона человек, но и враги потеряют столько же и не смогут пережить это». Гитлер говорил так, как будто люди были его собственностью и он может считать их, как цифры в арифметической задаче. Сказанное напомнило мне слова Наполеона, произнесенные вечером после битвы при Бородино, когда ему показали множество павших французов: «Одна ночь в Париже стоит их всех».

Гитлер настаивал, чтобы наступление было начато немедленно, но холод оказался противником, а когда все было готово, разработанный план рухнул из-за хорошо известного трагикомического случая, когда начальник оперативного отдела штаба одной из дивизий с находившимися в его портфеле документами по ошибке совершил посадку на бельгийской территории. Так планы германского командования стали известны противнику.

Я же приветствовал любую задержку, поскольку был одержим только идеей мира. Как я полагал, Гитлера можно было свергнуть во время переговоров или после заключения мира, все зависело от обстоятельств. Различные нейтральные страны справедливо попытались воспользоваться зимними холодами (когда было трудно сражаться), чтобы попытаться инициировать мирные переговоры.

Насколько я помню, первая такая попытка исходила от монархов Бельгии и Голландии, в начале ноября 1939 года предложивших свое посредничество. Вначале с этим предложением кулуарно ознакомили наших послов в Брюсселе (барона фон Бюлова-Шванте) и Гааге (графа фон Цех-Буркесрода), конечно, без ведома Риббентропа и Гитлера и вопреки намерениям последних. Оба посла действовали с моего согласия. К сожалению, реакция Лондона на это предложение оказалась отрицательной, поэтому Гитлеру никоим образом ничему не удалось помешать.

На Рождество в декабре 1939 года римский папа Пий XII выступил с обращением, в котором содержались все необходимые условия примирения. Содержание речи скрыли от немецкой общественности, и доктор Геббельс знал почему: немецкая общественность полностью одобрила бы его. В то время лично я был убежден, что, если бы кто-нибудь спросил у любого немецкого солдата его мнение, он бы попросил только о мире.

Нечто подобное я высказал епископу Бергграву, когда тот приехал ко мне в январе 1940 года. Я уже рассказывал об этом человеке, занимавшем должность примаса {Примас – высшее духовное лицо в католической и англиканской церквях того или иного государства.} Норвежской церкви, тесно взаимодействовавшего с королем Хоконом VII. Мы были знакомы еще с тех времен, когда я находился в Осло. В декабре 1939 года он разговаривал с лордом Галифаксом и другими британскими членами министерства иностранных дел в Лондоне. В январе он был на встрече с английскими и французскими церковными лидерами в Голландии; они работали,

естественно, над соглашением с английским правительством, набрасывая документ, который мог подвести основание под программу мира.

В связи с этим Бергграв навел меня. Как было приятно увидеть моего мудрого, простого, добросердечного друга из Норвегии и знать, что он тоже работает над достижением мира. Под свою личную ответственность я вдохновил епископа продолжить свою деятельность. Не только в Англии требовалось подготовить почву для дальнейших усилий в этом деле. Мы также нуждались в более конкретных доказательствах желания противника достичь мира, чтобы параллельно стимулировать и продвигать движение за мир в Германии.

Тотчас после начала войны я позаботился, чтобы бывший советник нашего посольства в Лондоне доктор Тео Кордт был отправлен в Швейцарию, откуда он смог завязать тайные контакты с Лондоном. В конце осени 1939 года этот канал заработал, а зимой 1939/40 года связь установилась, и той же зимой через Ватикан англичане сообщили, что готовы, в случае смены режима в Германии, ожидать изменения курса, «держа винтовку на изготовку». Не стану утверждать, что в таких условиях смена режима не привела бы к осложнениям в области внешней политики, но разве можно было придумать что-то лучшее? И как долго продолжали бы нам верить? После французской кампании мая – июня 1940 года все дальнейшие прощупывания наталкивались на молчание со стороны английского правительства.

В начале 1940 года Гитлер сам получил предложение о посредничестве, оно поступило из Италии. В то время она не считалась нейтральной страной, но была «невоюющей», то есть, как все считали, готовой вступить в войну. Наш посол в Риме Макензен считал, что Италия вступит в войну, как только будет готова. Я был не согласен с этим, считая, что Италия вступит в войну при любом состоянии ее вооружений, как только появится надежда на успех. И вот теперь Муссолини обратился с письмом к Гитлеру, и оно явно пролило воду на мою мельницу. Вот что я написал в своем официальном комментарии по этому поводу: «Муссолини предлагает, чтобы мы не стремились к военному решению на Западе, сдерживая свои военные устремления. Он предлагает свои услуги в проведении мирных переговоров. Если Германия откажется от этого предложения, то он будет считать себя свободным от всяких обязательств. Это письмо означает, что наши с Италией дороги расходятся».

Выраженная в последнем предложении точка зрения поддерживалась тем, что в своем письме Муссолини упрекал Риббентропа, а тем самым и Гитлера, что тот до самого начала войны не верил в то, что западные державы вмешаются. Естественно, что Риббентроп попытался все отрицать. Но на самом деле он навязывал эту абсолютно ошибочную точку зрения летом 1939 года всякому, включая и германских дипломатов из Южной Америки, вызванных в Берлин, а также Чиано, причем последнему в особенности. И Гитлер стоял на той же неправильной позиции в разговоре с Чиано 13 августа и неустанно подчеркивал, что «не отойдет» от нее.

Однако Гитлера было невозможно переубедить, он не ответил и тем самым заставил Муссолини спустя два месяца отказаться от собственного письма и повести себя так, как будто он поставил свою подпись в угоду кому-то. Итальянский посол Аттолико, вдохновивший его на это письмо и откровенно стремившийся к миру, стал настолько непопулярен в Берлине, что Риббентроп потребовал его отзыва. Отъезд Аттолико был для меня настоящей потерей, поскольку означал потерю канала связи с Римом. Со временем даже Муссолини и Чиано поняли, какого профессионала в лице Аттолико они потеряли. В качестве благодарности они дали ему пост посла в Ватикане, и, заняв его, он, к сожалению, вскоре умер.

Его преемник Дино Альфиери прибыл в Берлин с лучшими намерениями, он был моложе Аттолико и гораздо динамичнее. Он и не скрывал тот факт, что служил в министерстве пропаганды; и это чувствовалось (по сравнению с Аттолико). Альфиери любил общество, его дом всегда был полон гостями, здесь можно было встретить всех красавиц Берлина. Его необычайно заботило, какие знаки внимания он должен оказать окружающим, причем самым разным

людям, если кто-то преуспевал в чем-то, праздновал день рождения или юбилей. Альфиери всегда посылал цветы, итальянские фрукты вместе со своими поздравлениями, однажды он даже послал нашему сыну, находившемуся на фронте, серебряный кубок, как лучшему наезднику в своем полку.

Поскольку сам посол проявлял такую активность, его жене, синьоре Карлотте Альфиери, в их доме оставалось делать немного. Она происходила из хорошей миланской семьи и завоевала все сердца своей интеллигентностью, основательностью и добротой.

Однажды за столом она измучила меня тем, что последовательно и детально опровергала квиетизм (религиозное учение, доводящее идеал пассивного подчинения воле Бога до требования быть безразличным к собственному спасению. – Ред.), в другой раз развивала передо мной хорошо обоснованную точку зрения по поводу тирании и убийства тирана. Во время одной из вечеринок у Геринга она почти час заставляла его выслушивать советы насчет улучшения отношений с Ватиканом.

Еще раньше Альфиери понял, что Риббентроп оказался слишком сложным партнером, а все попытки итальянского посла встречаться с германскими руководителями примерно раз в три или четыре недели вызывали замешательство. Возможно, он понял бы это раньше, если бы заметил, что в верхах смотрят на него с подозрением.

В январе 1940 года я получил две типичные дешифрованные телеграммы от бельгийского посла в Риме, попавшие в наши руки. Он сообщал в Брюссель, что, по словам Чиано, немецкое вторжение в Бельгию предрешиено, и даже назвал его предполагаемую дату. Макензен не поверил в эти телеграммы, да и я в то время никак не хотел верить в то, что сейчас хорошо известно, – в частности, в то, что именно Муссолини лично распорядился, чтобы такую информацию предоставили бельгийцам. Из отрывка из дневника Чиано от 26 декабря 1939 года следует, что Муссолини также фактически желал поражения Германии. Разве в таких условиях можно было рассчитывать на действительно полезный совет из Рима?

Еще одно важное предупреждение воздержаться от начала военных действий на Западе поступило к нам в середине февраля 1940 года от США, в форме заявления, сделанного во время путешествия по Европе заместителем госсекретаря США Самнером Уэллесом.

Во Франции к нему отнеслись скептически, в Германии приняли осторожно, в Англии полностью поверили. Сам я видел в поездке Уэллеса не только проявление американской внешней политики, но рассматривал ее как составляющую внутренней политики США, поскольку до выборов 1940 года Рузвельт не мог предпринимать явных шагов, чтобы восстанавливать мир. Я не исключал того, что, не имея желания воевать в Англии и Франции, Рузвельт стремится к снижению напряженности, чтобы использовать передышку в военных действиях для начала мирных переговоров.

В конце визита Уэллеса в Берлин мне казалось, что вся его поездка была затеяна для того, чтобы способствовать движению американцев в сторону мира к концу марта, может быть и за счет сотрудничества с Муссолини. С. Уэллес говорил мне, что начало войны будет означать конец всех переговоров, поскольку для США, равно как и для других стран, это означает опасность того, что все, что делает жизнь заслуживающей того, чтобы жить, может быть разрушено. Осознавая такую перспективу, США не могли оставаться безучастными. Уэллес повторил мне это на вокзале перед отъездом, заметив, что, если его предупреждение проигнорируют, Соединенные Штаты не смогут остаться в стороне. Уэллес также добавил, что, если бы Риббентроп ясно выразил ему германскую точку зрения, тогда, насколько ему кажется, его поездка в Европу не была бы напрасной. С другой стороны, он склонен принять взгляды Гитлера. Свои впечатления Уэллес подытожил заявлением, что переговоры в Берлине были интересными и значительными и его обнадежили.

Наше собственное Верховное главнокомандование в связи с визитом Уэллеса выпустило предписание, озабоченное тем, чтобы никто не разговаривал с американцами о мире. Когда сам

Уэллес, естественно, в разговоре со мной затронул этот вопрос, я использовал простую методику, чтобы создать впечатление, что я с ним откровенен. Я начал рассказывать Уэллесу о вышеупомянутом предписании и тут же начал доверительно предлагать ему, чтобы он объяснил Гитлеру, что Риббентроп находится на пути к мирному процессу. Я побудил Уэллеса предпринять сделать собственный ход на пути к миру, когда переговоры должны были начаться с Муссолини, но без участия Риббентропа. Уэллес понял мои намеки, как следует из его книги «Время решений», попавшей мне в руки в 1944 году, то есть когда война еще продолжалась. В ней опрометчиво меня компрометировали, что могло иметь существенные для меня последствия. Когда я ее читал, то думал, что Риббентроп вызовет меня для объяснений, но, к счастью, боги хранили меня, он не узнал о книге или, во всяком случае, не прочитал ту ее часть, которая относилась к нашим с ним взаимоотношениям.

Уэллес пишет, как во время конфиденциальной части нашей беседы я отошел в середину комнаты, чтобы избежать прослушивания микрофонами, спрятанными в стенах. Должен признаться, что не помню случившегося, но не стану отрицать сказанного. Я часто пользовался такой предосторожностью и иногда во время доверительных бесед включал музыку по радио, чтобы затруднить прослушивание третьей стороной. Я никогда не чувствовал себя в безопасности из-за спрятанных микрофонов, хотя всегда тщательно обследовал стены моей комнаты. Обычно проверка проводилась не техниками министерства иностранных дел, которые могли быть людьми Риббентропа, а доверенными сотрудниками адмирала Канариса. Конечно, я знал или предполагал, что все мои телефонные разговоры внутри министерства иностранных дел прослушивались агентами из моего собственного министерства и все мои звонки вне ведомства также подвергались записи. Со временем я привык к этому.

Я был совершенно удовлетворен своей встречей с Уэллесом, не думаю, что то, что США не сделали никаких подвижек к миру после его поездки, было связано с возможным отсутствием у их эмиссара инициативы или воображения. В «Дневнике» Чиано от 17 марта 1940 года записано, что Уэллес звонил из Рима президенту Рузвельту и спрашивал его, может ли он принять довольно неопределенное предложение мира. Но он получил отрицательный ответ. К глубокому сожалению, Вашингтон промолчал.

Зима приближалась к концу, а с нею и те шесть месяцев, на которые я надеялся. Все попытки начать переговоры, о которых я знал или в которых был задействован, не привели к успеху. Мы так и не смогли никого убедить, что с Гитлером и Риббентропом Германия никогда не достигнет мира. Те из военных, кто соглашался с нами, были готовы начать действовать против Гитлера, хотя общая ситуация для таких выступлений оказалась неблагоприятной.

Не думаю, что их стоит винить за это, я сам оказался не тем человеком, который смог выполнить свои намерения. Даже сегодня существуют различные точки зрения среди тех, кто имеет непредвзятое мнение, предвидели ли военные (не говоря уже о военно-морском флоте и авиации) такой ужасный конец войны теперь, когда война началась и находилась, заметим, в своей первой и самой удачной стадии.

В марте 1940 года я предпринял короткую поездку на фронт на Западе, чтобы повидаться с нашим сыном Рихардом и зятем Бото-Эрнстом, а также составить собственное впечатление о том, что там происходит. Меня впечатлила не только уверенность в своих силах, выражавшаяся в желании атаковать, со стороны рядовых солдат и низших офицеров, но и скептицизм и нелюбовь к этой войне со стороны высших армейских чинов (далеко не всех – такие, как Гудериан, Рейхенау или Манштейн, буквально жили войной, и благодаря таким командирам и нацеленности на победу германская армия быстро сокрушила в 1940 году французов и их союзников. – Ред.). Все было совершенно противоположно условиям Первой мировой войны, когда существовала тесная связь между монархией и высшими офицерами и не столь близкие отношения между рядовыми солдатами, занимавшими свои позиции, и их непосредственными командирами, офицерами-окопниками. Благодаря быстрому завершению польской кампании

в сентябре 1939 года германские солдаты чувствовали свое превосходство над французами. Можно ли было считать такой момент подходящим для восстания генералов?

Тем временем в ОКВ и в Генеральном штабе сухопутных войск разрабатывались планы кампании на весну 1940 года, готовились и новые ослепительные победы. Политическая слепота, установившаяся в то время, привела позже к всеобщей катастрофе.

СКАНДИНАВСКАЯ КАМПАНИЯ (весна 1940 г.)

Во время небогатой военными событиями зимы все взоры были обращены на Север, где СССР воевал с немногочисленной по населению Финляндией. (Тем не менее в ходе войны финны мобилизовали 600 тысяч человек, 17 процентов населения. Но Красная армия к концу войны превосходила финскую по личному составу в 2,3 раза, в 3 раза по артиллерии, в танках и авиации преимущество было подавляющим. Но из-за природных факторов, упущений в руководстве и планировании, а также разнице в мотивации (финны стойко сражались за свою землю и образ жизни) это преимущество не было должным образом использовано. – Ред.) Памятуя о том, что мы сделали в 1917 – 1918 годах, когда германские войска помогли финнам отвести коммунистическую угрозу, мы этой зимой переживали свою пассивность, вынужденные соблюдать нейтралитет.

Мировому сообществу не было известно, что в августе 1939 года Риббентроп в Москве пожертвовал Финляндией, равно как и другими Балтийскими государствами. Теперь он нервно следил, как СССР расправляется с отданной ей жертвой. Шведский посол в Берлине однажды прямо спросил меня, отдаст ли Германия финнов русским. Хотя я принципиально неохотно избегал говорить неправду в дипломатическом общении и особенно не любил обманывать посла Рихтерга, дружелюбно относившегося к нам, тем не менее я не смог сказать ему правду. Кроме всего прочего, причина заключалась в соблюдаемой и русскими и немцами секретности, и, проговорившись, можно было только навредить финнам.

Замечу, что честность в дипломатии относится к деликатным проблемам. Трудно найти более фальшивое высказывание, чем следующее: дипломат – «человек, которого посылают за границу, чтобы он честно врал о своей стране». Дипломатическая карьера складывается только тогда, когда иностранный представитель пользуется доверием и собственным правительством, и правительства той страны, в которую его послали.

Такое доверие можно заслужить, только доказав свою надежность, такт и гибкость ума, но не ложью. Правда, дипломат мог не давать прямой ответ на вопрос, затрагивающий внутренние проблемы его страны, или быть не до конца откровенным ради общественных интересов.

Однажды в Берне, когда Джузеппе Мотта (швейцарский министр иностранных дел) сказал мне, что никогда не говорил правды, общаясь с дипломатами, я был весьма поражен его репликой, поскольку она исходила от человека, который долго пробыл в политике и приобрел определенный опыт. Воспоминание о том, что я не смог дать шведскому послу откровенный ответ зимой 1939/40 года, многие годы лежало тяжелым грузом на моей душе.

Во время зимней кампании я часто видел финского посла и пытался, как мог, поддерживать с ним дружеские, человеческие отношения. В равной степени и наш посол в Хельсинки фон Блюхер не пытался скрывать свои симпатии к Финляндии, хотя на самом деле практически ничего не делал, поэтому Риббентроп решил заменить его. На самом деле никто финнам серьезно не помогал. (Всего за время войны (30 ноября 1939 – 13 марта 1940 года) Финляндия получила от западных государств, в основном Франции и Англии, 500 орудий, 350 самолетов, свыше 6 тысяч пулеметов, около 100 тысяч винтовок, 2,5 миллиона снарядов и др. Готовился 150-тысячный экспедиционный англо-французский корпус (ждали, когда потеплеет), планировались удары английской и французской авиации по нефтепромыслам Баку и Грозного – с аэродромов в Сирии. Не успели. С большими потерями (74 тысячи убитыми, а всего, с умершими от ран и отморожений, 126,9 тысячи) советские войска сломали сопротивление финнов (потерявших 23 тысячи убитыми), заставив подписать мир. Бои велись при морозах до -45° . – Ред.) Наши чувства по отношению к скандинавам оказались слишком слабыми и не выдержали испытаний.

Казалось, что Англия и Франция были склонны прийти на помощь финнам и, поступив таким образом, перекрыть доступ Германии к скандинавским природным ресурсам. После длительной задержки они осведомились в Осло и Стокгольме, разрешат ли их экспедиционным войскам пройти через Норвегию и Швецию. В конце концов все, что они делали для финнов, отлилось крокодиловыми слезами. Храбро защищаясь, финны все же были вынуждены подчиниться русскому натиску и подписать 12 марта 1940 года мирный договор.

Понятно, что Вторая мировая война была бы совсем другой, если бы британскому и французскому контингенту довелось сражаться на финской стороне против Советской России! Смогла бы такая расстановка сил сыграть свою роль в том, чтобы русские смогли свести Финскую кампанию к неожиданно быстрому финалу и удовлетвориться относительно небольшими территориальными приобретениями? В любом случае мне было непонятно поведение русских, в частности почему они не бросили на эту войну более мощные силы.

Позже, осенью 1941 года, чтобы оправдать нашу недалекость, стали говорить, что недостаточная активность СССР во время зимней кампании против Финляндии была лишь военной уловкой, посредством которой Сталин хотел обмануть Гитлера, не показав ему истинную силу своей армии. (Те, кто злорадствовал над тем, как Красная армия в глубоких снегах при морозах $-40... -45^{\circ}$ не может использовать свое техническое превосходство (так, например, финнам удалось уничтожить половину из 3200 советских танков), потом, зимой 1941/42 года, намного менее суровой, чем зима 1939/40 года, не могли должным образом использовать технику (танки и др. у немцев выходили из строя уже при -20°) и мерзли, едва удержав фронт. – Ред.)

И все-таки я был рад, когда военная зима на Севере подошла к концу. Это означало, что по крайней мере в одном месте стрельба прекратилась. Вплоть до Нового 1940 года я поддерживал немецкое заступничество, но напрасно. Конец советско-финляндской войны, наступивший в середине марта 1940 года, облегчил нашу моральную ношу. Теперь ни западные державы, ни Гитлер, хотя и по разным причинам, не имели никаких оснований для оккупации норвежского побережья.

Раньше, перед Рождеством 1939 года, норвежский деятель Видкун Квислинг появился в Берлине с политическими идеями. Я общался с ним в связи с визитом германского флота в Осло в 1932 году, когда Квислинг был военным министром, а я – немецким послом. Я не имел ничего против Квислинга, но считал, что с ним нельзя говорить о политике, и, когда он попытался увидеть меня в Берлине, я принес свои извинения.

Будучи одним из немногих людей в Берлине, кто знал Квислинга, я советовал ответственным лицам не принимать его. Но мое предупреждение не помешало ему заручиться покровительством Розенберга и потом быть представленным Гитлеру. Фактически мое вмешательство имело противоположный эффект. Закулисная деятельность, а затем карьера коллаборациониста завершилась для Квислинга казнью и ярлыком всемирно известного предателя своей страны.

О том, что обсуждали с Квислингом в рейхсканцелярии, я узнал из разговоров с представителями военно-морского флота. Квислинг доложил, что его правительство вступило в сговор с западными державами, которые хотели бы занять Норвегию, Гитлер заявил, что должен помешать им. Сам я не верил в эту историю тайного сговора, не думаю, что правительство в Осло было способно на подобный шаг. Не верил я и в то, что англичане решатся на такой крупномасштабный акт насилия. Через адмирала Канариса я предупредил руководство ВМФ, выступая против превентивных мер со стороны Германии, и несколько раз повторил свое мнение Риббентропу в феврале и марте 1940 года.

Я четко указал на то, что действия такого рода пагубным образом скажутся на нашей военной экономике и будут весьма сомнительными в военном и политическом плане. Я категорически возражал против северной кампании, считая, что расширение театра военных

действий уменьшит количество стран, придерживающихся нейтралитета. Фактически вместо близкого мира мы еще более глубоко завязнем в военных действиях, и все это бесспорно приведет к нарушению международных договоров.

Лично для меня Норвегия и Дания были теми странами, чьи население и природа являлись знакомыми и дорогими. В Европе нельзя было найти более миролюбивых народов. Поэтому мне было мучительно думать о том, что эти люди вовлекались в военные действия.

С какими бы стратегическими и военными факторами ни сталкивались генералы или адмиралы, всегда, в любой заданной ситуации, оставались непредсказуемые факторы, которые следовало учесть, хотя иногда это и противоречило традиционной логике военных. Их можно игнорировать тому, кто в конце борьбы гарантировал новый и мирный порядок, который с благодарностью принимался даже теми, кто был вынужден участвовать в его установке даже против своей воли.

Кто мог отважиться принять на себя такую роль?

Зимой 1939/40 года Гитлер и германский военно-морской флот следовали интуиции Квислинга. Я узнал о том, что произошло, только из официального сообщения, поскольку министерство и вообще дипломаты не участвовали в подготовке к северной кампании. Я не думал, что со стороны Дании или Норвегии возникло бы серьезное сопротивление, но не сомневался в серьезных политических последствиях происходящего. Я также был подавлен самодовольством тех, кто отвечал за это предприятие.

6 апреля мои флотские сослуживцы праздновали сороковую годовщину своего поступления на службу. На следующий день после вторжения в Данию и Норвегию я сказался больным, ибо не хотел разговаривать с послами Шеелем и Зале, желавшими узнать мою точку зрения по поводу происходящих событий.

Реакция нейтральных стран на действия Германии оказалась следующей: Швеция сохранила нейтралитет, Муссолини был восхищен – в марте 1940 года он уже забыл о своем письме Гитлеру (с предостережениями), написанном в январе прошлого года, Чиано был язвительно вежлив, СССР устами Молотова пожелал немцам «добиться полного успеха в их оборонительных действиях». Соединенные Штаты воспользовались случаем, чтобы вступить в политическую сделку с датским премьером Кауфманом, который порвал со своим правительством и перебрался в Гренландию.

Сторонники милитаризации Англии косвенно оказали услугу Гитлеру, ибо за день до высадки германских войск они публично объявили о заложении минных полей в норвежских водах. С военной точки зрения это было вполне мотивированно, но в политическом смысле, особенно после случая с «Альтмарком», новое нарушение нейтралитета Норвегии стало дополнительным оправданием вторжения Гитлера в Скандинавию. И, как будто этого было мало, случилось так, что Гитлер опередил франко-британскую высадку в Норвегии всего на день-два.

Отказавшись от первоначальной идеи помочь финнам в их борьбе против СССР, западные державы перешли к менее рискованному плану достижения контроля над скандинавскими источниками сырья. Однако по неизвестным причинам франко-британскую экспедицию на некоторое время отложили. Когда об этом стало известно, наши сторонники силовых действий снова смогли заявить, что оказались правы. Мои предсказания оказались ошибочными, а Альфред Розенберг (один из главных идеологов нацизма. С 1933 года руководитель внешнеполитического отдела партии, с 1941 года министр оккупированных восточных территорий. По приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге казнен 16 октября 1946 г. – Ред.) торжествовал.

В политическом смысле случившееся не изменило мое мнение о действиях Гитлера против Норвегии и Дании. Сегодня, зная, что произошло потом, можно сказать, что предпринятые действия оказались ошибочными. И если кто-нибудь заявит, что кампания Гитлера в Сканди-

навии была *dira necessitas* {Дань необходимости (лат.)}, можно только сказать, что при таких разногласиях в его окружении ему вообще не следовало начинать эту войну.

Спустя несколько дней после вторжения в Данию и Норвегию я снова показавшись в министерстве иностранных дел. Я посоветовал, чтобы вместо правительства во главе с предателем Квислингом назначили военного губернатора, обладающего всеми властными полномочиями. Но к совету из министерства иностранных дел снова никто не прислушался, и в результате Гитлер не сделал это (что могло нам помочь впоследствии). Прежнему норвежскому послу Шеелю, почти двадцать лет представлявшему свою страну в Берлине и проявлявшему особо дружелюбное отношение к нам, 19 апреля были высказаны наилучшие пожелания и предписано покинуть Германию через три часа.

Нашему ведомству запрещалось вступать в защиту своих друзей и знакомых в Норвегии в последовавшие трудные времена. Я остро ощущал это, потому что до меня доходило множество криков о помощи от тех, кто помнил меня со времен моего пребывания в Осло. Гаулейтер Тербовен, занявший в качестве своей резиденции частную виллу кронпринца Норвегии вместо того, чтобы поселиться в прекрасно расположенном и просторном немецком посольстве, оказался недостижимым. Однажды я преодолел свое отвращение и отправился на прием в Берлине, чтобы встретиться с Квислингом и заступиться перед ним за епископа Бергграва и других норвежцев. Но меня постигла полная неудача.

Иначе произошло в министерстве иностранных дел с датчанами. Как нация они оказались более уступчивыми и смогли все устроить так, что, когда вошли немцы, кровь практически не пролилась. Одновременно датчанам удалось сохранить почти неущемленным суверенитет своей страны и добиться, чтобы немецкий посол Ренте-Финк остался в качестве представителя рейха в Дании.

Дипломатическая деятельность в Копенгагене осуществлялась под управлением министерства иностранных дел, и таким образом датчане смогли наслаждаться большей свободой, чем любая другая страна, занятая Гитлером. И такое положение дел сохранялось вплоть до конца моего пребывания в Берлине. После этого, благодаря искусственно раздуту вопросу о престиже, начались перемены.

Военный успех в Норвегии и мирная оккупация Дании разожгли воображение германского Верховного главнокомандования, и в начале мая они уже предлагали план строительства автомобильной трассы из Клагенфурта до Тронхейма с мостами над Большим Бельтом и Эресунном (Зундом) между датским Хельсингером и шведским Хельсингборгом. Говорили, что Тронхейм должен был стать самой большой немецкой военно-морской базой и т. д.

Сам же Гитлер лихорадочно готовился к военной кампании на Западе.

ВОЙНА ВО ФРАНЦИИ (май – июнь 1940 г.)

Возможно, Гитлер и его эксперты оказались правы, заявляя, что если кампании против Франции не было суждено вскоре увязнуть в траншеях, то не следует ограничиваться относительно небольшой пограничной зоной между Германией и Францией. Раз так называемая линия Мажино была вдоль бельгийской границы построена несоответствующим образом (линия Мажино, строившаяся в 1929 – 1936 годах и позже совершенствовавшаяся, полностью закрывала мощными оборонительными сооружениями границу с Германией и Люксембургом (и даже, частично, со Швейцарией) – от Бельфора на юге до Лонгви на севере. На границе же с Бельгией строительство продолжения линии Мажино началось лишь в 1936 году и не было закончено; французы рассчитывали здесь опереться на мощные бельгийские крепости (Льеж, Намюр, Антверпен). – Ред.), германское наступление на Западном фронте должно было, естественно, затронуть Бельгию и Голландию.

Но каким образом следовало объяснить и оправдать нападение на эти нейтральные страны? Гитлер любил применять методы, используемые, так сказать, дома, в сфере внешней политики. Дома, то есть в Германии, он обычно не только беспрепятственно устранял всех, кто оказывался на его пути, но также пытался завоевать доверие, вызвав на откровенность, а затем использовал против таких людей груды «компрометирующих материалов».

Именно такой способ использовали теперь против Бельгии и Голландии, за официальный нейтралитет их стали понемногу критиковать. После польской кампании бельгийская армия в основном сосредоточилась на востоке, поскольку именно на восточной границе Бельгия обладала сильнейшими фортификационными сооружениями, конечно, не было сомнений, на чьей стороне находились симпатии бельгийцев – в политических кругах, в армии, среди большей части населения.

Голландия отстаивала свой нейтралитет более жестко, но даже здесь Гитлер сумел выдвинуть против нее несколько пунктов обвинений, вспомним, например, «дело Венло», в связи с которым несколько голландских чиновников заподозрили в якобы подрывной деятельности и сотрудничестве с некоторыми англичанами, которых они специально наняли для этой работы.

Последних гестапо заманило в ловушку на голландской территории, откуда их насильственно вывезли через границу в Германию. Ни мне, ни блестящему голландскому послу де Витту не удалось добиться, чтобы дело замяли и о нем забыли, потому что Гитлер и Риббентроп хотели сохранить его и использовать в будущем как наглядный образец неблагоприятного поведения голландцев.

На протяжении тех месяцев, когда мы старались совместными усилиями выправить ситуацию, я постоянно встречался с бельгийским и голландским послами – вплоть до последнего момента, чтобы пожать им руку на прощание. Таким образом, я отошел на задний план, как произошло в случае с Норвегией. 10 мая в час дня, когда вторжение на Запад уже началось, я был официально уведомлен о произошедшем. К сожалению, мне больше не довелось свидеться с де Виттом в министерстве иностранных дел, но граф Давиньон появился у нас примерно в семь часов, пообщавшись с Риббентропом.

Он попросил организовать ему звонок в Брюссель из моего кабинета, и я приложил все усилия, чтобы выполнить его просьбу, обратившись к министру связи Онезорге. Время ожидания казалось бесконечным. Тогда я попытался убедить посла, что сопротивление Бельгии бесполезно. Давиньон ответил, что он это понимает, но его король исключительно храбрый и мужественный человек. Бельгия всегда заявляла, что будет защищать свои границы, и собиралась сдержать слово, поэтому фальшивые утешения Риббентропа, стремившегося ввести бельгийские власти в заблуждение, могли лишь ухудшить ситуацию, отрикошетив на Германию. Посол заявил, что Риббентропу было бы лучше поступить как Бетман-Гольвег (рейхсканцлер

Германии в 1909 – 1917 годах) в 1914 году, прямо сказавший: «У необходимости нет закона». (Хорошо известна фраза, сказанная им английскому послу в Берлине: не будет же Англия воевать из-за «клочка бумаги» (каковым является договор о соблюдении бельгийского нейтралитета). – Ред.) Но оставался еще суд Божий...

Возвышенные слова Давиньона и его бескомпромиссная позиция произвели на меня глубокое впечатление. И все же я знал, что бельгийцы проливают свою кровь напрасно. Я думал и о тех ужасных разрушениях, которым могут подвергнуться замечательные бельгийские города и архитектурные памятники. Поэтому мне казалось, что лучше всего советовать Давиньону, чтобы со стороны Бельгии не было оказано сопротивления.

Несмотря на все сказанное, я чувствовал некоторое удовлетворение, что во время всего критического периода он постарался выполнить свои обязанности как можно лучше – как в отношении собственной страны, так и в деле сохранения мира. В тот день телефонным переговорам с Брюсселем не было суждено состояться.

Некоторые германские деятели, в частности Канарис, были позже обвинены в том, что предупредили о вторжении в Голландию и, как утверждали, в Скандинавию. Занимаемое положение не позволяло мне отрицать подобные утверждения, но, зная характер адмирала Канариса, я был уверен, что вряд ли он или кто-нибудь из его близких друзей предоставлял подобную информацию противнику. Если же это и произошло, то только для того, чтобы предотвратить агрессию против нейтральных стран, в надежде, что Гитлер откажется от нее, зная, что его планы раскрыты. В этом случае они не совершали предательства интересов Германии, а жертвовали своей репутацией ради предотвращения незаконного нападения.

Я всегда считал, что, находясь рядом с Гитлером и Риббентропом, имею моральное право давать потенциальным противникам определенную информацию (вне зависимости от того, являлась ли она секретной или нет), которая могла предотвратить вступление в войну или препятствовать расширению военных действий. Моей целью было предотвращение превращения потенциального противника в реального.

Но как бы я ни противился агрессивным действиям Гитлера, я никогда не мог принять, ни эмоционально, ни рассудком, чтобы сражающиеся германские солдаты получили удар в спину. Я чувствовал, что Германия способна к ведению переговоров и вызывает уважение как с военной, так и с политической точки зрения. Иначе не будет компромиссного мира и устойчивой ситуации в Европе. Полагаю, что я был прав.

Когда в марте 1940 года я ездил на Западный фронт, то мне показалось странным, что на линии фронта, проходившей неподалеку от Трира, не было слышно ни одного выстрела. С удивлением я наблюдал, как французские солдаты спокойно перемещаются прямо на глазах, не заботясь о маскировке. Все это создавало впечатление молчаливого уговора между двумя сторонами. Но никто из высших эшелонов военной немецкой иерархии, ни даже сам Гитлер, не представлял, что сопротивление французов будет слабым, что, впрочем, выяснилось, как только развернулось немецкое наступление. (Сказать, что французы и их союзники не сопротивлялись, нельзя. Просто они не устояли перед новой тактикой и неистовым стремлением германских войск к победе. Немцы потеряли 45,5 тысячи убитыми и пропавшими без вести, 111 тысяч ранеными. Их противники потеряли 84 тысячи убитыми и 1 миллион 547 тысяч пленными. – Ред.) Неумение генералов понять столь явное преимущество принесло свои плоды, и Риббентроп их подобрал. Он заявлял мне в начале июля (после того, как Франция была побеждена), что перевооружение армии, начало войны и победы достигнуты без участия генералов. Все это доказывало, с его точки зрения, подлинное величие Гитлера.

Глава Генерального штаба сухопутных войск Гальдер придерживался иной точки зрения. Он сказал мне, что только благодаря неправильному вмешательству Гитлера в руки немцев под Дюнкерком не попали все экспедиционные английские войска на континенте, а не только брошенные здесь англичанами и французами вооружения (24 мая по приказу Рундштедта, под-

держанного Гитлером, наступление немецких танков было приостановлено на три дня, а затем велось не столь энергично; англичанам удалось эвакуировать из Дюнкерка 338 тысяч человек, в том числе 215 тысяч французов и бельгийцев. Все тяжелое вооружение и 0,5 миллиона тонн военного имущества и боеприпасов было брошено. – Ред.). С другой стороны, генерал Герман Гейер, мой друг детства, говорил мне в конце французской кампании, что никто не верил Гитлеру, когда он выбрал место у Седана (13 мая танки Гудериана форсировали здесь реку Маас и рванулись к морю. – Ред.) для решающего прорыва немцев на Западном фронте. (Гитлер в данном случае согласился с автором этого блестящего плана генералом Эрихом фон Манштейном. – Ред.)

Гейер считался беспристрастным человеком, явно не относящимся к поклонникам фюрера. И некоторые другие генералы также начали судить пристрастно, когда им следовало бы придерживаться более объективной точки зрения. В мае и июне 1940 года недоверие к Гитлеру практически исчезло и его престиж повысился. Захват Франции (а также Бельгии и Голландии) за шесть недель бесспорно явился экстраординарным достижением вооруженных сил Третьего рейха.

Я сам был весьма удивлен. Больше всего поражало германское господство в воздухе. Спустя две недели после начала наступательных действий во Франции я говорил и даже писал, что в конце концов угроза с воздуха больше, чем что-либо еще, будет способствовать объединению Европы в будущем.

Видимо, последним шагом, побудившим Францию капитулировать, стали страдания гражданского населения: толпы беженцев, устремившихся по дорогам, ведущим на юг. С другой стороны, я был удовлетворен и действительно находился под впечатлением от нравственной силы и мужества маршала Петена (Анри Филипп Петен (1856 – 1951) – маршал Франции (1918). С мая 1917 года – главнокомандующий французской армией в Европе. Повлиял на формирование пассивно-оборонительной доктрины Франции перед Второй мировой войной. 16 июня 1940 года становится премьер-министром. 22 июня 1940 года подписал капитулянтское Компьенское перемирие. В июле 1940 – августе 1944 года глава режима Виши. Сотрудничал с гитлеровской Германией. В апреле 1945 года арестован. В августе 1945 года верховным судом Франции приговорен к смертной казни (заменена пожизненным заключением). – Ред.), в самый ответственный момент принявшего на себя руководство страной и до конца выполнившего свой долг, хотя в глазах большинства французов такой шаг означал конец его репутации.

Как Петен, так и де Голль исполняли предназначенные для них роли, однако миссия де Голля за рубежом принесла ему славу и лавры победителя, а Петена дома ждала жалкая участь. От своей страны маршал Петен не удостоился никакой благодарности, но придет время, когда его жертвенность будет по достоинству оценена, даже со стороны французов.

«Шестинедельная кампания» произвела ошеломляющий эффект на всех политических фронтах и пробудила аппетит, а не только страх. Зимой 1939/40 года наш посол в Риме фон Макензен постоянно получал устные инструкции, как ему следует использовать свое влияние, чтобы побудить Италию вступить в войну. В Берлине Аттолико считался *persona non grata*, потому что думал иначе.

В марте 1940 года на перевале Бреннер Гитлер сделал провокационное замечание Муссолини, что Италия может и не участвовать в войне, если хочет оставаться второсортной державой. И в течение кампании во Франции Гитлер много раз обращался с посланиями к Муссолини, сообщая о своих намерениях. В начале кампании мне казалось, что эти письма должны были побудить Муссолини сделать решительный шаг.

Но когда в конце концов Италия вступила в войну, чтобы получить свою долю добычи, Гитлер уже не был так заинтересован в ее участии. И даже попросил своего друга не быть таким нетерпеливым.

Нескольких чиновников из министерства иностранных дел уполномочили отправиться в итальянское посольство в Берлине в день вступления Италии в войну, чтобы выразить нашу радость в связи с появлением «нового помощника в сборе урожая», как говорили в Берлине, и принять мощные аплодисменты толпы, собравшейся вместе с Геббельсом перед посольством. Сам я отказался выйти на балкон вместе с остальными.

Возможно, вступления Италии в войну можно было бы избежать, если бы Гитлер во время побед немцев во Франции проявил хотя бы немного политической выдержки, как Бисмарк после битвы при Кениггреце (3 июля 1866 года, где пруссаки разбили австрийцев). Но «*modération dans la force*» {Сдержанность силы (*фр.*)}, если воспользоваться выражением Мазарини, ни в коей мере не была свойственна Гитлеру. Заключенное в Компьене перемирие по своей сути оказалось ограниченным, и не только из-за французского флота, который немцы не получили, но и из-за территорий Франции в Северной Африке. Гитлер не хотел долго возиться с Францией, поскольку хотел сбросить силы для будущей войны с Англией.

Гитлер не ставил перед итальянцами никаких ограничений в отношении перемирия с Францией (заключено 24 июня. – *Ред.*). В особенности неверным оказалось последнее обвинение итальянцев в том, что Гитлер помешал им занять Тунис. С другой стороны, роль, которую Муссолини сыграл в войне против Франции в военной сфере, оказалась фарсом (32 итальянские дивизии не только ничего не смогли сделать с 6 французскими дивизиями на Альпийском фронте, но и были поставлены французами в тяжелое положение. – *Ред.*), а в политическом смысле итальянцы были скорее помехой, чем помощниками.

Когда Уинстон Черчилль стал в середине мая премьер-министром, я напомнил о его импровизациях во время Первой мировой войны, в частности об антверпенской аванюре осенью 1914 года (Черчилль тогда явился в Антверпен (вскоре захваченный немцами) на «роллс-ройсе», трубя в рог, дабы подкрепить боевой дух защитников) и операции в Дарданеллах (19 февраля 1915 – 9 января 1916 года). (Целью операции было овладение проливами Дарданеллы и Босфор, взятие Константинополя и выведение Турции из войны. Инициатором операции выступил морской министр Великобритании У. Черчилль. Союзники (англичане с представителями Австралии, Новой Зеландии и др., французы) задействовали 11, затем 17 линкоров, 1 линейный крейсер, 16 эсминцев, авиатранспорт, 7 подлодок, высадили на берег крупные силы (всего за операцию было задействовано со стороны Англии 490 тысяч, Франции – 80 тысяч человек). Турки упорно оборонялись (всего было задействовано 700 тысяч человек). Англия потеряла (убитыми, ранеными, пропавшими без вести) 119,7 тысячи, Франция – 26,5 тысячи, Турция – 186 тысяч. Англо-французский флот потерял 6 линкоров, турецкий – 1 линкор. Операция провалилась, союзники эвакуировались. – *Ред.*) В то же время в период кампании во Франции он проявил свой истинный темперамент, хотя в 1940 году явно фантастическая идея заключения англо-французского союза, очевидно, принадлежала не ему.

И после поражения французов, когда над Англией нависла реальная опасность, Черчилль сохранил свое обычное упорство. Стремившийся достичь понимания с англичанами в июне и июле 1940 года, Гитлер думал, что Черчилль, вероятно, рассчитывает на помощь со стороны старых и новых друзей, под которыми он имел в виду Америку или Россию, но, если это так, как полагал Гитлер, расчеты Черчилля неверны. Гитлер снова отложил запланированную речь в рейхстаге, чтобы дать Англии время и возможность принять нужное решение.

Следовало воспринимать Уинстона Черчилля как одного из величайших сынов Англии, поскольку в момент всеобщей слабости он оставался непоколебимым. В сентябре 1939 года перевес в игре великих держав был два к одному в пользу Англии, но летом 1940 года уже два к одному против нее. Побережье Европы от мыса Нордкап и Варангер-фьорда на севере Норвегии до испанской границы находилось в руках немцев, английская армия терпела одно поражение за другим и ретировалась в Британию, бросив все оружие. Вторжение германских войск в Англию казалось неизбежным.

Несмотря на все это, мужество Черчилля казалось неколебимым, ему не изменило его упорство, известно, что в конце концов его страна одержала верх. Верно и то, что среди трех стран-победительниц (США, СССР, Великобритания) Англия больше не занимала первое место, оказавшись только третьей. Британская империя стала более слабой, чем перед войной, и некоторые сравнения неизбежно делались с Первой мировой, в конце которой Ллойд Джордж (премьер-министр Великобритании в 1916 – 1922 годах) начал жалеть о том, что Германия была абсолютно разбита.

Конечно, заманчиво попробовать сыграть на том, сможет ли Англия установить мир с тираном после французской кампании 1940 года, задавшись целью выиграть время и вооружиться точно так же, как удалось сделать ценой Амьенского мира (27 марта 1802 года. – Ред.). Все подобные рассуждения оставим изучающим политику и историю. Правда, мне не совсем ясно, почему англичане отказались помочь оппозиции внутри Германии заключить удовлетворительный мир, даже путем смещения Гитлера. Оказавшиеся в сходной ситуации враги Наполеона повели себя более дальновидно. Они сохранили Бурбонов, как преемников тирана, на которых можно было положиться при строительстве нового порядка в Европе в соответствии с желаниями Англии.

Получаемые нами из Англии в 1940 году сообщения указывали на то, что мы можем ожидать, что британцы пойдут нам навстречу. В воздухе носились призывы к миру. Нам стало известно об одной из таких попыток. Британский посол в Вашингтоне лорд Лотиан предложил установить контакты через квакеров. Такой шаг, отвечавший стратегии английской дипломатии, следовало специально подтвердить. Поэтому мы ответили, согласившись в некотором роде на то, чтобы квакеры устроили встречу между лордом Лотианом и нашим charge d'affaires в Вашингтоне.

Каким же было разочарование, когда Черчилль не ответил на речь Гитлера, произнесенную в рейхстаге 19 июля 1940 года, а лорд Галифакс прислал отрицательный ответ, который, похоже, означал неодобрение позиции Лотиана. Нашему charge d'affaires теперь запрещалось вступать в какие-либо переговоры с Лотианом. Более того, предложение короля Швеции оказать свои услуги Англии и Германии по организации встречи между английскими и германскими представителями было сведено на нет. Едва ли король мог надеяться получить согласие англичан.

Поворотным оказался период с конца июля – начала августа. Гитлер был разочарован позицией Англии. Его, так сказать, советник Риббентроп был вынужден заметить в то время, что Англия потерпела поражение, поэтому ей остается только его признать. Следовало в грубой форме заявить об этом. И прежде всего использовать люфтваффе.

Летом 1940 года эксперты ошибочно считали, что воздушные налеты действуют на мнение англичан, которое оставалось по-прежнему неопределенным и которое надо было толкать в нужном направлении. Как старый моряк, я не верил, что только решительная высадка в Англии может дать желаемый результат. Я придерживался мнения, что успех может быть достигнут внезапной высадкой какого-то количества германских войск на английскую землю, но поступление боеприпасов и подкреплений будет задерживаться до тех пор, пока британцы доминируют на море.

Сам же я в то время обычно говорил, что высадка может произойти в результате деморализации британцев, но не может являться средством раскручивания такой деморализации. Руководители армии считали высадку необходимой, но главнокомандование ВМС не имело твердой позиции по этому вопросу. В середине сентября армейское командование уже настаивало на немедленной высадке. В середине октября 1940 года вторжение «отложили на полгода». 13 сентября 1940 года я заметил: «Мы в начале, а не в конце борьбы».

Когда летом 1940 года Гитлер почувствовал, что Англию нельзя покорить убеждением, он начал искать пути, чтобы ей навредить. В Северной Европе он уже сделал все, что хотел. Что

касается Франции, то он уже завладел ее западным побережьем. Если бы Гитлер смог занять Гибралтар, то, вероятно, получил бы контроль над входом в Средиземное море, поэтому в конце июля или начале августа он обратил свой взор на Испанию. По этому поводу я сделал следующий комментарий: «Италия вступила в войну, когда Франция находилась на последнем издыхании, Испания может выступить только тогда, когда Англия будет повержена».

В германском Верховном главнокомандовании получила распространение идея о разделении мира на «Западное полушарие» и «Восточное полушарие»: в последнее должны были войти Европа и Африка, а доминирующее положение заняли бы Германия, Италия и Испания. Правда, частью плана было то, что базы, находящиеся теперь в испанской собственности, переходили бы к Германии (военно-морские и военно-воздушные базы в Марокко, на Канарских островах и на побережье Гвинейского залива). Испанцам предложили приманку в виде Французского Марокко и изменение границы на Пиренеях. В итоге во второй половине октября состоялась встреча между Гитлером и генералиссимусом Франко, на которой обсуждался вопрос о Гибралтаре.

Во время переговоров испанский лидер приобрел у нашего военного руководства репутацию нерешительного политика, а Серрано Суньер – торгаша. Серрано Суньер не ладил с Риббентропом. Позже, когда он приехал в Берлин, мне показалось, что его не интересует Гибралтарский план. Что же касается вступления Испании в военные действия, а именно такой пункт стоял на повестке дня, то Суньер потребовал плату в виде постоянных поставок продовольствия и других товаров, а также предоставления Испании контроля над соответствующими территориями, в основном за счет французской Северо-Западной Африки.

Следовательно, оказалось совершенно невозможным ожидать вступления Испании в войну и в то же время содействия французов. Дилемма заключалась в том, что мы не смогли достаточно сплотиться с новыми друзьями в борьбе против Англии. В равной степени Гитлер не мог удовлетворить обе стороны, создав теоретическую возможность каждой владеть территориями другой. В результате зимой 1940/41 года начались длительные и непродуктивные переговоры с испанцами и затем с маршалом Петеном – в октябре 1940 года в Монтуре.

В конце весны Гитлер попытался использовать генерала Канариса, имевшего в Испании большие связи, чтобы тот помог ему снискать расположение Франко. Но, пообщавшись со мной, Канарис отказался, не желая, чтобы его использовали как подсадную утку в жульнической игре, которая велась с испанцами. Он выступил против испанского плана, и имел все основания сделать это.

Военно-морские эксперты придерживались мнения, что захват Гибралтара не станет гарантией, что морской путь удастся заблокировать, я сам видел Гибралтар и Танжер, расположенный на африканском берегу пролива, и мог только подтвердить эту точку зрения. Эксперты по сельскому хозяйству заявили, что наше положение с продовольствием не позволяет снабжать Испанию сельскохозяйственной продукцией. Эксперты по ведению наземных военных действий не верили в то, что мы сможем защитить испанскую территорию с ее длинными и непригодными для обороны флангами от внешних атак. Следовательно, для того, чтобы овладеть Гибралтаром, нам следовало углубиться в страну, истощенную годами гражданских распри, неспособную прокормить и защитить себя. Фактически Гитлер развязывал новую Полуостровную войну (Peninsula war – война между Англией и Францией на Пиренейском полуострове в 1808 – 1814 годах. – Ред.), подражая неудачной авантюре Наполеона в Юго-Западной Европе. Подобные рассуждения сами по себе оказывались достаточной причиной, чтобы противодействовать плану, не говоря о других возражениях – прежде всего это новые потери и расширение театра военных действий.

Летом 1940 года мои друзья часто обсуждали, можно ли рискнуть и попробовать прийти к окончательному примирению с Францией; в самый разгар войны предлагалось возвестить о прочном и продолжительном мире, о котором мечтали наши народы. Нападение англичан на

базы французского флота в Оране и других портах и позже в Дакаре оказало нам несомненную косвенную поддержку.

Против этого можно было возразить, что плоды франко-германского соглашения не успеют созреть до конца войны, пока рядовой француз лелеет тайные мысли, что он сможет перехитрить великого ловкача Гитлера. Как и многие другие, я придерживался мнения, что тем не менее нам следует попробовать. У самого же Гитлера были другие намерения, он по-прежнему думал достичь мира за счет Франции. Злая судьба продолжала висеть над нашими двумя странами.

ПЕРЕД ВОЙНОЙ С РОССИЕЙ (осень 1940 – весна 1941 г.)

Новый призрак замаячил на Востоке. Уже через две недели после вторжения во Францию распространилось мнение, что Гитлер не станет соблюдать мир с Россией. А в середине июля 1940 года на восток двинулись первые войска. В начале августа 1940 года в Берлине уже пошли разговоры по поводу войны на Востоке, но все подобные слухи решительно пресекались официальными кругами. Сам я не верил в официальные дѣментѣ и говорил себе следующее, что и записал ниже: «Попытка победить Англию посредством войны с Россией совершенно непрактична». В конце августа я писал следующее:

«Наши отношения с Россией начинают ухудшаться. Молотов заявил, что венгерско-румынский договор явился нарушением русско-германского соглашения о взаимных консультациях, кроме того, есть еще много вещей, которые мы не можем принять, в частности начало сближения рейха с Финляндией и оккупация Северной Норвегии». Не меньшим источником раздражения для России стало, конечно, подписание 27 сентября 1940 года Тройственного пакта Берлин – Рим – Токио.

Назначение этого договора заключалось в том, чтобы еще крепче привязать японцев к странам оси, с нашей точки зрения это означало предупреждение Соединенным Штатам, что если они вступят в войну, то им придется сражаться на двух фронтах, одновременно в Европе и на Дальнем Востоке. Однако и этот и другие договоры разрабатывались и заключались без моего участия, в обстановке строжайшей секретности. Я полагал, что договор с японцами имеет предупредительное значение и не затрагивает ничьих интересов.

Несмотря на то что СССР в нем не упоминался, русские имели все основания беспокоиться по данному поводу. Мне казалось, что в будущем мы не должны делать Москве подобные сюрпризы. Я также говорил, что, хотя у нас нет причин опасаться нападения России, Москва в таком случае может прислушаться к советам англичан и, кроме всего прочего, приостановить поставки, самыми главными из которых для нас было зерно. Тот факт, что объем германских поставок в Россию составлял порядка 200 миллионов марок, мог оказаться вполне благоприятным предлогом для этого. Я надеялся, что между сентябрем 1940 года и весной 1941-го военная активность поутихнет.

С возрастанием наших обязательств по договору изменилась и дислокация наших вооруженных сил. После начала войны площадь завоеванной нами территории на карте выглядела внушительно, но вместе с приобретением территорий увеличилась и нагрузка на наш бюджет. Однако ни Риббентроп, ни те, кто принимал ответственные решения, не отдавали себе отчета в этом, ибо были ослеплены конкретными и видимыми выигрышами.

В июне 1940 года Риббентроп, рассчитывая на длительный мир, который, как ему казалось, уже маячил на горизонте, задумал масштабные перестановки в министерстве, стремясь завершить то, чего не смог сделать Нейрат. Впрочем, и самому Риббентропу также не удалось достичь желаемого. Зная о всегдашнем недоверии Риббентропа к министерству иностранных дел и нашим зарубежным представителям, я говорил, что он должен сказать, на каких чиновников он не может положиться и кого должен уволить, чтобы честно работать с теми, кто останется. Каждый раз Риббентроп вспыхивал от моих слов и кричал на меня, что если бы он знал, кем он может заменить неудобных, то давно бы избавился от тех, кто его не устраивал. Теперь же, когда Франция была повержена, он решил провести свой план и заменить примерно дюжину послов в разных странах людьми из партии, а также уволить массу народу и из самого министерства иностранных дел.

В тот день, когда было подписано Компьенское перемирие, я почувствовал, что должен противодействовать выполнению этого плана и заявить, что, если этот план будет реализован, я подам заявление об отставке. Однако, как оказалось, Риббентропу не удалось заручиться согласием Гитлера, и его замысел рухнул. Некоторое время спустя он дал мне знать, что увольнения чиновников откладываются по крайней мере до тех пор, пока не будет заключен мир.

Из-за начала войны ряд дипломатических постов оказался вакантным. Как традиционно бывало, завоеванные и оккупированные страны во время войны обычно управлялись военными администрациями. Но Гитлер ввел огромное разнообразие систем для разных стран, и практически вышло так, что в каждой из них была своя собственная форма административной системы. Министерство иностранных дел почти не имело к этому отношения. Только с большим трудом нам удавалось сохранять офицеров правительственной связи, через которых мы могли влиять как на официальном, так и на личном уровне.

Оккупационная власть редко пользуется популярностью. Исключением можно считать Данию в 1940 – 1942 годах, когда там сохраняло свое влияние министерство иностранных дел, благодаря чему оккупационный режим здесь был даже менее жестким, чем в Бельгии, где во главе администрации находился генерал фон Фалькенгаузен, известный своей культурой.

В ходе французской кампании наши войска захватили множество военных и политических документов, которые были переданы в руки специальной Разыскной команды, учрежденной Риббентропом. Для изучения этих документов в Берлине отвели специальное здание, где начал работать штат экспертов под управлением посла фон Мольтке.

Некоторые документы относились к Швейцарии, и они повлияли на то, что Гитлер целенаправленно обратил внимание на эту страну, усилив свою неприязнь к ней. Документы ослабили позицию тех, кто, как и я, стремился удержать Швейцарию вне войны. В качестве самого убедительного довода я привел следующий: при нападении швейцарцы взорвут большие Сен-Готардский и Симплонский транзитные туннели (первый из них длиной 14,9 километра, шириной 8 метров, построен в 1872 – 1880 годах, второй – длиной 19,7 километра, шириной 5 метров, построен в 1898 – 1905 годах. – Ред.) под одноименными перевалами. Через эти туннели Италия получала от нас необходимый для нее уголь, без которого за короткое время ее экономика была бы парализована, отчего дуче вскоре пришлось бы заключить мир. Таким образом, мы не только, возможно, не заняли бы Швейцарию, но, несомненно, потеряли бы своего союзника.

Во время войны я не раз слышал об обеспокоенности швейцарцев публичными заявлениями Гитлера о намерении захватить их страну. Из сообщений наших дипломатов мы видели, что швейцарские власти верили в эти сообщения и принимали ответные меры. В то время я считал, что эти гитлеровские «приказы о выходе в поход» происходили под влиянием разговоров в ОКВ по поводу подготовки к оккупации Швейцарии. Однако в результате детального выяснения ситуации оказалось, что это не имело под собой никаких реальных оснований. Если бы намерение вторгнуться в Швейцарию действительно существовало, оно не осталось бы незамеченным нашими информаторами, находившимися в ОКВ.

К сожалению, театр военных действий расширился в другом направлении – в сторону Греции – конкретный и сенсационный факт, к сожалению. С тех пор многое было написано в Италии по поводу безответственности тех, кто инициировал эту кампанию, и прежде всего Чиано. Слетев с тормозов, итальянская политика нашла повод для применения силы.

С германской стороны последовало заявление, что итальянское правительство начало действовать, не предупредив нас. Это не совсем верно. В течение долгого времени мы чувствовали, что итальянцы что-то замышляют. В частности, 29 сентября, во время визита в Берлин, Чиано осторожно говорил мне, что скоро предстоит принять меры безопасности в Греции. Тогда я проинструктировал наше посольство в Риме, чтобы они держались настороже и предупредили нас вовремя. Когда месяц спустя, примерно 25 октября, нам из тайных источников

стало известно, что вторжение начнется через несколько дней, я организовал ясный ответный демарш.

Я отправил недвусмысленные инструкции в Рим, заявив, что мы не позволим, чтобы наш союзник, слабый во всех отношениях, втягивал новые страны в войну, не посоветовавшись с нами, как с партнером. Риббентроп одобрил мое послание, но Гитлер сказал, что он не хочет стычек с Муссолини. Молчание Гитлера послужило для Италии косвенным сигналом реализовать свои намерения, совершив опасный шаг на Балканах. Хотя Гитлер и притворился, причем весьма неискусно, что греческая кампания застала его врасплох, очевидно, что он не до конца поверил, что Муссолини на самом деле решил начать военные действия.

Позже Гитлер описывал греческую авантюру (греки, остановив 200-тысячную итальянскую армию, перешли в контрнаступление и вышвырнули итальянцев из пределов своей страны, углубившись на территорию оккупированной итальянцами Албании. В ноябре в Грецию были переброшены и приняли участие в боевых действиях английские войска. – Ред.) и представившуюся ему возможность прийти на помощь Муссолини как счастливый промысел Провидения. Мне же казалось, что Божий промысел заключался бы в том, чтобы не позволить Муссолини самостоятельно действовать в Греции и позже самому войти на Балканы. Бросив все силы на подготовку русской кампании, Гитлеру следовало бы вести себя тихо. Если бы он так поступил, то, возможно, переключил бы амбиции русских на Средиземноморье и, таким образом, вовлек бы их в более серьезный конфликт с англичанами, считавшими эту зону сферой своих интересов. В результате Гитлеру удалось бы изменить расстановку сил великих держав на Востоке.

Мне можно возразить, что влияние Гитлера на Балканах с его согласия распространялось постепенно, как разливается капля чернил по промокательной бумаге. Ему следовало защищать Румынию в связи с ее значительными нефтяными ресурсами, экономические потребности войны могли неизбежно перевести Гитлера с одного завоеванного поля на другое. Было это или нет снова данью необходимости? Как и в случае нападения на Норвегию, единственным ответом на такие аргументы является то, что никому не следует развязывать войну и нужно делать все возможное, чтобы этого не случилось, если приходится сталкиваться с подобной дилеммой.

Поездка Молотова в Берлин в середине ноября показала, какой круг проблем предстоит решить Гитлеру перед тем, как начать действовать на Балканах. Визит рассматривался Риббентропом как дружественный и был ответным на его собственные визиты в Москву осенью 1939 года. Гитлер же отнесся к нему несколько по-иному. Как я уже писал, его мечта о достижении соглашения с Англией к концу лета 1940 года постепенно угасла, уступив место наполеоновской идее – «разбить Англию в России». Но сначала Гитлер решил еще раз испытать крепость «вечного» союза с СССР, заключенного в прошлом году. До сих пор Гитлер не видел оснований жаловаться на русских, с которыми у него практически не было расхождений в позициях и тем более конфликта интересов.

С моей точки зрения, визит народного комиссара иностранных дел мог означать поворот к лучшему, вопреки явно заметной неискренности, проявившейся даже во время встречи делегации на вокзале, где развевались полотнища со свастикой и флаги с серпами и молотами. Но вместо того чтобы привести к позитивному результату, визит Молотова ускорил созревание планов Гитлера, направленных против Советского Союза. Частично виной тому стал список пожеланий народного комиссара, с которым я смог познакомиться. Все это напоминало встречу между Александром I и Наполеоном в Эрфурте в 1808 году. Молотов выдвинул свои требования точно так же, как и во времена царского режима, только более вызывающе. Он сказал о потребности расширения к югу, к теплым морям, и необходимости учреждения баз в турецких проливах – это всегда было традиционной русской политикой и никого не могло удивить.

Более проблемной в существовавшей тогда ситуации оказалось требование Молотова принять в отношении Болгарии такие же гарантийные права, какие Гитлер уже предоставил Румынии, разделив таким образом сферу интересов на юге. Во время дискуссии Молотов выдвинул новый довод, подняв вопрос о свободном проходе советских кораблей за пределы Балтики. Во внешней политике Молотов казался настоящим мамонтом. Обещания Гитлера о разделе британских владений, когда Англия потерпит поражение, не произвели на него никакого впечатления.

С другой стороны, в Берлине весьма прохладно восприняли частые ссылки членов советской делегации на Бисмарка (в связи с русско-германской дружбой). Хотя внешне Гитлер выказывал некоторое расположение к Молотову, было видно, что последний не проявлял стремления прийти к какому-либо соглашению или вообще не был уполномочен его заключать.

На протяжении всего визита Молотова с обеих сторон ощущалось что-то неискреннее и искусственное. Переговоры шли трудно, поскольку стороны, образно выражаясь, говорили на разных языках. В замке Бельвю, где в Третьем рейхе обычно принимали высоких иностранных гостей, мы никогда не знали, с делегатом какого ранга приходится говорить. Советский посланник, дружелюбный инженер В.М. Скрябин – партийная кличка Молотов (сын приказчика из слободы Кукарка Вятской губернии в 1911 году поступил в Политехнический институт в Петербурге, однако позже не столько учился, сколько вел «кипучую революционную деятельность», за что в 1915 году был сослан в село Манзурка Иркутской губернии, в 1916 году бежал, а затем революция и «непримиримость и беспощадность в борьбе с антипартийными элементами выдвинули В.М. Молотова в ряды выдающихся деятелей партии и государства». – Ред.), – не имел представления о дипломатической профессии и не отличался коммуникабельностью. Во время церемонии проводов Молотова мне довелось отправиться на ангальтский вокзал в одной машине с русским послом, и тогда я заметил, что у него с собой небольшой чемодан. Когда я обратил на него внимание, посол признался, что, сопровождая Молотова, не знал наверняка, вернется ли домой. И в самом деле, вскоре его отозвали, и он навсегда исчез на обширных пространствах России. Его заменил воспитанный и интеллигентный кавказец Деканозов (В.Г. Деканозов родился в 1898 году в Баку в семье контролера нефтяного управления. Учился в гимназии, на медицинском факультете Бакинского института. С июня 1921 года – в ВЧК. До 1931 года на руководящих должностях в органах госбезопасности Азербайджана и Грузии. В 1931 – 1938 годах на ответственной партийной и государственной работе в Грузии. В 1938 году перешел в ГУГБ НКВД СССР (замначальника ГУГБ и начальник контрразвед. отдела и ИНО). Комиссар госбезопасности СССР 3-го ранга. С мая 1939 года замминистра иностранных дел СССР, с ноября 1940 по июнь 1941 года посол в Берлине. До 1947 года замминистра внутренних дел СССР, позже на других должностях. В июне 1953 года арестован в связи с «делом Берии» и позже расстрелян. – Ред.), с которым, как нам казалось, можно было вести переговоры.

Последствием бесплодного визита Молотова в Берлин стал обмен мнениями в письменном виде по инициативе СССР. В свою очередь, за ним последовала серия политических дискуссий между двумя странами. 18 декабря Гитлер дал указание Генеральному штабу сухопутных войск начать подготовку к нападению на Россию. Естественно, что министерство иностранных дел в известность не поставили. Сам же я сделал нужные выводы на основе частной информации, и, когда в конце декабря 1940 года Деканозов занял свой пост в Берлине, я уже верил, что Гитлер решил начать войну против России весной 1941 года.

Текущие дела между Германией и Россией я пытался решать таким образом, чтобы избежать любых жалоб или недопониманий. К моему сожалению, с Деканозовым было невозможно работать в такой доверительной манере, с какой в течение двух лет я работал с Хендерсоном; между нами так и не установились нормальные человеческие отношения. Одной из причин

стал всегда присутствовавший при наших беседах переводчик, поскольку посол говорил только по-русски.

Весной 1941 года Гевель сказал мне, что Гитлер придерживается мнения, что рано или поздно нам придется с русскими воевать, а раз так, то надо начинать прямо сейчас. Наша армия, как говорил Гитлер, отмобилизована и простаивает. Необходимо провести всю кампанию «одним ударом». Мои знакомые, мнением которых я в других случаях дорожил, полагали, что война против России, хотя и не совсем желательная, оказывалась логическим следствием европейской войны как таковой. Некоторые военные верили, что кампания будет короткой и победоносной.

Сам же я без колебаний стал противником этой войны. В январе 1941 года я говорил и даже записал следующее: «Если мы можем убедить англичан, не начиная войну на Востоке, тогда нам не придется расплачиваться за такую войну. Если же нам не удастся склонить англичан на свою сторону, то и война на Востоке нам также не принесет пользы». И еще конкретнее, для простаков: «Не следует искать ссоры с новыми великими державами, не покончив с прежними врагами».

В начале 1941 года я дважды получил возможность представить Риббентропу свою позицию относительно общения с русскими. Первая из них случилась, когда фон Папен, являвшийся послом в Анкаре, посоветовал начать сближение с Турцией. Отвечая ему, я написал, что если бы у нас был выбор на Востоке, чего в настоящее время не наблюдалось, то и в этом случае Турция заняла бы лишь второе место в сфере наших жизненных интересов. Я писал это с тяжелым сердцем, ибо испытывал симпатию в отношении нашего старого союзника. Более значимыми для нас казались отношения с Россией. Позже, в марте 1941 года, когда встал арабский вопрос, я записал: «Единственной угрозой для Англии на арабских землях будет вторжение великих держав, например если бы Россия решила расширить свои границы в данном направлении в соответствии с русскими предложениями от ноября 1940 года». Но восстание в Ираке в феврале 1941 года (1 апреля 1941 года в Ираке произошел государственный переворот, направленный против колониального господства Англии, к власти пришло правительство Рашида Али Гайлани. В Берлине решили оказать помощь этому режиму через Сирию, французские власти которой подчинялись Виши. Спешно составлялись планы всеобщего восстания арабов против Англии (что-то вроде того, что сотворил Лоуренс Аравийский в ходе Первой мировой войны, но против турок). Однако Англия приняла меры. 1 июня английские войска вошли в Багдад, а 8 июля начались бои за Сирию, завершившиеся в июле. Сирия была поставлена под контроль Англии и Свободной Франции де Голля. – Ред.) имело совсем другие причины, германское министерство иностранных дел не имело ничего общего с вовлечением Ирака в конфликт.

Можно было подумать, что война против России не занимала наших итальянских союзников, ибо они никогда не высказывались по данному поводу. В то время они советовались с нами по политическим вопросам только тогда, когда им что-то было нужно или когда они хотели пожаловаться. Итальянские акции плохо котировались на германских биржах. Навещавшим меня в то время немцам я обычно иронически говорил, что оскорбить итальянцев означает нанести оскорбление Гитлеру, поскольку именно он хотел сохранить приятельские отношения с Италией, стимулируя ее в этом же направлении.

Теперь, когда уже целый год итальянцы были нашими союзниками, они вполне могли предостеречь нас, чтобы мы не начинали войну с Россией. Однако никаких предупреждений сделано не было. Напротив, Альфиери, с которым я за это время сблизился, говорил о кампании против России только как о предполагаемой; похоже, что он скорее хотел ее, чем был против.

Похоже также, что Италия рассматривала войну на Востоке как легкое дело. Если бы у нас возникли проблемы, итальянцы, возможно, и не сожалели бы, что Германия пострадала

и пролила кровь. Сегодня из дневников Чиано известно, что 8 июня 1941 года Муссолини заявил, что ничего не имеет против того, чтобы русские немного пощипали немцев. Я же, в свою очередь, был несправедлив к итальянскому послу, когда позже напомнил ему, что война в России была «программой Альфиери».

Мы ошибались, принимая за чистую монету все, что слышали от итальянцев. Их политические амбиции никак не соотносились с военными успехами. Господин фон Риббентроп говорил мне в апреле 1941 года, что, к счастью, итальянцам нечем похвастаться в военном плане и нечего предложить нам в помощь. Нам от итальянцев было только нужно, чтобы их страна оказалась в нашем распоряжении как театр военных действий. Это казалось лучшим выходом из ситуации, чем если бы они стали сражаться на противоположной стороне. Таким образом, Риббентроп предъявлял нашим союзникам по «стальному пакту» и Тройственному пакту более умеренные требования, чем два года назад, когда мы вместе с итальянцами противостояли всему миру.

Конечно, мы не могли не восхищаться той степенью политического успеха, которого они достигли, несмотря на определенные недостатки военного, технического и экономического свойства. Звание великой державы они приобрели только благодаря своим политикам. Граф Вольпи ди Мизурата объявил на приеме в Берлине во время войны, что не следует беспокоиться, Италия будет сидеть на мирной конференции на стороне победителя. В 1943 году Нунцио, уже не в Берлине, говорил мне: «Муссолини перестанет быть итальянцем, если откажется от игры в солдатики».

Другой наш союзник по Тройственному пакту, Япония, в марте 1941 года отправила своего министра иностранных дел Мацуоку в поездку по Европе. Я помнил этого энергичного, экспрессивного японца с короткой трубкой в зубах еще по работе в Женеве, он казался мне человеком склонным к сильным выражениям и грамотным решениям. Как и тогда, в данном случае он был со мной достаточно откровенен. После посещения Берлина и Рима, где он повидал обоих диктаторов, фюрера и дуче, он говорил мне во время обеда, что самым выдающимся человеком из увиденных им был римский папа Пий XII.

Свою точку зрения по поводу того, как нам следует разговаривать с японским министром, я изложил Риббентропу 24 марта следующим образом: «Мацуока по-прежнему настроен на взаимопонимание с Россией и считает, что именно мы побудили его двигаться в этом направлении. Чтобы не вызвать у него удивления и не потерять влияния на японскую политику, нам следует четко объяснить Мацуоке, в каком направлении могут развиваться наши отношения с Россией». На самом деле у меня сложилось четкое впечатление, что Гитлер и Риббентроп хотели оставить Мацуоку в неведении, чтобы избежать с ним разногласий. Я снова никого не смог убедить, и, к сожалению, Гитлер так и не был предупрежден, что японцы возражают против войны с Россией.

Спутник Мацуоки Сакамото выразился более ясно, заявив, что, как только Англия будет повержена, его правительство намеревается вторгнуться в Юго-Восточную Азию и что японцы сделали бы это наверняка, если бы мы высадились в Британии. Однако Гитлер требовал от японцев совсем другого. Он предложил Мацуоке через Риббентропа, чтобы Япония напала на Сингапур, проблему же России мы возьмем на себя, обеспечив безопасность японского тыла на севере.

Нам осталось неизвестным, какие выводы японский министр иностранных дел вынес из этих предложений. Из разговора, происходившего за столом во время обеда, я смог только понять, что, по мнению японцев, русско-германские отношения непоколебимы. Очевидно, что ни Гитлер, ни Риббентроп не предупредили Мацуоку о наших намерениях. Мне показалось, что подобный обман произошел преднамеренно. После заключения Портсмутского мирного договора (23 августа (5 сентября) 1905 года, по которому царская Россия уступила Японии Южный Сахалин, аренду Порт-Артура и Дальнего, Южно-Маньчжурскую железную дорогу, а

также рыбные концессии в русских территориальных водах. – Ред.) границы с Россией оставались самой деликатной проблемой в японской внешней политике, особенно в современной ситуации, когда Япония глубоко завязла в Китае (оккупировав в 1931 – начале 1932 года Маньчжурию, Япония нарушила Портсмутский мирный договор 1905 года. – Ред.). Заключив в августе 1939 года договор с Россией, Гитлер нанес Японии болезненный укол. И теперь, спустя всего лишь два года, он хотел продолжать такие же маневры, только в обратном направлении, с темпераментным японским министром иностранных дел.

Происходившее казалось мне безответственной игрой, нельзя было так поступать с единственным нашим потенциальным союзником. Позволить Мацуоке вернуться домой в таком настроении, возможно, означало конец нашего союза с Японией в тот момент, когда Гитлер должен был вторгнуться в Россию. Подобную нелояльность японское правительство могло считать непростительной и использовать представившуюся им возможность, чтобы переметнуться в другой лагерь.

Поэтому, не мешкая ни минуты, я сделал так, чтобы Мацуока усомнился в истинности безоблачной картины русско-германских отношений, нарисованной Гитлером и Риббентропом. Я побеседовал с японским послом Осимой. Он передал мои слова Мацуоке в поезде, следовавшем из Берлина во Франкфурт-на-Одере.

Не знаю, в какой мере мои слова повлияли на заключение японо-советского пакта о нейтралитете, который японский министр иностранных дел подписал в Москве (13 апреля 1941 года. – Ред.) по пути домой. Если это было действительно так, я не стану жалеть о предпринятом мною шаге. Японии приходилось рассматривать как врагов Англию и Америку и не хотелось навлекать на себя враждебность со стороны России. В подписанном сторонами соглашении все было закономерно, оно соответствовало политическим реалиям. Не говоря обо всем прочем, я заметил в своем дневнике 14 апреля: «Если подвиги японцев помогут удержать Гитлера от войны с Россией, то следует только порадоваться этому. Я продолжаю верить, что русские не стремятся вступать в войну с Германией, даже если бы Сталин и не обнимал публично нашего посла на вокзале со словами: «Мы должны оставаться друзьями».

Возможно, инициатором заключения этого договора стал не Мацуока, а Сталин. А за неделю до этого наступил момент истины на Балканах. До этого к Муссолини так и не пришла удача на греческом фронте. Удачно начавшись в конце октября 1940 года, итальянское наступление захлебнулось, как говорили, из-за дождей, неумения итальянских генералов и, главное, упорной обороны греков. Гитлер высмеял Муссолини за отсутствие военных способностей и не торопился помогать ему. Дальнейшие события развивались следующим образом. В середине декабря Уинстон Черчилль объявил в палате общин, что Англия окажет поддержку Греции. В начале марта 1941 года английские войска высадились на греческой территории (английские войска начали перебрасываться в Грецию и принимать участие в боевых действиях уже в ноябре 1940 года. – Ред.) и действовали там, пока, наконец, Гитлер 6 апреля 1941 года не поспешил на помощь воевавшим здесь итальянцам.

Мне дали болезненное поручение объяснить греческому послу Ризо-Рангабе, дипломату старой школы, что мы больше не можем оставлять в беде наших союзников по «стальному пакту». Когда после начала войны он вместе с женой решил перебраться в Швейцарию, наше главнокомандование помешало ему покинуть Германию. Я попробовал помочь Ризо-Рангабе, но не смог. Вопреки всем правилам международного этикета, ему пришлось жить в Виттенберге на Эльбе.

Другое событие, произошедшее 6 апреля 1941 года, оказалось более brutального свойства. Вначале Гитлер проявлял понимание итальянской ранимости в отношении Югославии. Но когда два югославских министра, после длительных переговоров подписавшие Тройственный пакт, были после возвращения в Белград арестованы и когда одновременно принца-регента Павла принудили отречься от престола, Гитлер посчитал, что ему нанесли личное

оскорбление (25 марта 1941 года премьер-министр Югославии Цветкович подписал в Вене протокол о присоединении Югославии к Тройственному пакту. 27 марта прорусски и проанглийски настроенные офицеры во главе с генералом Симовичем совершили переворот и взяли власть в свои руки. 5 апреля новое югославское правительство подписало договор о дружбе и ненападении с СССР. – Ред.).

Спустя несколько часов после получения известия о перевороте в Белграде он решил, не говоря ни слова Муссолини и без всяких предварительных переговоров, выступить против Югославии. В качестве даты наступления избрали 6 апреля, тот же самый день, что предназначался для вторжения в Грецию.

В то же самое время, когда Гитлер начал войну против этих двух стран, граф Шуленбург сообщил нам из Москвы, что Министерство иностранных дел СССР довело до его сведения, что они заключили договор о ненападении и дружбе с правительством, совершившим переворот в Белграде. Несмотря на вежливую форму преподнесения нам этих новостей, случившееся показалось предупреждающим сигналом, первым раскатом грома в грядущей русско-германской грозе. В тот момент мне казалось, что образование Юго-Восточного фронта стало «подарком для Англии».

Наша информация о положении в Англии и настроениях населения была далеко не полной. В начале 1941 года через Швецию и нашего посла в этой стране князя Видского (Вильгельм, князь Видский (1876 – 1945), в 1913 году его, германского офицера, европейские державы избрали на албанский трон. Был коронован в феврале 1914 года, но из-за внутренней нестабильности покинул Албанию, не отрекаясь от трона. В годы Первой мировой воевал в составе германской армии, а в 1923 году был назначен послом Германии в Швеции. – Ред.) до нас дошли сведения, что Англия хочет организовать встречу Яльмара Шахта и Монтегю Нормана (Яльмар Шахт (1877 – 1970) – выдающийся экономист и финансист, президент рейхсбанка; Монтегю Норман – управляющий (директор) Английским банком, видный сионист. – Ред.), чтобы обсудить проблему германо-англо-американского взаимопонимания. Казалось, что в Англии возникло двойственное отношение к тому, что происходило, и делались попытки урегулирования ситуации.

Сам же я подумал, что попытка такого рода может оказаться полезной, потому что, во-первых, всегда следует пытаться установить контакты с противником. Во-вторых, потому, что германские лидеры, образно говоря, двигались по односторонней улице в направлении Москвы и переговоры с западными державами могли бы столкнуть их с этого пути. Правда, вскоре выяснилось, что за этим предложением не скрывались серьезные намерения.

Поэтому я симпатизировал тем мотивам, которые побудили рейхсминистра Рудольфа Гесса, оказавшегося перед войной с Россией, так сказать, «у позорного столба», предпринять в начале мая 1941 года свою рискованную попытку сохранения мира (неся мир, если так можно выразиться, «на крыльях»). Всем было известно, что Гесс преследовал всех за слухи о мире и даже однажды, в соответствии со своим положением, говорил об этом и со мной. Я расценил его последнюю попытку как наивную, неэффективную, даже вредную и никоим образом не отвечающую поставленной задаче. Возможно, Гесс был даже убежден, что действует в соответствии с намерениями Гитлера. Мне было искренне жаль, когда его старые друзья впоследствии приписывали ему другие недостатки, помимо повреждения ума.

В середине мая, когда Гесс отправился в Англию, наши отношения с Россией в некотором смысле стали спокойнее. Наш посол сообщал, что Москва не ищет неприятностей. Грубый тон зимних высказываний Сталина сменился более примирительным. Вскоре после обнаружения нового договора о дружбе с Белградом Сталин выслал югославского представителя из Москвы. Похожим образом он вскоре поступил с норвежским и бельгийским послами. Таким образом, Сталин вновь попытался установить с нами дружественные отношения. Опасаясь, что Гитлер может не поверить в такую перемену позиции или проигнорирует ее, мы отправили ему

меморандум, составленный послом Шуленбургом и нашим опытным военным атташе генералом Кестрингом, в котором содержались возражения против войны с «неуловимой и призрачной» Россией.

Хотя к тому времени я уже не рассчитывал достичь своих политических целей через Риббентропа, все же я связался с ним по данному вопросу. 21 апреля Риббентроп отправился в Вену на встречу с Чиано. Я не видел его достаточно долго, а он не хотел давать свое согласие, когда я сказал, что хочу навестить его в Вене. И я отправился туда вопреки его желаниям, и, когда мы начали беседовать в отеле «Империал», я заставил его начать разговор по теме, представлявшей для нас обоих главный интерес, то есть о России.

Я поддержал Шуленбурга и Кестринга, противодействовавших войне в России, и заявил Риббентропу, что «эта война станет бедствием». Я хотел, чтобы Риббентроп ни в коем случае не смог в дальнейшем заявить, что его собственное ведомство не предупреждало его. Он промолчал, но весь его вид показал, что он также обеспокоен данной проблемой.

Спустя неделю по телефону меня информировали из Зальцбурга, что Риббентроп занят составлением меморандума для Гитлера, посвященного русской проблеме. В телеграмме предписывалось, чтобы я незамедлительно сообщил о своих доводах против войны. Для выполнения задачи мне отводился всего час. Используя фразы, которые можно было дать без шифровки телеграфисту, я в сжатой форме изложил на полутора страницах те доводы, которые, как я полагал, могли произвести впечатление на Гитлера. Прежде всего я выступил против того, что мы сможем «разбить Англию в России».

«Я, разумеется, считаю, что в военном плане мы вполне сможем наступать на Москву и дальше. Но я сильно сомневаюсь, что мы сможем использовать наши достижения против хорошо известного пассивного сопротивления славян. Кроме того, я не вижу в русской империи никакой потенциально эффективной оппозиции, которая могла бы занять место коммунистической системы... Следовательно, нам, возможно, придется столкнуться с неизбежностью сохранения сталинского режима в восточной части России и в Сибири... Таким образом, окно к Тихому океану будет для нас закрыто. Нападение же Германии на Россию даст Англии моральные стимулы...»

И так далее.

Мне не довелось увидеть, что добавил к сказанному мной Риббентроп перед отправкой документа Гитлеру. Я только узнал, что он полностью одобрил план войны против России. Риббентроп снова упрекнул меня, что я придерживаюсь иной позиции, когда пришло время великих решений. Как он заметил, в первый раз я это сделал осенью 1938 года, во второй раз – в октябре 1939-го, и теперь это произошло в третий раз. На что я смог только ответить, что, поскольку мое сопротивление войне с русскими всем известно, большинство из тех, кто думает так же, как и я, просто не осмеливаются высказать свои взгляды открыто.

Я подозревал, что Гитлер не доверяет военным и хотел бы, чтобы они сражались далеко на Востоке, так чтобы его люди могли полностью контролировать ситуацию в рейхе. Во второй половине апреля он заявил Шуленбургу, что германские послы всегда выступали против войны с теми странами, в которых они были аккредитованы.

В данном случае Гитлер так же бесстыдно лгал Шуленбургу (как когда-то Мацуоке), что немецкие военные приготовления на Востоке носят оборонительный характер. Только перед самым началом войны он снова принял Шуленбурга и заявил ему: «15 августа 1941 года мы будем в Москве, а 1 октября 1941 года война в России закончится». 1 мая 1941 года информатор из штаба Гитлера сообщил, что Гитлер заявил буквально следующее: «Мы покончим с Россией, не прерывая подготовки к войне с Англией. Англия падет в этом же году, независимо от того, начнется война в России или нет. Даже если Британская империя сохранится, Россию необходимо обезвредить».

В первой половине июня 1941 года мы с женой провели несколько дней в Будапеште по приглашению венгерского министра иностранных дел Бардоши. Хорти с супругой любезно принял нас в своей личной резиденции Кендереш (поскольку мы оба пришли в политику из военно-морского флота). Я живо помню те дни, потому что в последний раз нам довелось увидеть цветущую мирную страну.

Вскоре и Венгрия оказалась втянутой в водоворот. В политическом смысле я никогда не соглашался со стереотипными и слишком прямолинейными притязаниями Венгрии на все те земли, что находились под властью короны святого Стефана. Но как долго могла она продержаться, оказавшись между жерновами? С гордым достоинством она приняла свой жребий, и я до сих пор сожалею об этом. Сам Бардоши умер как мужчина.

Примерно в середине июня Гитлер, не прибегая к помощи министерства иностранных дел, информировал Венгрию и Румынию, а также Финляндию и Словакию о дате начала русской кампании. В то же время был подписан договор с Турцией, предусматривающий наше обоюдное невмешательство в дела друг друга. Мне он показался чистой формальностью, поскольку трудно было поверить, что турки станут безучастно смотреть на русско-германскую войну.

18 июня 1941 года, за четыре дня до вторжения, русский посол попросил меня принять его. Гитлер и Риббентроп находились в Берлине, и их главным беспокойством было то, что в последний момент Сталин сделает какие-то шаги к примирению и таким образом помешает осуществить задуманное. Они велели держать на станции под парами локомотивы и намеревались покинуть город в особых поездах, если бы русские выступили с чем-то значительным.

Но Деканозову ничего не было об этом известно, и похоже, его это совсем не волновало. Мы просто обсудили некоторые рутинные проблемы. Теперь, на грани войны, когда Гитлер затаился, как тигр перед прыжком, я мог разговаривать с Деканозовым только о пустяках. Если бы в разговоре с ним я допустил политическую неосмотрительность, это уже не могло предотвратить бедствия. Прежде всего это привело бы к тому, что русский фронт был бы приведен в состояние боевой готовности, что отняло бы дополнительные жизни германских солдат.

В ночь с 21 на 22 июня Деканозов снова навестил меня, на этот раз чтобы пожаловаться, что германские самолеты нарушают границу, однако мне снова пришлось ограничиться формальной беседой. Спустя пять часов, в 3.30, уже утром 22 июня 1941 года, Риббентроп снова принял посла, чтобы поставить его в известность, что война началась. Как рассказывают, Деканозову пришлось проявить настоящую дипломатическую выдержку.

НАЧАЛО ВОЙНЫ С РОССИЕЙ (1941)

Удивительно, что, несмотря на постоянную подозрительность и недоверчивость к партнерам, СССР оказался застигнутым врасплох как в политическом, так и в военном отношении. Возможно, русские считали, что раз война все равно начнется, то это будет происходить постепенно, в традиционной дипломатической манере, то есть путем подачи жалоб, ответов, ультиматумов и только затем военных действий. Но даже недавнее нападение Гитлера на Югославию и Грецию их ничему не научило. Очевидно, Россия думала, что для Германии, находившейся в трудном положении, неразумно открывать второй фронт и игнорировать такой положительный для нее фактор, как нейтральная Россия, которая снабжает рейх сырьем.

И теперь война с Россией наконец началась.

Я был глубоко потрясен. Хотя я выступал против русско-германского договора от 23 августа 1939 года, в равной степени я возражал и против его нарушения 22 июня 1941 года. Следующий неверный шаг последовал незамедлительно. Через неделю после вторжения в Россию Риббентроп предложил японцам, чей «тыл мы будем оберегать от русских», присоединиться к войне против Советского Союза. Иначе говоря, нарушить свой нейтралитет и договор с СССР спустя два месяца после его подписания.

Чтобы побудить японцев принять необходимое нам решение, наше правительство использовало отчаянные меры. 1 июля 1941 года Германия признала прояпонское марионеточное правительство Ван Цзинвэя, находившееся в Нанкине. Это означало разрыв отношений с Чан Кайши, то есть с настоящим Китаем. Жертва с нашей стороны оказалась огромной, но мы не получили никаких благодарностей от Японии. Она не испытывала желания вступать в войну с Россией и не имела для этого оснований. Последняя беседа с китайским послом, одним из культурных, аристократичных представителей своей страны, оказалась для меня необычайно болезненной.

Спустя всего несколько недель стало очевидным, что русские защищают себя более храбро и отчаянно, чем думал Гитлер, что у них больше оружия и танки гораздо лучше, чем мы предполагали. В этих обстоятельствах Гитлер не использовал знакомую фразу о «жестокой необходимости». Он сказал: «Какое счастье, что нам удалось предупредить их действия и мы смогли вовремя предотвратить опасность». Для меня эта формулировка ничего не значила, я полагал, что она насквозь фальшива. Я впал в разновидность политического паралича, мне казалось, что внешняя политика больше не существует. В первые несколько недель после вторжения в Россию я погрузился в рутину, интенсивно занялся организацией того, чтобы граф Шуленбург вместе со своим персоналом германского посольства в Москве мог благополучно вернуться домой через Турцию в обмен на отправку Деканозова. Осуществив поставленную задачу, я позволил себе первый за последние три года отпуск. Мы провели его далеко, отдалившись от мира на знакомом нам северном побережье датского острова Зеландия, и находились там до тех пор, пока не узнали, что наш сын Рихард ранен в России и прибыл в Берлин на лечение.

Я не участвовал в разработке программы перемирия с Россией, которое, как провозгласил Гитлер, должно было состояться в октябре. Вместо этого в августе над Верховным главнокомандованием начали сгущаться тучи, поскольку события развивались совсем не так, как рассчитывали военные. Встретившись с Риббентропом 5 сентября в его поместье Лендорф у Штейнорта в Восточной Пруссии, я нашел, что он вполне откровенен. Риббентроп заявил, что еще до наступления зимы Россия перестанет быть союзником Англии. Но русская кампания оказалась трудной и тяжелой, будет большим счастьем, если мы завершим ее до начала 1942 года. Возможно, мы увидим крушение России, но нам не стоит связывать наши надежды с оппозицией русских генералов, такие генералы встречаются только в Германии или Франции.

Как он заметил, Гитлер полностью погрузился в военные дела и следует избегать любого обсуждения с ним политических проблем, от постоянной жизни в убежище его здоровье также ухудшилось. Он, Риббентроп, лично знакомит Гитлера только с хорошими новостями, в частности рассказал ему, что английские консерваторы, стремившиеся к миру, вскоре, возможно, станут к нам прислушиваться. После некоторых дальнейших политических предложений Риббентроп заметил, что Гитлер не может обойтись без него, иначе бы он, оставив свой пост министра, присоединился с винтовкой в руках к фронтовикам.

Спустя неделю Гитлер оправился от своей депрессии. Из одного надежного источника я вынес следующее суждение о том, что «Гитлер размышляет над вопросом о возможности ухода Сталина. Он считает, что если мы загоним Сталина в Азию, то, возможно, даже удастся заключить с ним мир. Гитлер считает маловероятным, что Сталина ликвидируют генералы. Особую пристрастность Гитлер продолжает питать к Англии. Его видение будущего основывалось на идее, что через некоторое время Германия присоединится к Англии в общей борьбе против США». Эта фантастическая идея часто посещала Гитлера.

Стремительное завершение военных действий в Голландии, Бельгии, Франции, Греции и Югославии имело не только минусы, но и плюсы. Под давлением короткого, резкого натиска Германии, прокатившегося по территориям этих прекрасных стран, они пострадали меньше, чем могли бы в случае затяжной и длительной войны. С другой стороны, быстрые победы породили в Германии иллюзию, что наши вооруженные силы могут без труда победить любого противника.

Гитлеру изменило чувство меры. И его противники, находившиеся внутри Германии, утратили возможную поддержку, поскольку смещение лидера, настолько удачливого в войне, неизбежно встретило бы непонимание среди населения. Только после серьезных перемен народ Германии мог осознать, что достичь мира не удастся, пока Гитлер продолжает оставаться у власти.

Германии предстояло выплакать много слез, прежде чем внутренняя немецкая оппозиция снова зашевелилась. Почти двадцать месяцев прошло с того момента, как германские войска вторглись на просторы России, когда их постигла катастрофа под Сталинградом. (Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года; 19 ноября 1942 года Красная армия после оборонительных боев перешла в наступление, окружив 23 ноября 6-ю армию Паулюса и другие части и соединения, всего около 330 тысяч человек, 2 февраля эта группировка была ликвидирована, разбиты и другие германские силы, а также союзники немцев – румыны, венгры, итальянцы и др. Всего немцы и их союзники потеряли в Сталинградской битве 1,5 миллиона человек (убитыми, пленными, ранеными), советские войска – 1,03 миллиона человек. – Ред.) Только тогда германский народ протер глаза и начал спрашивать, кто виноват в случившемся.

Теперь едва ли оставалось место для политической активности в традиционном понимании этого слова. Летом 1941 года я стал сомневаться, что западный мир по-прежнему представляет собой единое целое. Лично для меня это означало, что дипломатический корпус в Берлине сузился до минимума, да и внутри этого дипломатического корпуса моя сфера деятельности в Берлине строго ограничивалась. Поэтому мною овладели беспокойство и раздражение.

После начала войны в России я решил постепенно свернуть свою деятельность в Берлине и занять пост за рубежом. В соответствии с задуманным, в сентябре 1941 года я сказал Риббентропу, что хотел бы стать послом в Ватикане, как только эта должность освободится. Почтенным и доверенным лицом, занимавшим эту должность, был тогда фон Берген, который болел и уже превысил возраст, традиционный для отставки.

Ситуация сложилась так, что, находясь в Берлине, я вряд ли мог предотвратить расширение войны, тогда как, будучи в Ватикане, я имел бы возможность проявить свое влияние.

Внешне этот пост выглядел весьма пристойно, и я смог бы на нем продержаться, пока не наступят те времена, когда можно реально вмешаться в ситуацию на родине.

Однако мне пришлось ждать полтора года, прежде чем мое желание осуществилось. И в этот промежуток, с осени 1941 года до весны 1943-го, по-прежнему были большие возможности для помощи внутри министерства иностранных дел, чем за его пределами; этот период оказался самым нерезультативным за все время моей работы в должности статс-секретаря.

Вопреки своим привычкам я стал читать политические лекции, сначала частным собраниям адвокатов, позже старшим офицерам военного флота, в академии военно-воздушных сил, на собрании Потсдамского полка, в котором служили наши сыновья. Я дал лекциям следующее название: «Цели наших военных противников» – и, завершая их, я обычно делал следующее беспристрастное заключение: «Противник не хочет заключать мир с Гитлером. Переговоры о мире возможны только с сильной в военном плане страной; Германия, потерпевшая поражение, станет легкой добычей, брошенной волкам. Должно быть ясно, что конец Германии Гитлера – это еще не конец великой Германии».

Повторяя этот тезис, я хотел обратиться к здравому смыслу моих слушателей. Я хотел, чтобы они поняли, что прекрасная Германия вовсе не хотела следовать далее за Гитлером в катастрофическую бездну. Существовавшей внутри Германии оппозиции приходилось осознавать, что дальше нельзя ждать и быть безучастной. И я получал удовлетворение, осознавая, что меня поняли. На моей лекции в Потсдаме также присутствовал фон Хассель. Хотя мы больше не находились в приятельских отношениях, после окончания моей лекции он, обратившись к собравшимся, сказал: «Способный слышать да услышит его».

Среди моей аудитории в Потсдаме оказался капитан Аксель фон дем Буше, один из самых бесстрашных воинов, показавших свою храбрость на фронте, его легко оказалось убедить, что для спасения мира недостаточно было добиться только перемены режима, позже он и действовал соответственно.

Иногда я обсуждал внешнеполитические проблемы с фон Шлабрендорфом. Приезжая в Берлин из своего штаба, находившегося на Восточном фронте, он обычно навещал меня, чтобы дополнить картину сложившейся ситуации и получить новые аргументы для предполагаемых действий, направленных против Гитлера.

ЯПОНИЯ И США ВСТУПАЮТ В ВОЙНУ (декабрь 1941 г.)

Хотя в германской внешней политике времен войны было мало хорошего, я должен заметить, что в отношении Соединенных Штатов Германия долго проявляла сдержанность. Заслуга в этом принадлежит министерству иностранных дел и некоторым другим департаментам, расположенным в Берлине, таким как ведомство, управлявшее собственностью противника. Я был удивлен, что наше высшее руководство так долго мирилось с их существованием и деликатной деятельностью.

С осени 1938 года в отношении Германии Рузвельт не соблюдал общепринятые нормы мирного сосуществования. Фактически президент еще раньше проявил себя как явный противник Гитлера в войне. Он всячески способствовал созыву Мюнхенской конференции, но сразу после нее его позиция изменилась.

Именно Вашингтон, а не американский посол в Берлине на самом деле взял на себя руководство политической деятельностью, направленной против Германии. С начала войны в 1939 году Соединенные Штаты шаг за шагом все больше и больше сходились с нашими противниками и, наконец, начали открыто сотрудничать с ними всеми возможными способами, то есть фактически действовать почти как их союзники. Мы всеми силами старались избегать обострений, отвечая на их политические, экономические и военные провокации так, чтобы обходить острые углы. Пока внешняя политика контролировалась министерством иностранных дел, мы всегда отставали с ответом на действия американцев, иначе война с Америкой началась бы значительно раньше. Но теперь ареной борьбы становился Тихий океан.

Утверждается, что, кроме всего прочего, именно Германия вовлекла Японию в войну. Действительно, Гитлер подталкивал Японию к войне с Англией и затем с Россией, но не с Соединенными Штатами. По чисто конъюнктурным соображениям Гитлер хотел избежать конфликта с США. Со своей стороны правительство в Вашингтоне никогда не указывало на то, что станет сожалеть, если Япония нанесет удар по владениям Англии, например по Сингапуру, как *casus belli* {Повод для войны, формальный повод к объявлению войны.}. Но прежде всего, было бы неверным переоценивать влияние Германии в Тихоокеанском регионе и считать, что в Токио стали бы прислушиваться к любым пожеланиям Германии.

Интересующемуся войной на Дальнем Востоке могу порекомендовать историю Ялтинской конференции, проходившей в феврале 1945 года, где в обмен на участие в войне против Японии России пообещали контроль над Маньчжурией, не говоря уже о Курилах и половине Сахалина, которых у них до этого не было (Россия потеряла Южный Сахалин после поражения в Русско-японской войне 1904 – 1905 годов по Портсмутскому договору, а Курилы были уступлены Японии раньше, в два этапа – в 1855 году (Южные Курилы) и в 1875 году – остальная часть Курильской гряды. – Ред.). Для Москвы возвращение этих территорий стало настоящим подарком, полученным из рук американских миротворцев. (Возвращение Курил и Южного Сахалина, занятие Маньчжурии и Северной Кореи были не подарком, а результатом блестяще проведенных операций: грандиозной Маньчжурской (9 августа – 2 сентября 1945 года), Южно-Сахалинской (11 – 25 августа) и Курильской (18 августа – 1 сентября). – Ред.) В настоящей книге я не обсуждаю вопрос целесообразности войны с точки зрения Вашингтона. «Рузвельт проиграл», – говорил один из бывших послов в Европе.

У Гитлера не оказалось ничего, что он мог бы подарить японцам на Дальнем Востоке. Не стоит описывать безрезультатные попытки Германии распространить свое влияние на Токио летом и осенью 1941 года. Даже во время визита в Германию Мацуоки весной 1941 года я не мог избавиться от ощущения, что когда-нибудь мы увидим японцев в другом лагере.

Нам также было известно, что влиятельные промышленные круги в Токио вели работу по подрыву Тройственного пакта. Мацуока вынужден был признаться Гитлеру, что, вернувшись домой, он не сможет откровенно рассказать главе кабинета и даже императору о тех доверительных беседах, что он вел в Германии. Решение Японии вступить в войну не зависело от иностранного влияния. Хотя в 1938 году я и пытался сказать Риббентропу, что ему не следует так суетиться с японцами. Они или совсем не придут к нам на помощь во время войны, или примут решение самостоятельно, исходя исключительно из своих шансов на успех.

Спустя неделю Мацуока покинул Берлин, а затем, вопреки желанию Гитлера, заключил в Москве договор о нейтралитете с СССР. Не прошло и месяца после его отъезда, как мы услышали о тайных переговорах между японцами и американцами. Вплоть до ноября 1941 года, пока кабинет продолжал оставаться у власти (16 октября кабинет Коноэ {Коноэ Фумимаро (1891 – 1945) – премьер-министр Японии в 1937 – 1939 и 1940 – 1941 годах, после капитуляции Японии покончил с собой. (Примеч. ред.)}, прозванный в Японии «правительством японо-американских переговоров», вышел в отставку. – Ред.), японская политика оставалась для нас закрытой. Принц Коноэ даже обращался с посланием к Рузвельту, предлагая провести дружескую встречу в миссии Курусу. Но позже произошло нападение на Перл-Харбор (уже при кабинете Тодзио, бывшего в предыдущем кабинете военным министром. – Ред.). Все это случилось без нашего ведома, никто с нами не советовался и не ставил нас в известность.

Теперь известно, что приготовления к нападению на Перл-Харбор начались в начале мая 1941 года, а 10 ноября был отдан приказ о нападении 8 декабря. (Решение начать войну против США 8 декабря было окончательно принято 1 декабря, на совещании у японского императора. – Ред.) Восторженные инструкции Риббентропа нашему послу в Токио Отту и его политические дискуссии с японским послом Осимой в Берлине оказались плодом самообмана.

21 октября 1941 года меня поставили в известность, что Гитлер не ожидает многого от нового кабинета Тодзио и даже обеспокоен возможностью, что Тодзио объявит войну России. Гитлер считал, что, «если Россия падет, а Англия захочет заключить с нами мир, Япония будет нам просто мешать». Мне было трудно поверить в то, что Гитлер хотел втянуть японцев в войну, когда он нагло объявил всему миру 9 октября 1941 года через главу пресс-службы Дитриха, что война с Россией предрешена и Германия уже победила. В Берлине прекрасно знали, с какой горечью наши войска, увязшие в тяжелых боях, приняли это заявление о том, что исход войны на Востоке уже решен.

Гитлер поступил бы более рационально, если бы побеспокоился по поводу возможной потери Японии как союзника. Почему американцам так и не удалось оторвать эту третью часть Тройственного пакта? Возможно, кроме всего прочего, в Вашингтоне хорошо знали положение на Дальнем Востоке, помнили, как началась Русско-японская война 1904 – 1905 годов. Я сам знал не понаслышке, как японцы без предупреждения напали на русский флот в Порт-Артуре и Чемульпо.

Удивительно, что в Вашингтоне, строя свои политические расчеты, верили, что японцев можно напугать, надавив на них в известной ноте, врученной им госсекретарем Хэллом 26 ноября 1941 года. Напротив, нота стимулировала японцев к тому, чтобы найти выход из тупика. Серьезные американские исследователи этих событий склонялись к тому, что Вашингтон не ошибся в расчетах, но на самом деле хотел заставить Японию сделать первый выстрел. И преуспел в этом.

В конце ноября 1941 года посол Осима поведал Риббентропу, что в ближайшем будущем следует ожидать высадки японцев в Сингапуре, что же касается России, то Япония продолжает быть наготове. Продолжающийся мир между Японией и Россией, возможно, следовало считать невыгодным с военной точки зрения, но в политическом плане такой расклад казался полезным. Осима не сказал во время этого разговора о японском нападении на США.

Тем временем война продолжала раскручиваться, всем было очевидно, что Соединенные Штаты не могут больше медлить и им необходимо вступить в войну против стран оси. Следовательно, Японии приходилось выбирать: или она переходит на другую сторону и оставляет свои так тяжело завоеванные территории в Китае, или остается верной своим союзникам и ведет себя соответственно.

В то, что Япония собирается совершить прямое нападение на Америку, мы не верили даже тогда, когда в первую неделю декабря сначала через Рим, потом через Осиму нас спросили, станем ли мы в случае войны между Японией и Америкой считать себя в состоянии войны с Америкой, причем не заключим ли вскоре перемирие с общим противником, не проконсультировавшись с Японией.

Наш ответ мог быть только утвердительным. За восемь месяцев до этого Гитлер уже пообещал Мацуоке, что поддержит его страну, если нападение на Сингапур вызовет конфликт с Соединенными Штатами. Удивительно не только то, что Япония предприняла независимые и неожиданные действия против Америки, но и что наше руководство сначала расценило известие о нападении на Перл-Харбор как газетную утку – но, более того, выступая после Перл-Харбора в рейхстаге, Гитлер заявил о намерении объявить войну Соединенным Штатам, а в качестве довода сослался на наши обязательства по Тройственному пакту. С законодательной точки зрения подобное утверждение было неточным, а в политическом отношении ошибочным. Риббентроп прокомментировал случившееся следующим образом: «Великие державы никому не позволят развязывать войну. Они объявляют ее сами».

Все это было теорией, а в отношении обсуждаемой проблемы даже казалось несерьезным. Выходило, что страны мира располагались в определенном порядке в соответствии со своим правом объявления войны. Риббентропа всегда интересовала проблема прецедента. Возможно, он теперь жалел, что западные державы объявили нам войну 3 сентября 1939 года, а не мы им. И разве США, оставшиеся одной из великих держав (в соответствии с теорией Риббентропа), не обладали правом объявить войну?

Даже те, кто не соглашался с решением Рузвельта о начале войны, не сомневались в том, куда приведет такая политика. В 1940 году американский президент направил в Англию более пятидесяти эсминцев для борьбы с подводными лодками и наложил эмбарго на экспорт оружия. Затем в 1941 году последовал билль о ленд-лизе, нейтральное патрулирование Атлантики, оккупация Гренландии и Исландии, помощь Советской России из «Арсенала демократии», выдворение германских консулов, замораживание германских вкладов, Атлантическая хартия и, наконец, приказ Рузвельта открывать огонь по немецким кораблям.

Перечисленные мною события подтверждали слова Самнера Уэллеса, сказанные им в Риме еще 20 марта 1940 года, что Англия и Франция уже выиграли войну, а Америке придется обеспечивать их победу всей своей мощью. Не стану подробно отвечать на вопрос, оказало ли объявление Гитлером войны США после Перл-Харбора значительное влияние на ход войны в целом.

В лекции, произнесенной мной в первой половине октября 1941 года, то есть за два месяца до событий в Перл-Харборе, я подвел итог всем своим впечатлениям, может быть даже в слишком резкой форме, выразив их следующим образом: «Каждый день Америка требует себе некоторую часть английского материального и политического капитала. ... Англия хочет выиграть войну быстро. Америка вовсе не торопится».

Я не сомневался, что в случае необходимости Америка бросит всю свою мощь на весы. Однако в отношении американской политики я думал, что американцы должны видеть две соперничающие диктаторские системы, боявшиеся друг друга, балансирующие на грани и мечтающие парализовать друг друга на длительный срок. Когда стало очевидным, что победа русских неизбежна, мне казалось, что США возьмут Россию на короткий поводок. Я так и не понял, почему этого не произошло и, напротив, США поддерживали своего будущего против-

ника. Президент Рузвельт не должен был бояться того, что если Америка не принесет всевозможные жертвы Сталину, то Сталин и Гитлер (несмотря на все то, что произошло) падут друг другу в объятия и снова станут друзьями.

В России Гитлер действовал суровыми методами. Он рассматривал оккупированные территории исключительно как источник для поддержания германской боеспособности. С сентября 1941 года я говорил Риббентропу, что с русским населением следует обращаться пристойно, руководствуясь словами короля Сигизмунда из «Деметриуса» Шиллера: «Россию может победить только сама Россия».

Но Гитлер не хотел ничего слышать, и менее всего он хотел прислушиваться к любым гуманистическим доводам. Он оказался совершенно невосприимчивым к идее, что с Россией надо быть великодушным, или к идее, согласно которой будущее устройство Европы должно основываться в первую очередь на экономической солидарности. Не нужно было быть пророком в своем отечестве, чтобы понять, что Европа слишком мала, чтобы существовать в виде создающей беспорядок массы независимых государств. Вместо того чтобы говорить о силе, войне и победе, нам следовало раз и навсегда обсудить вопрос нового порядка в Европе, а население как внутри, так и вне Германии должно было понять наши истинные интересы.

Гитлер не хотел ни во что вмешиваться, оставив все как есть до полной победы, до «последних пяти минут». Именно поэтому я попытался повсюду убедить людей и увлечь их идеей создания конкретного плана действий в Европе, предлагая такую программу на тех лекциях, которые читал. В Верховном главнокомандовании мне дали понять, что мирные планы Гитлера экстравагантны и далеки от пробуждения в людях мирных идей, поэтому они вызывают новую волну ненависти. В этом случае, как я думал про себя, немцы откроют глаза и убедятся, до какой степени Гитлер позволяет литься их крови.

В ноябре 1941 года в Берлине, вместо того чтобы предложить созидательную программу, в которой была заинтересована Германия, Гитлер выступил в поддержку «антикоминтерновского пакта». Но едва ли его демарши кого-либо впечатлили. Датчане неохотно соглашались с договором, финны беспокоились по поводу своих запасов продовольствия, у венгров были проблемы с румынами и словаками. Однако встреча в Берлине прошла совершенно гладко. Производило впечатление число присутствовавших министров иностранных дел. Сам я записал в связи с этим следующее: «Из всех гостей фон Бардоши (Венгрия) оказался самым строгим, Антонеску (Румыния) – самым изворотливым, Тука (Словакия) – восторженным, Лоркович (Югославия) – старательным, Попов (Болгария) – сдержанным, Скавениус (Дания) – находчивым, Чиано (Италия) – беспристрастным, Серрано Суньер (Испания) – темпераментным».

Суньер оказывал мне особые знаки внимания, выказывая свое расположение; как мне показалось, он делал это, чтобы досадить Риббентропу, которого он ненавидел. Мне нравилась манера поведения датского министра. Он приехал из Копенгагена в Берлин с рядом конкретных возражений в соответствии с той ролью, какую ему довелось играть. Риббентроп заявил мне, что готов арестовать Скавениуса прямо на штеттинском вокзале, поэтому я встретил его лично и без всякого труда устранил все разногласия между нами. В результате после двухчасовой беседы с Риббентропом Скавениусу удалось настолько очаровать его, что в конце ее Риббентроп не только согласился с его предложениями, но и заявил, что Скавениус весьма приятный человек.

Сама же конференция имела весьма небольшой пропагандистский эффект. Особенно комично прозвучала речь Риббентропа на банкете, так как ее содержание не имело ничего общего с целями конференции. В ней он объявил, что пусть история решит, смог ли он предвидеть вступление Англии в войну в 1939 году и давал ли он верные советы фюреру.

Ему могли бы возразить много свидетелей, но лишь один из них, Чиано, волей случая оказался на конференции. Даже если бы Риббентроп на самом деле предвидел, как должны были развиваться события в 1939 году, разве это могло бы оправдать его за тот совет, данный

им летом 1939 года? Ничего нельзя было изменить, и после нападения на СССР война на два фронта стала неизбежной, в чем всегда обвиняют Гитлера. Однако и он, и Риббентроп сознательно уготовили Германии такую же судьбу, какая ее уже постигала в 1914 году.

ВРЕМЯ КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА В ВОЙНЕ (конец 1942 – начало 1943 г.)

Когда поднявшийся прилив начинает затем отступать, говорят, что начался отлив. В конце 1941 и начале 1942 года даже самые недалёковидные наблюдатели могли увидеть признаки начавшихся перемен.

Первым сигналом стали кадровые перестановки в высшем военном руководстве. Гитлер уволил в запас фельдмаршала фон Браухича, приняв на себя должность Верховного главнокомандующего. Вместе с фон Браухичем были отстранены от командования другие весьма достойные руководители. Мой старый друг Герман Гейер неожиданно появился в моем доме, прибыв в Берлин на машине прямо с Восточного фронта, где ему пришлось оставить командование своим корпусом, не получив другого назначения. Мы уже знали от нашего сына Рихарда, находившегося в той же дивизии, что недалеко от Москвы их потеснили и теперь они вынуждены отступить при жесточайших морозах.

В то же время со стороны наших противников начала подниматься политическая волна. К 1 января 1942 года уже двадцать шесть стран объединились против нас под названием Объединенных Наций. Под давлением Вашингтона или по собственной инициативе все большее число государств в Центральной и Южной Америке разрывали с нами отношения.

Как я уже писал, Риббентроп считал, что объявление войны малыми странами унижает Германию как великую державу. Вот почему он распорядился, чтобы документы объявления войны принимались не ведущими чиновниками министерства иностранных дел, а низшими по рангу, например сотрудниками Американского департамента. Но как только количество объявлений увеличилось и это перестало его устраивать, Риббентроп распорядился, чтобы подобные заявления не принимались вовсе. Тогда ему указали, что в этом случае иностранные дипломаты должны будут оставлять свои заявления у привратника министерства иностранных дел. На что Риббентроп ответил, что и ему запрещается принимать их. В этом случае послания будут опускать в почтовый ящик, закрепленный на дверях министерства. Ну что ж, сказал он, тогда мы уберем ящик. Но как же тогда иностранным государствам следовало объявлять войну великому германскому рейху?

Когда же наступит конец войны? Этот вопрос мне часто задавали в конце 1941 и начале 1942 года. Я мог только ответить: «Теперь уже скоро». Гитлер не хотел идти ни на какие соглашения со Сталиным, Рузвельт, Сталин и Черчилль не намеревались заключать мир с Гитлером. Мы оказались в *impasse* {Тупик (*фр.*)}, из которого нельзя было выбраться. В конце апреля 1942 года в Зальцбурге Муссолини несколько раз повторил свои требования относительно передачи ему территорий Ниццы, Корсики и Туниса.

Ни один из наших партнеров по оси не показывал стремления к миру, ибо все они не доверяли друг другу. Ни одно новое проявление нелояльности не показалось бы экстраординарным, даже в том случае, если бы Гитлер заявил западным державам: «*Lâchez la Russie, et nous lâcherons le Japon*» {Бросьте Россию, тогда мы бросим Японию (*фр.*)}. Однако ничего подобного не случилось. В то время мне довелось услышать по радио резкое выступление Черчилля, заявившего, что Англии остается только «выиграть или умереть». Русские стали сильнее требовать открытия второго фронта в Европе, Англия многим жертвовала для своего советского союзника и американского кузена.

С другой стороны, руководители рейха жили в мире военных химер. Вначале они говорили, что встретятся с японцами в Сибири. Теперь представляли, что сделают то же самое, перейдя через Суэц или в Басре. Они мечтали о захвате в клещи Египта одновременными ударами из Палестины и Ливии. В соответствии с отданными мною приказами я установил отно-

шения с иерусалимским муфтием, получив при этом эстетическое удовольствие от восточной манеры ведения переговоров. При этом я всегда придерживался точки зрения, что все наши комбинации на Ближнем Востоке происходили в отрыве от реальности и только наши любители от политики и стратегии могли серьезно принимать происходившее.

Германия в 1942 году находилась в таком военном и экономическом положении, что уже не осталось страны, которую мы убеждением, давлением или силой могли бы вовлечь в нашу орбиту. Несомненно, в 1942-м Германия стала сильнее, но и возможности наших противников также неизмеримо возросли. Когда государственные деятели сталкиваются с ограниченностью возможных действий во внешней политике, они переключаются на внутренние проблемы. Так случилось и с нами. На первый план вышли вопросы организации и компетентности руководства. Вопрос характера наших связей с вооруженными силами привел к новой стычке между мной и Риббентропом, во время которой он совершенно вышел из себя, так что я снова предложил уйти в отставку.

Когда обсуждались церковные проблемы, Риббентроп не так сильно настаивал на своем и слушал других. Вопрос о компетенции возник в связи с запросами римских иерархов. Учитывая интересы германской католической церкви, ей тем не менее запретили распространять свою деятельность за пределы границ Германии до марта 1938 года. Поскольку Ватикан еще официально не признал перемены в суверенитете, состоявшиеся после этой даты, его представителям в Германии запрещалось действовать на оккупированных территориях.

Мне лично не совсем было ясно, кому из наших высших руководителей принадлежала идея пойти против Рима. Возможно, Борману, самому преданному стороннику Гитлера. Перед этим прошла долгая дискуссия между иностранной организацией партии и представителями Вартеланда (польской территории, аннексированной Германией), в которой гаулейтер Грейзер пытался доказать существование на данной территории некой автохтонной католической церкви. Соответственно, нунцию запретили вмешиваться в его дела. Мне пришлось несколько месяцев спорить с гаулейтером по данному вопросу. Когда я наконец был вынужден подчиниться нацистским руководителям, мы с нунцием сделали все, чтобы уклониться от выполнения навязанных нам решений.

Папский нунций, реалистически мыслящий миланец Цезарь Орсениго, предпочел избежать создания бесполезных разногласий между католической церковью и Третьим рейхом по принципиальным вопросам. Однако столь дипломатичная позиция с его стороны, как мне казалось, не пользовалась поддержкой в церковных кругах. Считая, что церковь на самом деле вовсе не стремится к обострению отношений с Третьим рейхом, я не присоединился к той критике, которой подвергался Ватикан и его представители.

Конкордат, заключенный в 1933 году с Третьим рейхом, предусматривал, как говорилось в ватиканском обращении от июня 1945 года, «противостояние всеобщему злу». Поэтому Ватикан проявлял мудрое терпение, подразумевающее, что их дело победит. Действительно, это оказалось лучше, чем любое законодательное урегулирование. Церковь преднамеренно избегала крайностей, но даже при этом не смогла отказаться от своей наступательной позиции.

Протестантская церковь была в более сложном положении, ибо, в отличие от католиков, не располагала поддержкой из-за границы. Это было подтверждено проведенным по распоряжению Гитлера интернированием пастора Нимеллера, в прошлом темпераментного командира старой германской подводной лодки. Находясь в заключении, он не мог предпринимать никаких действий против своего главного оппонента, мюнстерского епископа графа Галена. Чтобы отвести угрозу от Нимеллера и защитить других протестантов, мы не смогли опереться ни на протесты евангелического нунция, ни на внешние силы. Фактически, если бы король Швеции или президент Финляндии предпринял какие-либо шаги в пользу германских протестантов, это сильно поддержало бы их.

В похожей ситуации находились и евреи. Многочисленные человеческие несчастья и несправедливости войны сильнее всего отразились в судьбе, постигшей евреев. (Менее известно, но, видимо, еще более страшен геноцид, которому подверглись белорусы (погиб, по разным данным, каждый четвертый или каждый третий белорус, 2,2 – 2,5 миллиона человек – в основном в ходе карательных акций немцев и их прислужников из латышских и эстонских формирований), а также сербы – каждый пятый серб (около 1,5 миллиона) погиб в боях либо (мирное население) от рук хорватских фашистов-уасташей и части боснийских мусульман, прислуживавших немцам. – Ред.) Их единственной защитой оказалось сочувствие мировой общественности. Глубокая ненависть Гитлера к евреям, приобретенная в молодости в Вене, была перенесена им в Германию (где укрепилась в двадцатых годах, в период революций, разрухи и национального унижения. – Ред.), где он распространил эту ненависть на все сферы жизни.

Министерство иностранных дел было косвенно связано с еврейским вопросом, поскольку он затрагивал отношения со многими иностранными государствами. В меру своих сил мы пытались использовать связи с этими странами для противодействия дискриминации и депортации евреев, осуществлявшейся Гитлером и его сообщниками.

Однако возможности наши были ограничены, поскольку мы не участвовали в выработке способов решения еврейского вопроса, не могли обращаться к министру иностранных дел, чтобы отстаивать свои взгляды. Равным образом мы не могли обратиться ни в полицию, ни в службу безопасности, через которых мы обычно действовали из чисто человеческого чувства сострадания.

Даже такие всемирно признанные учреждения, как Международное общество Красного Креста или Римско-католическая церковь, обычно оказывавшие поддержку евреям, не считали возможным обращаться к Гитлеру или открыто высказывать свое несогласие с происходившим. Стремясь помочь евреям, эти организации избегали открытых высказываний и действий, поскольку опасались, что в условиях рейха они могут скорее навредить, чем помочь евреям.

Поняв, что лобовая атака результата не даст, мы делали то, что по-человечески оказывалось возможным в каждом конкретном случае, используя разнообразные обходные пути.

Следуя мудрому правилу адмирала Канариса, считавшего, что нельзя упускать ни одного шанса, от бесплодных демонстраций своего несогласия мы перешли к тайной дипломатии, чтобы помочь там, где предотвратить случившееся уже было нельзя. Не поднимая особого шума, мы передавали сведения о творящихся беззакониях Всемирному совету церкви и Международному обществу Красного Креста. Мои старые друзья по генеральному консульству в Женеве – Крауэль, фон Кессель и фон Ностиц – упорно сражались, отстаивая правосудие и человеческое достоинство, и, несмотря на трудности, кое-чего добивались.

Услышав о массовых убийствах евреев и других жителей России (всего на оккупированной территории СССР было преднамеренно истреблено 7 миллионов 420 тысяч человек, погибло на принудительных работах в Германии 2 миллиона 164 тысячи, от жестоких условий оккупации (голод, инфекции, отсутствие медицинской помощи) 4 миллиона 100 тысяч; всего 13 миллионов 684 тысячи, из них около 1 миллиона 200 тысяч евреев. – Ред.), находившихся на занятой нашими войсками территории, я требовал от Риббентропа, чтобы он принял энергичные действия против этих зверств в целом. Мне никогда не довелось узнать, какова была его реакция на все это. Для меня еврейская проблема в целом переросла в большую общую: как быстрее всего заключить мир без Гитлера? Пока проблему не решили, мы должны были по мере сил помогать евреям, равно как и церквям, сохранив остатки законности, безопасности, свободы и порядочности в Третьем рейхе. Следовало воздействовать на бациллу, порождавшую болезнь, а не на ее следствие.

Занимаясь проблемами, в которых он не мог опереться на свой аппарат (в еврейском вопросе, отношениях с партией, полицией и др.), Риббентроп стремился использовать более подходящие средства. В своей частной резиденции в берлинском районе Далем он встречался

с бизнесменами. Одного из них, энергичного и не очень разборчивого в средствах Мартина Лютера, он даже устроил в министерство иностранных дел, поручив ему разработку предполагавшихся там реформ.

За короткое время этот реформатор поднялся по служебной лестнице в министерстве иностранных дел, добравшись до должности помощника статс-секретаря. Внешней политикой он не занимался, но во всех остальных случаях и прежде всего в кадровых вопросах был доверенным лицом Риббентропа. Мартин Лютер выступал от его имени в переговорах с полицией, другими министрами и особенно с «заклятым другом» Риббентропа Генрихом Гиммлером.

Я был доволен тем, что, стремясь дистанцировать аппарат этого Лютера от нашего министерства, Риббентроп разместил его в особом здании, которое находилось на некотором расстоянии от министерства иностранных дел, рядом с зоопарком. Но, даже находясь там, этот негодяй был все же достаточно близко, чтобы вмешиваться, если мы пытались помочь конкретным людям (в тех случаях, когда оказывались невозможными другие способы).

Единственной страной, где министерство иностранных дел пользовалось относительной свободой, оставалась Дания. Летом 1942 года, проводя недельный отпуск на берегу пролива Каттегат, мы с женой не ощутили никакого недружелюбия от местного населения. Правда, вскоре разразился конфликт. Находившийся в гармонии со своим бережливым характером и обычаями король весьма лаконично ответил на одну из обычных поздравительных телеграмм Гитлера – думаю, что она была послана в связи с его днем рождения. Прочитав такой ответ, Гитлер счел его оскорбительным. В результате он отозвал нашего посла фон Ренте-Финка, заменив его полицейским генералом доктором Бестом, не имевшим дипломатического опыта. Вдобавок, отправляя генерала в Копенгаген, Гитлер приказал ему вести себя так, как будто он находился во вражеской стране, что еще более усложнило ситуацию.

Сам же Бест вовсе не намеревался вести себя подобным образом и был готов проявлять дружеские чувства. Так, он серьезно воспринял мои рекомендации относиться предупредительно к знаменитому, но неарийскому (по Нюрнбергским законам, принятым в гитлеровской Германии, полукровки, так называемые метисы первой степени, были сильно ограничены в правах; так, они могли вступать в брак с немцами только по особому разрешению. Лицам с 1/4 еврейской крови (метисам второй степени) разрешался брак с немцами, дети считались немцами. – Ред.) физику, профессору Бору (Нильс Бор, наполовину ариец (датчанин), наполовину еврей, специалист по квантовой физике, был в 1943 году вывезен на самолете в США. – Ред.). Насколько мне удавалось улавливать сообщения из Берлина, я знал, что до апреля 1943 года Бест честно и успешно пытался вести себя в Дании подобающим образом.

Пока в течение 1942 года германская армия не встречала на оккупированных территориях никакого или почти никакого сопротивления, высшее военное руководство не задумывалось о каких-либо посторонних проблемах. В ноябре 1942 года, когда в войне наступил резкий поворот (под Сталинградом были окружены 6-я армия и некоторые другие соединения и части. – Ред.), они впервые начали оглядываться вокруг себя, что привело к серьезным переменам.

Через нашего военного атташе Муссолини дал нам ясно понять (хотя его усилия и оказались напрасными), что мы должны заключить мир с русскими. Эксперты заявили, что в ближайшее время мы потеряем Африку, а затем и все Средиземноморье, со всеми соответствующими последствиями. Я полагал, что для Италии случившееся оказалось вполне естественным, что итальянцы охотно сдадут и своего дуче, и короля, если это будет выходом из сложившейся ситуации. В то время Гитлер распространил следующее заявление: «Тот человек, кого однажды полюбил его народ, станет для него еще дороже в трудные времена».

В середине ноября 1942 года в обществе стали распространяться тревожные слухи: что война проиграна, что Восточная Пруссия будет польской или русской территорией, а Германию разделят. В семейном кругу обсуждали, в какую сторону повернется Германия – на восток или

на запад. Но в декабре 1942 года Гитлер по-прежнему отказывался обсуждать любую идею перемирия с русскими, он отверг и предложения финнов по этому поводу. Он критиковал всех: итальянцев, венгров, румын и собственных генералов.

Если перед этим многие сомневались, можно ли было назвать Гитлера нормальным, в последние месяцы 1942 года все утвердилось во мнении, что он не в себе. Сталинградская катастрофа, за которую он нес личную ответственность, дала четкое представление о его умственном состоянии. В то же время эти события стали стимулом для действий немецкой оппозиции (после того, как Энтони Иден остудил ее порывы летом 1942 года).

Возможно, наши враги относились к этой оппозиции скептически. Иначе нельзя объяснить то, что произошло в Касабланке в январе 1943 года. Для меня этот город в Марокко связан с неприятными воспоминаниями. Впервые я побывал там в 1900 году еще мичманом. Я увидел тогда весьма заурядную гавань с рынком, наполненным запахом гниющей рыбы. Купаясь на пляже, я наступил на морского ежа и в течение нескольких месяцев не мог избавиться от его сломанных игл в большом пальце, пока, наконец, они не рассосались или не вышли.

В 1908 году в Касабланке произошел возмутительный инцидент с германскими членами французского Иностранного легиона, который чуть не привел к разрыву отношений между двумя странами. Теперь, в январе 1943 года, в том же самом городе, хотя и сильно перестроенном, наши противники в грубой форме объявили о ведении войны до «безоговорочной капитуляции» стран оси.

Может быть, в Америке, где еще помнили о генерале Гранте (Грант Улисс Симпсон (1822 – 1885) – генерал-лейтенант (1864). С марта 1864 года главнокомандующий федеральными армиями. Под его руководством было предпринято решительное наступление, которое привело к разгрому главных сил южан в штате Виргиния и их капитуляции 9 апреля 1865 года при Аппоматтоксе. В 1869 – 1877 годах был президентом США от Республиканской партии. – Ред.) и Гражданской войне (1861 – 1865 годов. – Ред.), этот постулат и звучал пристойно, но в современной войне он казался совершенно неподходящим. Если вызвавшие это заявление мотивы не появились из-за недостатка воображения или голословного желания уничтожения, тогда следовало принять, что оно возникло исключительно потому, что западные страны сочли необходимым скрыть внутренние разногласия, успокоить нетерпеливых русских и в любом случае избежать неудобного вопроса, связанного с военными целями союзников.

В Германии единственным результатом этого события стало подавление всех попыток мирного урегулирования, стремление отстранить оппозицию и обеспечение доктора Геббельса неопределимыми слоганами. Так в начале 1943 года была упущена последняя возможность достичь разумного мира.

Касабланкское заявление союзников побудило Гитлера продолжать войну в качестве лидера Германии еще два года. Оно мобилизовало как тех, кто разочаровался в Гитлере, так и его сторонников. Решение конференции означало, что союзники сознательно отвергают идею завершения войны политическим способом, что привело к созданию вакуума в сердце Европы. Невозможно даже представить, какую кровь и бедствия принесло это обеим сторонам.

Вскоре после Касабланки прусский министр Попиц сказал мне, что два германских фельдмаршала (имена которых он упомянул) хотели бы получить от меня письменное подтверждение, что наши противники не будут так жестоки к Германии без Гитлера, какой была, когда вела войну, гитлеровская Германия. Я ответил, что принципиально не даю никаких заявлений в письменной форме, кроме того, проблема неправильно поставлена. У нас нет альтернативы, поскольку при Гитлере никакой мир невозможен.

По моему мнению, следовало рисковать, даже если шансы были один к трем против других стран, и это оправдалось. Иначе мы настолько истощим себя, что никто не будет вести с нами переговоры. Свержение режима следовало провести достаточно рано, иначе мир мы

получим только в форме капитуляции. Я снова повторил основной тезис своей лекции: следует быть сильным, если хочешь вести переговоры.

Даже после поражения под Сталинградом Германия по-прежнему оставалась сильной, вне зависимости от роли Гитлера к ней следовало относиться с уважением, как к возможному партнеру на международных переговорах. В самой Германии после катастрофы под Сталинградом у многих открылись глаза. Опыренные успехами, диктаторы приходят в ярость, когда впервые им не удастся достигнуть намеченного. В стране нарастал ропот, и можно допустить, что множество людей поняли, кого конкретно следует обвинять в случившемся, склоняясь к идее переворота.

То, что два фельдмаршала захотели получить от меня письменное выражение моей точки зрения, стало для меня новым подтверждением существования внутри Германии оппозиции. Весной 1942 года я был официально проинформирован, что за бывшим послом фон Хасселем, в течение длительного времени поддерживавшим с нами дружественные отношения, следило гестапо. Большой помощью для полиции оказалась и беспечность, с которой он вел беседы со своей женой. Рискуя своим положением, я предупредил фон Хасселя о намерениях полицейских агентов. Я подумал, что он поймет акт дружеского расположения с моей стороны, но фактически он не принял его. Об этом говорится в его дневниках, опубликованных в 1946 году.

Само существование такого дневника показывает, насколько серьезным оказалось мое предупреждение. Если бы он был обнаружен, то и его автор, и те, кто симпатизировал ему, и я сам лишились бы жизни. Кроме того, оппозиции, как таковой, пришел конец. Дневники важны как способ самосохранения своих ежедневных настроений, но публикация их без соответствующих комментариев наносит вред прежде всего их автору.

По собственному опыту я знаю, что женщины, даже уступая мужчинам в интеллекте, больше, чем мужчины, одарены способностью к дипломатии, а также разумной осторожностью. Однажды, во время моего пребывания в Берлине во времена Третьего рейха, я оступился в Груневальде (на западе Берлина есть лес Груневальде и рядом район с тем же названием. – Ред.) и вывихнул лодыжку. Мне дали наркоз, чтобы вправить ногу. Вопреки всем больничным правилам, моя жена оставалась все время со мной, пока я находился под наркозом и позже, когда я выходил из него, чтобы остановить меня, если я начну говорить о политике.

Думаю, что вполне понятно, почему мужчины не хотят, чтобы женщины поступали на дипломатическую службу. Беседуя с женщиной, мужчина всегда чувствует себя неловко. Но в Третьем рейхе женщинам не разрешалось выходить за пределы тех сфер, которые традиционно считались их прерогативой (три «К» – кухня, кирха (церковь) и киндер (дети). – Ред.), кроме того, им даже не разрешалось предпринимать какие-либо самостоятельные действия.

Естественно, что и наши союзники сделали из нашего поражения под Сталинградом соответствующие выводы. Я смог это заметить по тайной переписке между итальянским и японским послами – раньше я не наблюдал подобных явлений. Посетив штаб Верховного главнокомандования, они вернулись разочарованными и в плохом настроении. Альфиери с Риббентропом разошлись во мнениях по каким-то мелким вопросам, а затем завелись настолько, что мне пришлось выполнять функцию буфера между ними. Муссолини достаточно ясно предупредил, что нам следует поскорее покончить «с войной на просторах России», и даже осмелился заявить, что предупреждал нас о последствиях этой войны еще в начале 1941 года. В результате всего сказанного между Италией и Германией возникло состояние почти полного *incommunicabile* {Невозможность общения (*фр.*)}.

Что же касается финнов, румын, венгров и словаков, то имелись все признаки говорить, что среди них начинается *saive-qui-peut* {Паника (*фр.*)}. Как и раньше, Гитлер и Риббентроп отказались рассматривать любую идею достижения согласия с Россией, и, возможно, с большими основаниями, чем прежде, поскольку после Сталинграда «виноград стал более кислым».

В то время Гитлер говорил своему окружению: «Мы победим или погибнем с честью, сражаясь до последнего человека, как говорил Фридрих Великий». На самом деле Фридриху Великому всегда, на всем протяжении Семилетней войны удавалось достигать компромисса со своими противниками, давая с самого начала понять, что он готов заключить мир на основе *status quo ante* {Положение, существовавшее до определенного времени (*фр*).}.

Что же касается точки зрения Гитлера, то она была следующей: «Продолжай сражаться, пытаясь достичь понимания, никакой политики, никакого нового порядка для Европы, никакого возврата к тому, с чего мы начали, ничего, кроме легкой смерти». Вот что владело умами Верховного главнокомандования, когда я был освобожден от своей должности статс-секретаря министерства иностранных дел.

Наших лидеров практически не интересовала проблема, кто будет представлять рейх в той или другой стране, ибо они не доверяли всем старым дипломатическим представителям. Кроме того, они вообще не были заинтересованы в отношениях с Ватиканом. Поэтому мое назначение ни у кого не вызвало возражений и прошло совершенно незамеченным.

Очевидно, что Риббентроп пошел дальше Гитлера, как я позже узнал, он не противился моему направлению. Но теперь возникла неожиданная возможность для решительной кадровой перестановки в министерстве иностранных дел. Однажды за границу просочилась новость, что протеже министра господин Лютер поссорился с Риббентропом и посоветовал Гиммлеру сместить его – на том основании, что он больше не способен принимать ответственные решения. Лютера тотчас же отправили в концентрационный лагерь на неопределенное время, хотя говорят, что с ним там обращались особым образом. Риббентроп попытался замять столь нелепый случай тем, что произвел фундаментальные перестановки в министерстве иностранных дел, во время которых я и смог удалиться от Риббентропа.

Я ОСТАВЛЯЮ БЕРЛИН (весна 1943 г.)

26 марта 1943 года Риббентроп сказал мне, что Гитлер согласился с моим желанием стать послом в Ватикане. После короткой и чисто формальной беседы он распрощался со мной, сухо поблагодарив за «сотрудничество». При этом не затрагивался вопрос о моем преемнике.

Тогда я думал, что если и можно что-либо сделать для достижения мира, то это легче всего осуществить в Ватикане (или с помощью Ватикана). Находясь в Берлине, в центре, я больше ничего не мог сделать. Ничто здесь уже не могло компенсировать тяжелый груз ответственности за те решения, которые я должен был выполнять и которые вызывали у меня глубокое отвращение.

Освобождение от всего этого означало пробуждение от кошмарного сна. Я надеялся, что в Ватикане смогу действовать в соответствии со своими собственными предпочтениями и взглядами, чувствуя себя прежде всего гражданином Германии – настоящей Германии, которая продолжала существовать.

Мне было жаль расставаться с доктором Гербертом Зигфридом, который посещал меня во время этих пяти тяжелых лет в Берлине с такой преданностью и предупредительностью, и не менее тяжело было прощаться с людьми из его небольшого, но весьма эффективно работающего офиса, которые неоднократно стонали от моих требований. Однако я смог захватить в Рим только своего личного секретаря. Поэтому мой отдел остался под началом старшего чиновника Рейфегерсте. Все они, включая моего превосходного и здравомыслящего шофера Лемке, выходца из Восточной Пруссии, знали, что я думаю о Третьем рейхе, но держали рот на замке.

Не знаю, кем меня считали в партийных кругах ко времени моего отъезда, возможно, относили к нейтралам. Старые члены партии, работавшие в министерстве иностранных дел, иногда позволяли мне улаживать их проблемы. Более того, существовала небольшая группа статс-секретарей рейха, с которыми я поддерживал отношения. Вероятно, я оказался единственным, кто получил этот пост, даже не являясь членом партии и не оказав ей никаких услуг. Конечно, все это было и преимуществом и недостатком. Всем известно, что я не пользовался никакой поддержкой со стороны Риббентропа, но и последний, в свою очередь, не поддерживался Гитлером, воспринимавшим его как помпезного осла.

Фактически все происходившее напоминало некую игру, целью которой была атака министерства иностранных дел – для того, чтобы выбить оттуда Риббентропа. Особенно настойчиво давил доктор Геббельс. Однако даже старейшие партийные мандарины не смогли добиться смещения Риббентропа. Определенные усилия предпринимали и Геринг, и Гиммлер, но напрасно. Окружавшие Гитлера люди разделяли с ним ответственность за множество совершенных преступлений, и ему приходилось беречь каждого из них, что стало еще одной причиной сползания режима к полному краху.

В своей семье я не всегда говорил о том, какие мрачные мысли владели мной. Я не хотел еще более осложнять жизнь следующих поколений. Наша собственная ноша и личные страдания сами по себе не были приятными, не стоило взваливать все это на остальных.

В Третьем рейхе не осмеливались публиковать списки военных потерь. Газетам полагалось отвергать сообщения о погибших, которые шли вразрез с партийными взглядами. Даже о гибели прославленных военачальников предпочитали умалчивать, чтобы не возбуждать недовольство народа. Любой военный успех, напротив, всячески раздувался и неизменно приписывался «гению фюрера». Но если случались поражения, то сразу же находили ответственного, обычно одного из генералов, которого с шумом смещали.

В глубине души Гитлер ненавидел всех генералов, считая их потенциальной *risce de rîsistance* { Часть сопротивления (*фр.*) } в своем стане. Его истинное отношение к ним ежегодно

проявлялось 8 ноября, когда он произносил речь перед своими старыми партийными товарищами в пивном ресторане «Бюргербрау» в Мюнхене. По этому случаю он был готов показать всю свою ненависть к буржуазному обществу; как самоучка, дошедший до всего сам, он давал знать, кого следует осудить и считать вне закона. Его выпады были направлены как против конкретных людей, так и против внешних врагов.

Все, что я делал за прошедшие четыре с половиной года, с осени 1938 года по апрель 1943-го, я мог бы коротко охарактеризовать как бесплодные попытки или время напрасных надежд. Фактически все шло не так, как мне хотелось бы. Началась война, вскоре она переросла в мировую войну, мы еще дальше отодвинулись от возможности заключения мира с помощью переговоров.

Сделал ли я неправильный выбор, когда решил в 1933 и затем еще раз в 1938 году остаться на службе? Поскольку в конце концов мы не смогли добиться никаких перемен к лучшему, не стоило ли нам, находившимся на службе в министерстве иностранных дел, уйти в отставку, когда Гитлер пришел к власти, или сделать это позже, когда диктатор раскрыл свое истинное лицо? Может, стоило переждать в лоне семьи, чтобы увидеть, в какие цвета окрасится диктатура, и пока беззакония и война сами по себе не прекратятся. По крайней мере, следовало оставаться с чистыми руками.

В нашей школе в Штутгарте у нас было два профессора по имени Штрауб, один преподавал нам Священное Писание, другой анализировал Гете. Первого мы прозвали Бог Страх, второго – Бог Отрицания. Когда я перешел на более высокую ступень, то задал Богу Страх вопрос о предопределении: если Бог всеведущ, тогда он должен предвидеть будущее; следовательно, будущее можно предугадать, тогда как же быть со свободой волеизъявления или с личной ответственностью? Профессор ответил: «Сядьте, Вайцеккер, и оставьте ваши нелепые мысли».

В то время я был не удовлетворен ответом. А сегодня? Сегодня я вижу, что со всех точек зрения ответ был правильным, сознание должно превалировать над умозрительными причинами.

Людам свойственно судить о действиях других по достигнутым ими успехам. Тот, кому не удалось предотвратить начало войны, кто не положил конец эксцессам и зверствам режима Гитлера, кто оставался в высшем эшелоне и не смог добиться падения Гитлера или сам не направил на него револьвер, даже тот, кто не отдал свое тело и душу приближению победы союзников, рассматривался как соучастник режима. Думающие таким образом не слишком далеки от истины. Они оказались бы правы, если бы их волновал только видимый успех и если все можно было рассматривать как сделку на фондовой бирже. Они оказались бы правы и в том случае, если бы не обращали внимания на то отчаянное положение, в котором мы находились в то время, когда наши молодые люди отдавали жизнь на земле, на море и в воздухе. И когда пожилые люди также отдавали жизнь тому, что считали необходимым, не задумываясь о собственной корысти или выгоде и не прислушиваясь к тем, кто думал иначе и мог судить об их действиях. (Потери фольксштурма – ополчения, усилиями которого в конце 1944 – мае 1945 года во многом держался фронт, – огромны и до сих пор точно не определены. – Ред.)

Когда я покидал Берлин в 1943 году, я мог насчитать единицы очень близких друзей, которые полностью понимали мою деятельность. Вопрос оставался в том, что при той враждебности, с которой я относился к правящим нами лидерам, правилам и мотивам поведения, я был готов всецело отдаваться работе, хотя иногда она казалась абсолютно бессмысленной и конечный результат от меня не всегда зависел. Вопрос не стоял так: «Что нам делать, люди?» Мы знали, что делать, но не могли. Проблема быть неправильно понятым всегда беспокоит представителей дипломатической службы. А для того, кто и сам не знает, что он хочет, мне действительно больше нечего добавить.

В ВАТИКАНЕ (1943 – 1945)

9 февраля 1940 года я единственный раз в жизни посетил встречу министров в рейхсканцелярии. Мое посещение было связано с «назначением полномочного представителя для сохранения национал-социалистской идеологии». На заседании проявились разногласия между министрами Розенбергом, Керлем и Рустом не только по поводу сути и диапазона этой идеологии, но и, в особенности между Розенбергом и Керлем, по вопросам взаимодействия этой идеологии и христианской религии. Доктору Геббельсу удалось сгладить противоречия, сказав, что пока нельзя прийти к согласию по поводу того, чем является идеология национал-социализма, поэтому лучше перейти к практическим вопросам.

Споры между Розенбергом и Керлем на самом деле могли и не возникнуть, поскольку партийная программа Третьего рейха признавала «позитивное христианство» или, по крайней мере, проявляла к нему терпимость, так что христианским церквям не приходилось ничего опасаться. На это, скорее всего, указал и конкордат, столь поспешно заключенный с Римско-католической церковью в 1933 году.

Практически же все обстояло совсем иначе. Сам Гитлер следил, чтобы на церкви открыто не нападали. Однако те меры, что были приняты, едва ли осуществлялись бы без его молчаливого согласия. Мой знакомый слышал, как Гитлер говорил, что одно или два поколения христиан умрут, соблюдая свои обычаи, естественным образом (то есть естественным путем в Германии станет господствовать язычество, лежавшее в основе германского нацизма. – Ред.).

Похожим образом о разрушении католической церкви говорил и Риббентроп, полагая, что ее победит националистическая вера, вера в народный дух. Риббентроп заявлял, что говорил папе, когда тот его принял весной 1940 года, что немцы, которые скоро будут маршировать по дорогам Франции, станут делать это с именем Адольфа Гитлера, а не Христа и Бога на устах. Глава германской полиции (а также главного имперского управления безопасности, в состав которого входили гестапо и СД; с 1943 года министр внутренних дел. – Ред.) Гиммлер однажды сказал моей жене: «Мы не успокоимся, пока не искореним христианство». Из всех трех названных формулировок эта, видимо, была самой простой и ясной.

Против всего этого исполненный благих намерений министр по делам церкви Керль, называвший себя христианином, но не обладавший никаким реальным влиянием, не мог ничего поделать. После встречи с министрами, описанной выше, Керль хотел выпустить декрет о защите религиозной свободы в Германии. Выдвигая этот проект, он обратился ко мне за поддержкой, которую я ему тотчас же оказал. Керль говорил о национал-социалистической системе в таких выражениях, какие никак нельзя было ожидать услышать из уст одного из старейших последователей Гитлера, каковым он и являлся. Керль умер в 1941 году, и его должность так и осталась незанятой.

Если бы папский нунций в Берлине хотел сблизиться с немецкими властями, ему пришлось бы связываться с министерством иностранных дел. Я не возражал бы, если с множеством своих вполне понятных жалоб он непосредственно связался бы с нижестоящими правительственными департаментами – скажем, с тем же министерством по делам церкви Керля. Однако у нунция вошло в привычку каждые две недели появляться в министерстве с целой охапкой жалоб, на которые мы могли только отреагировать в спокойной и дружелюбной манере, решающее же слово, как всегда, оставалось за партией.

По содержанию эти жалобы были разного свойства. Больше всего проблем доставляли вопросы, связанные с духовным благополучием польских пленных и судьбой польского духовенства. Среди других вещей меня прежде всего заботило, чтобы правосудие должным образом совершилось по отношению к епископу Шпроллю, который был изгнан из Вюртемберга.

По правде говоря, мне удалось только немного помочь ему: гаулейтер Мурр в Штутгарте создавал разного рода препятствия.

Когда в дальнейшем мы из министерства иностранных дел пытались, защищая церковь, вмешиваться в различные дела, партийные боссы обычно неизменно отвечали, что мы защищаем «потенциальных изменников». Это был тяжкий, но абсолютно неблагодарный труд.

Если бы темпераментный папа Пий XI прожил немного дольше, отношения между рейхом и католической церковью несомненно ухудшились бы. При его более долготерпеливом преемнике установилось нечто вроде короткого перемирия. Во время мировой войны католическая церковь стремилась избегать политики, ведущей к катастрофе, неотвратимость которой в Германии она давно предвидела.

Тем временем в феврале или марте 1943 года произошел инцидент, приведший к нежелательному кризису. Нунций Орсениго передал мне пространное запечатанное личное письмо Риббентропу от кардинала – государственного секретаря. В письме содержались едкие слова относительно условий существования церкви в Вартегау (на бывшей польской территории). Теперь эта территория вошла в число тех, где, в соответствии с теорией наших правителей, церковь не имела права ни во что вмешиваться. Мне велели вернуть письмо обратно нунцию и сообщить ему, что я не смог представить его в правительство рейха, поскольку в этом письме речь идет о делах, которые выходят за пределы компетенции церкви.

Мне казалось весьма неловким вести себя столь грубо и очевидно неискренне, поэтому я по мере сил попытался не допустить столь варварского обращения с католической церковью, вполне вероятно чреватого разрывом отношений. Я заявил Орсениго, что будет лучше всего, если мы станем вести себя так, как будто угрожающее письмо никогда не попадало в мои руки. Сначала нунций захотел, чтобы я заступился за него перед его начальством, официально подтвердив, что вернул письмо по распоряжению свыше. Я объяснил ему, что это только ухудшит ситуацию, мое же предложение меньше всего вызовет обид. Поэтому нунций просто положил письмо обратно в свой карман.

Таким образом мне удалось смягчить воздействие столь провокационного инцидента. И все же Орсениго сомневался, сможет ли он без последствий пережить этот случай, иными словами, не отзовет ли его Ватикан. Я бы очень огорчился, если бы нам не удалось предотвратить те нежелательные последствия, к которым привел бы разрыв отношений и которые бы неизбежно сказались на 35 миллионах германских католиков, на рейхе и на самой церкви. Замечу, что в то время Ватикан никак не отреагировал на случившееся немедленными действиями, как можно было предположить. Но в 1945 году значительная часть переписки между нунцием и Римом была передана в распоряжение Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Насколько мне было известно, церковь преднамеренно не стала отрицательно оценивать произошедшее. Спустя несколько недель, в начале апреля 1943 года, она без колебаний вознаградила меня своим *argumentum* {Согласие, агреман (*grpr*)}, приняв меня в качестве посла при папском престоле. Так что в конце апреля я смог передать должность статс-секретаря своему преемнику, теперь уже назначенному. Им оказался герр фон Штеенграхт. В 1937 году он был в окружении Риббентропа в Лондоне. С течением времени с ним познакомился и Гитлер, привык к нему, что было определенным успехом.

Предполагалось, что новый статс-секретарь установит лучшее, чем в мои времена, взаимопонимание между министерством иностранных дел и Верховным главнокомандованием Гитлера. В вопросах официального декорума и правил хорошего тона, равно как и в отношении социального обеспечения членов иностранной службы, Штеенграхт оказал неоценимую помощь. В политической области его деятельность с самого начала оказалась явно недостаточной и затрудненной военными обстоятельствами.

Мой отъезд из Берлина задерживался. Я не хотел уезжать, не попросив у Гитлера дать мне несколько указаний, предназначенных для нашего посольства в Риме, с помощью которых,

как я думал, я смог бы преодолеть сопротивление с их стороны. Я смог проститься с Гитлером без Риббентропа. Свой план для посольства я изложил фюреру следующим образом: «Обоюдное невмешательство, никаких глобальных обсуждений, никаких разногласий». Он согласился со мной, затем заговорил о Бисмарке, который, как он сказал, потерпел поражение с культур-кампф (борьба за культуру) – антикатолические мероприятия Бисмарка в 1872 – 1876 годах, такие как закон против клерикалов, лишивший католическое духовенство привилегии исключительного надзора над школами (1872), закон о запрещении деятельности иезуитских орденов и конгрегаций (1872), закон об обязательном гражданском браке, государственный контроль за подготовкой и назначением духовных лиц и др. – *Ред.*), потому что, в отличие от священника, не слышал обыкновенного человека.

После окончания войны Гитлер хотел разрешить дальнейшее существование церкви только как государственного органа и без всяких условий. Во время разговора он заметил, что в Риме трое мужчин: король, дуче и папа – и что последний явно сильнее всех прочих. В отношении военной ситуации Гитлер обрисовал мне происходившее в столь розовом свете, что я никак не мог ему верить. Вслед за этим мои друзья военные посоветовали мне побыстрее отправиться в Рим, иначе союзники войдут туда раньше, чем я смогу уехать.

Мой прощальный визит к Риббентропу в Фушль, состоявшийся на следующий день, был отмечен недоверием с обеих сторон. Первоначально я принимал Риббентропа за политического чудака, которого любой мог научить уму-разуму. Со временем, поняв, насколько Риббентроп стремится к войне и насколько он опасен, я стал искренне его ненавидеть. Но, покидая Берлин, я дошел до того, что стал жалеть его. Я обычно говорил, что если кто-то захочет посетить сумасшедший дом, то найдет там несколько человек того же типа, что и Риббентроп. (Это прежде всего последствия Первой мировой войны. Риббентроп, как и Гитлер, окопник, несколько раз ранен, в том числе тяжело, награжден Железным крестом 1-го класса (как и Гитлер, у которого, кроме этого, еще три боевые награды). В данном случае дипломат и аристократ не совсем понимает, насколько тяжелы были последствия войны и послевоенных лет, что в совокупности и привело к власти фронтовиков и других весьма жестких людей. – *Ред.*) Вина за его поведение лежала на системе, при которой такой тип смог стать министром иностранных дел страны с населением в 70 миллионов человек и, более того, продержаться на своем посту в течение семи лет. Я с легкостью распрощался с ним.

Мне удалось повидаться и с доктором Геббельсом. В 1933 году он говорил нам в Женеве: «За десять лет наши молодые партийцы займут все дипломатические посты, и тогда они свергнут Европу с вершины». Теперь, когда я пришел к нему через десять лет, он сказал, что не считает, что смог бы занять мой будущий пост в Ватикане. Тогда я ему ответил: «Я полагаю, что вы способны на это». И наша беседа закончилась злобными усмешками с обеих сторон.

Мы попрощались с нашими родственниками в Викене, в Бреслау (Вроцлаве. – *Ред.*), на озере Констанц (Боденском. – *Ред.*) и в Страсбурге. В Мерано мы посетили моего предшественника в Ватикане фон Бергена и его жену. Благодаря исключительному такту, предельной беспристрастности и честности он смог провести на своем посту столь трудные годы эпохи Гитлера.

В те времена, когда мы должны были ехать, еще можно было добраться до Рима с теми же удобствами, как и в лучшие мирные времена, не опасаясь самолетов союзников. В Риме мы сначала остановились в «Гранд Алберго» и, несмотря на войну, насладились многочисленными радостями, которые Рим предоставляет тем, для кого он открыт.

Что касается моей политической деятельности в качестве посла, то она началась с довольно занятого происшествия. Перед самым отъездом я набросал текст обращения для моей первой аудиенции у римского папы. Этот текст не понравился Риббентропу. Он почти полностью переписал его и показал Гитлеру, который, в свою очередь, сделал многочисленные

исправления на варианте Риббентропа. Таким образом, я взял с собой, можно сказать, чудовищный текст речи.

В конце концов с помощью кардинала – государственного секретаря Ватикана Луиджи Маглионе, неаполитанца по происхождению, – и из-за приступа радикулита, уложившего меня в кровать в середине жаркого римского дня, я сумел убедить наше руководство, что в странном выступлении нет необходимости. Поэтому я ограничился несколькими формальными репликами, которые произнес во время вручения верительных грамот.

Папа ответил мне на превосходном немецком, произнеся несколько наставительных реплик, которые, в отличие от общепринятой практики, никогда не были напечатаны. Беседа *a deux* {Вдвоем (*фр.*)}, состоявшаяся в его личной библиотеке, оказалась первой в ряду других аудиенций, которые Пий XII пожаловал мне между 1943 и 1945 годами. В соответствии с общим прекрасным обычаем католической церкви, я не стану здесь воспроизводить содержание этих бесед.

Самые значимые для меня беседы были, естественно, связаны с возможностями установления мира, ради которого я на самом деле и прибыл в Рим. Я по-прежнему верил, что сохранялся небольшой, но действительный шанс установления мира, естественно без Гитлера. Я не мог представить, что сумасшествие войны должно было дойти до крайней точки. Вскоре я сговорился с кардиналом Маглионе, что он даст мне знать, если увидит какую-либо возможность для движения к миру.

Риббентроп, не понимавший, почему я выбрал пост посла в Ватикане, добился бы моего отзыва после первых двух недель, если бы узнал, что я там делал. Не стоит и говорить, что я ничего или почти ничего не сообщал в Берлин по поводу моих бесед о мире. Не стоило опасаться, что нунций Орсениго совершит опрометчивый поступок, в любом случае он получал из Рима скудную информацию. Несколько раз в Риме я ломал копы для Орсениго, но безуспешно.

Я был пленен несравненным обаянием необычайной духовности Пия XII. Меня поразили его умные глаза, выразительный рот и красивые руки. С ним можно было, не задумываясь, говорить раскованно и доверительно. Проведя долгие годы в качестве нунция в Германии, папа римский детально познакомился с немецкими обычаями. Его истинная любовь к нашей стране, терпимость, проявленная по отношению ко мне, как протестанту, его природная проницаемость позволяли мне быть с ним более откровенным и отвечать более искренне, чем обычно разрешалось в беседах с главой государства. Сознание, что он сохранит в тайне все, что говорится лично ему, позволяло мне раскрывать перед ним темы, которые носили конфиденциальный характер.

Исключительная память папы проявлялась в том, что он знал наизусть те речи, которые написал, – он мог произнести их по памяти, не обращаясь к рукописи. Ежегодно собиравшиеся в увесистый толстый том, эти речи являются для меня выражением глубокой мысли и образцом блестящего стиля. Поздравления с Рождеством Христовым, которые папа рассылал в течение войны, были законченно совершенны и взывали к разуму в международных делах.

Страстно желавший мира, римский папа не позволял себе ни дня передышки, испытывая страдания оттого, что соперничавшие группировки отказывались прислушаться к нему. В течение всей войны он не покидал Ватикан, даже в самое жаркое время года, не позволяя себе наслаждаться свежим воздухом в своей летней резиденции, находившейся в Кастельгандольфо. Его распорядок дня был распisan по минутам. Зимой и летом в одно и то же время в полдень он бродил по ватиканскому саду, всегда одновременно читая свои бумаги. Далеко за полночь в его кабинете, расположенном высоко над площадью Святого Петра, был виден свет.

Благодаря тому что Пий XII (до того, как стать римским папой) много лет проработал государственным секретарем Ватикана, он сознательно стремился сосредоточить все дела в своих руках. Похоже, что папа неохотно прибегал к помощи ватиканских кардиналов. В дипломатической сфере ему помогало несколько людей из его личного окружения, в частности мон-

сеньор Дж.Б. Монтини, здравомыслящий, умный заместитель из города Брешиа, оказавшийся самым трудолюбивым из всех, доходивший во всех делах до мельчайших подробностей. Мне часто даже было неловко беспокоить столь сверхзанятого священнослужителя своими тривиальными делами.

После смерти кардинала Маглионе, вместо которого никто не был назначен, официальные беседы, не считая чисто формальных, велись Монтини, чисто политические проблемы решались с его коллегой монсеньором Тардини, римлянином, отличавшимся острым умом и необычайной сообразительностью. Другим священникам из немногочисленного аппарата государственного секретаря вообще не разрешалось принимать дипломатов. Им запрещалось вести какие-либо разговоры, поэтому при необходимости они проходили в виде моего монолога.

Сохранился хороший обычай: вновь прибывшие, как я, наносили каждому из ватиканских кардиналов официальный визит. Всего кардиналов было двадцать четыре, причем двадцать три из них были итальянцами. Один из них, чьи веселые голубые глаза поразили меня, как только я вошел в комнату, приветствовал меня полусидя словами: «Как я люблю немцев, но мне бы хотелось, чтобы вы не имели никаких дел с Вотаном» (в данном случае намек на языческую основу нацизма; Вотан (у северогерманских и скандинавских племен – Один) – бог ветра и бурь, войны и т. д., верховный бог. – Ред.). Очень скоро мы выяснили, что думаем одинаково.

С другим кардиналом мне довелось побеседовать о великих людях в истории. Похоже, что его поразило мое замечание, что самыми интересными папами я считал тех, кто с помощью мудрой реплики, прекрасно отточенных формулировок или примирительных действий мог похоронить старые разногласия. Таким был, например, Каликст II, которому удалось прекратить споры по поводу инвеституры, или Лев XIII, который уладил проблему культуркампа с Бисмарком.

Что касается миротворцев, заметил я в ответ, то с точки зрения здравого смысла, возможно, они сделали для человечества больше, чем так называемые великие люди, о которых написано множество книг, потому что они не находились в конфликте с миром. Кардинал оказался достаточно благовоспитанным, чтобы не заметить моего упоминания Лютера.

Мое восхваление миротворцев оказалось вполне искренним, мое политическое кредо (если так можно выразиться) всегда основывалось на том, что все хорошее и способное к жизни должно расти и процветать, только надо расчистить путь для этого. Это означает устранение препятствий, трений, сорняков, паразитов, все остальное пойдет естественным путем, и многие даже не заметят того, что произошло.

Передо мной было множество таких примеров из истории так называемых великих людей, вошедших в нее не только своим происхождением или богатством, но и тем, что, как правило, им не удалось достичь того, чего они намеревались. Приведу несколько примеров из недавней истории. Разве Наполеону удалось оставить после себя объединенную Европу? Разве Гитлер уничтожил коммунизм? И разве его противники, собравшиеся под вывеской Объединенных Наций, действительно едины?

Иностранному дипломату обычно необходимо два или три года, чтобы начать видеть в истинном свете внутреннюю деятельность папства, не стану считать себя исключением из общего правила. Возможно, было бы проще, если бы мы следовали обычаям прежних времен и, аналогично большинству других миссий при Ватикане, имели священника, прикрепленного к нашему посольству. Я хотел сделать это еще до отъезда в Рим, но вовремя услышал, что партийная канцелярия хотела прикрепить ко мне священника, оставившего церковь. Я воспротивился этой идее и предпочел, чтобы в посольстве вообще не было священника-советника.

В проведенный нами период в Риме, с лета 1943 до лета 1944 года, город, казалось, отошел от своих итальянских национальных настроений и присоединился к космополитическому церковному государству. В своих чаяниях население обращалось не к палаццо Венеция (рези-

денция Муссолини. – Ред.) или Квиринальскому дворцу (резиденция итальянских королей (1870 – 1945), до этого летняя резиденция римских пап, ныне – президента Италии. – Ред.), а к площади и собору Святого Петра (то есть к римскому папе. – Ред.). В то время можно было с легкостью распространить юрисдикцию церковного государства на всю территорию Рима и близлежащие земли, о чем говорили многие (как во времена до 1870 года).

Однако папство пользовалось любой возможностью, чтобы избежать такого риска. Как оно смогло бы прокормить огромный город с массой беженцев? И как оно могло защитить город от войны и разрушений? С 1870 года папство настолько отвыкло от обязанностей светского правительства, что делало все, чтобы отвергнуть всевозможные заманчивые предложения. В Ватикане понимали, что для того, чтобы удерживать в узде вечно недовольных римлян, придется применять строгие полицейские меры.

Первые перемены на политической сцене произошли спустя четыре недели после моего приезда в Рим. В жаркий полдень 24 июля 1943 года, когда Большой фашистский совет, вдохновленный Гранди, заявил о своем недоверии Муссолини, в загородных серных бассейнах Аква Альбула мы наткнулись на Витторио Муссолини, сына дуче, мирно спящего на лужайке под старыми эвкалиптовыми деревьями.

На следующий день до моей спальни в гостинице донеслись крики: «Долой Муссолини! Да здравствует король! Долой Германию! Да здравствует мир!» На следующее утро повсюду виднелись флаги Савойской династии, люди с фашистским значком в петлице почему-то не встречались, население забыло римское приветствие. Случившееся заставило меня покинуть гостиницу и переместиться в запасные помещения в здании посольства на Виа Пьяве. Мне показалось, что малую революцию или отпадение нашего итальянского союзника лучше наблюдать из этого экстерриториального убежища.

Правительство Бадольо провозгласило: «Война будет продолжена!» Но никто в Риме, включая и монсеньора Тардини, не отнесся к этому серьезно. Он даже на какое-то мгновение поверил, что немцы добровольно покинут Рим, не говоря уже об оставшейся части Италии. Его сомнения подтвердились. Это стало очевидным, когда состоялось второе критическое событие, то есть когда Бадольо заключил перемирие. Все в Риме думали, что тотчас появятся союзники. Но, как оказалось, ими стали не американцы и не англичане, которые, как думали, поставят часовых напротив нашей виллы уже на следующее утро, а германские войска – правда, на второй день, после громкой перестрелки между немцами и итальянцами, закончившейся, впрочем, всего несколькими несчастными случаями.

Служебный персонал нашего посольства на Виа Пьяве отозвали, так что наше собственное небольшое ватиканское посольство неожиданно и невольно стало единственной сохранившейся официальной германской властью. Это означало, что нам прибавилось огромное количество работы, которую следовало выполнить ради защиты Вечного города. Считалось само собой разумеющимся, что интересы римского папы следовало уважать. В то время, время варварства и неразберихи, всех европейцев, независимо от вероисповедания, беспокоило, как сохранить и поддержать данный религиозный центр, вместилище морали и международных правил хорошего тона. Германский военный комендант города генерал Штахель много сделал для того, чтобы согласовать военные интересы Германии с интересами Ватикана.

Любой, кто знал Рим, понимал, что привилегии, права и интересы Ватикана неразрывно связаны с этим городом. Они включают признание экстерриториальности или полуэкстерриториальности собственности Ватикана, его многочисленных зданий и учреждений. Наши военные власти относились к ним как к любой другой собственности, монастырям и т. д., для чего наше посольство в Ватикане изготовило специальные охранные грамоты.

В известном смысле мы стали одной из сторон Латеранских договоров (соглашения, подписанные 11 февраля 1929 года римским папой Пием XI и фашистским правительством Италии. – Ред.), понимая их как возможность для священников всех государств противника,

проживавших или работавших в Риме, остаться здесь. В монастырях находилось множество беженцев, подвергшихся в своих странах преследованиям по политическим, расовым или другим причинам. Судя по тем благодарностям, которые поступали в наше посольство, нам удалось уберечь многих из них. В то время Рим оказался пристанищем для миллиона людей, увеличившись на это число.

Для нас Рим превратился в германский гарнизон. Мы переместились на прекрасно обставленную виллу Бонапарте в саду обновленного германского посольства на Виа Пьяве, 23. Там мы развлекали многочисленных друзей из числа германских военных, довольные, что таким образом продолжаем быть в курсе того, что происходит в военной сфере. Моя жена была полностью занята, работая через день в госпиталях, присматривая за ранеными немцами и союзниками.

Пропаганда противника искала способы, чтобы представить германских солдат как осквернителей Рима и тюремщиков папы. Я попытался исправить создавшееся впечатление, через кардинала Маглионе добившись, чтобы в конце октября 1943 года на видном месте в *Osservatore Romano* опубликовали официальное сообщение. В нем содержалась благодарность нашим войскам за то, что они уважают папскую администрацию и Ватикан. В ответном коммюнике мы обещали сохранить такое же наше отношение и в дальнейшем.

Сам я придавал особое значение этому обещанию, данному представителями германской армии. Ведь даже по Риму распространились слухи, что, собравшись покинуть город, немцы намерены увезти с собой папу. Иностранная пресса заявляла, что мы хотели переместить папский двор в Лихтенштейн. В октябре 1943 года я получил строго секретную информацию того же рода уже из Ватикана. Я не дал хода опасениям Ватикана, но продолжал держаться настороже.

На самом деле я не относился к этим слухам серьезно, но чувствовал, что должен предпринять меры предосторожности против любых необдуманных действий. Я попросил своего преемника Штеенграхта в Берлине дать мне тотчас знать, если такая абсурдная идея достигнет его ушей. В более позднем сообщении я высмеял идею перемещения папы, процитировав слова, сказанные папой Пием VII эмиссару Наполеона: «Вы можете сделать меня пленником, но тогда вы получите всего лишь обыкновенного монаха по имени Кьярамонти, но не папу».

Вплоть до 4 июня 1944 года, когда в Рим вошли войска союзников, я слышал мнение германского руководства: фельдмаршала Кессельринга, главы германской полиции в Риме Каплера, главы германской полиции в Италии Вольфа, Канариса и даже одного из главных соратников Бормана (руководителя канцелярии партии и врага церкви номер один), но ни от кого не получил подтверждения этих слухов (но не имел и надежных *dîmenti*).

С фельдмаршалом Кессельрингом, главнокомандующим германскими войсками в Италии, у меня установились дружественные отношения, так что я часто навещал его штаб, находившийся на скалистой Монс-Соракте. Это приносило пользу в связи с делами, которыми занималось посольство. Но в одном случае наши усилия оказались совершенно безуспешными – когда мы пытались предотвратить бомбардировки и обстрел известного монастыря Монте-Кассино. С согласия Кессельринга я попросил, чтобы Ватикан передал союзникам наше искреннее заверение, что монастырь не занят германскими войсками. Но это не предотвратило американские бомбардировки, полностью разрушившие эту древнюю святыню бенедиктинцев. К счастью, мы успели вывезти оттуда библиотеку и разместить ее в замке Святого Ангела (первоначально – мавзолеем императора Адриана, построен около 135 – 139 годов н. э. – Ред.) в Риме. Германские войска в Италии отдавали должное церковным учреждениям, сохраняя здания и произведения искусства.

Конечно, самым трудным делом было добиться, чтобы Рим не подвергся бомбардировке и был объявлен открытым городом. Я довел столь значимую просьбу Ватикана до сведения фельдмаршала Кессельринга, но у него оказались значительные возражения с военной точки

зрения; сведя проблему к минимуму, он ограничил до предела количество оккупационных войск в Риме (я думаю, до одного батальона). Он также запретил войскам проходить через Рим, отдав распоряжение обходить город сложными окольными путями. Не вина немцев в том, что тем не менее несколько бомб союзников упали на город – потому что, как говорилось, «Рим стал важной базой для германских вооруженных сил».

Осенью 1943 года несколько легких бомб упало на Ватикан. Ни союзники, ни немцы не стремились к этому. Сам же Ватикан поверил, что случившееся объяснялось выходкой нескольких фашистов, которых они и назвали по именам. Оставляю открытым вопрос, действительно ли Ватикан проинформировали в корректной форме. Это были не германские бомбы, и в 1946 году в Ватикане еще были заметны их следы.

В январе 1944 года мы ожидали третью перемену декораций в Риме, когда союзники неожиданно высадились в Неттуно (точнее, в соседнем Анцио, где с 22 января американцы высадили около 50 тысяч солдат. Десант был блокирован немцами и сидел, ведя бои на удержание плацдарма и неся большие потери, на этой «малой земле» до мая 1944 года. – Ред.), находившемся на расстоянии часа езды на машине к югу от Рима. Они располагали достаточными силами, чтобы достичь столицы, уничтожить небольшой немецкий гарнизон и нанести Верховному главнокомандованию серьезный удар. Вместо этого союзники окопались на побережье и сражались там почти шесть месяцев, пока, наконец, в июне 1944 года вошли в Рим.

Действительно, можно говорить (как и делали люди в то время), что Риму чудом удалось избежать опасности, когда он переходил из рук немцев к союзникам. Падение города в течение нескольких месяцев казалось делом решенным, оставался другой вопрос. Когда придет время, кто защитит население от жестокого насилия? Смогут ли германские войска отойти без боя и разрушения мостов на реке Тибр? Станут ли союзники вступать в бой с немцами, когда те начнут отход?

В первую очередь следовало осуществить демилитаризацию Рима. Во-вторых, внушить всем, что Вечный город со всеми своими памятниками и ценностями никоим образом не должен пострадать. Отступавшие к северу германские войска должны были направляться вокруг города, никакие повреждения домам и мостам не должны были наноситься. В критический день только несколько слабых и усталых германских колонн промаршировало мимо нас через Порта-Пиа, население не выказывало никакой враждебности по отношению к ним, даже давало им попить. Одиноким отставшим солдат в бронемашине успел заправиться нашим скудным запасом бензина на вилле Бонапарте. Затем все затихло, и через значительный промежуток времени в город вошли союзники.

Чтобы обезопасить себя, я получил полномочия от германского Верховного главнокомандования в Италии предупредить союзников через Ватикан, что Рим будет сдан без боя. В одиннадцать часов вечера в пятницу 3 июля я передал это послание государственному секретарю Ватикана. Но события развивались неожиданно быстро, и спустя двадцать четыре часа, как уже говорилось выше, союзники уже были в Риме. Вечный город прошел через чудесное избавление от тысячи грозивших ему опасностей.

Возможно, что подоплека того, что произошло, никогда не прояснится и никогда не станет известно, чья в этом заслуга. Сам же я склонен думать, что все произошло благодаря незаметной активности римского папы и разумным распоряжениям Кессельринга относительно постепенного отхода германских войск. Говорили, что позже Гитлер сумел даже нажать пропагандистский капитал на той роли, которую сыграли немцы в сохранении Рима. Не знаю, стоит ли оправдывать его за это.

Когда я покидал Гитлера в 1943 году, он сказал мне: «Я искренне вам завидую». Мне было любопытно узнать, что скрывалось за этой ремаркой, и я спросил его, почему он завидует мне, ведь я отправляюсь в Италию (как я уже говорил, в некотором смысле я перемещался во

враждебную страну). На это Гитлер мне ответил: «Теперь я должен вернуться в мою ставку на Востоке. Как бы мне хотелось провести три месяца в таком культурном центре, как Рим».

С июня 1943 года по июнь 1944-го я не смог ничего достичь в Риме в области общей политики. Но мы, как члены посольства в Ватикане, в некотором роде достойны похвалы за то, что нам удалось уберечь Вечный город и церковь.

СОЮЗНИКИ В РИМЕ. ПЕРЕЕЗД В ВАТИКАН (лето 1944 – весна 1945 г.)

После того как союзники в начале июня 1944 года вошли в Рим, служебный персонал нашего посольства был переведен за экстерриториальные границы виллы Бонапарте, которую мы теперь не могли покинуть. Там мы ждали несколько недель, пока союзники не обратились к нам с просьбой переместиться в Ватикан, поскольку только дипломаты союзных стран могли занимать городские апартаменты. Поэтому нам пришлось уменьшить наш штат наполовину.

Мне предстояло выполнить болезненную операцию. Одного из моих сотрудников, советника, навязанного мне Риббентропом, не хотели видеть в Ватикане. Он прибыл из партийной канцелярии Бормана, врага церкви номер один. Проблему за меня решили американцы, в первый же день оккупации арестовавшие этого человека прямо дома и отправившие его обратно в Германию для обмена. Вначале Риббентроп возмутился, что я избавился от приставленного им соглядатая, но вскоре успокоился. Арестованный таким же образом 5 июня на улице итальянцами фон Кессель, прозванный «немцем», возможно из-за своего могучего телосложения, к счастью, через шесть недель смог вернуться к нам, когда мы перемещались в Ватикан.

Примерно в то же время в газете Il Tempo, а также в американском журнальном агентстве появились материалы, в которых обсуждалась моя личность. Там говорилось, что я отмежеввался от нацистского правительства, что не было правдой, ибо такой шаг не входил в мои намерения. На примере моего венгерского коллеги барона Апора можно было легко увидеть, что происходило с дипломатом оси, отрекавшимся от своего правительства: второстепенная новость, толерантное обращение со стороны союзников, но с политической точки зрения никакого результата. Я приехал в Рим вовсе не для того, чтобы обелить свою репутацию и полагаться на милосердие союзников. С 1933 года я не однажды ставил вопрос о своей отставке и теперь хотел установить связи и сделать все для свержения Гитлера, которое должно было состояться на родине. 20 июля 1944 года, когда мы впервые прогуливались по ватиканским садам, поступили волнующие новости о провале попытки убить Гитлера.

После этого покушения я не встречал никого, кто (официально или неофициально) выразил бы сожаление по поводу того, что такая попытка имела место, или сожалел, что она провалилась. Сами мы сильно беспокоились о судьбе тех, кто оказался замешанным в заговоре. Они не представляли собой однородное объединение, не отличались дисциплинированностью, не были настолько малочисленными, чтобы удалось соблюсти конспирацию. Макиавелли писал, что конспирация невозможна, если задействовано более трех или четырех участников, в противном случае предприятие обречено на неудачу.

Я много раз задавался вопросом, как эта группа могла попасть в руки гестапо. Эта организация не обладала той проницательностью, как думают многие. А вот Риббентроп обладал настоящим нюхом на заговоры. В моем присутствии он неоднократно высказывал свои подозрения как по поводу абвера, так и по адресу некоторых генералов и сотрудников нашего ведомства, например Кордта, Кесселя, Эцдорфа. Он говорил и о моих тесных связях с этими людьми.

Теперь, после 20 июля 1944 года, члены внутренней оппозиции находились в страшной опасности. Многие из наших друзей подверглись поношению и были убиты. Среди них оказались Канарис, Хассель, Тротт, Хефтен, Брюкмайер, Кип, Остер, Штюльпнагель, Попиц, Хаусхофер (сын) и многие другие. Только значительно позже мы узнали, что их подвергали многомесячным пыткам (часто заканчивавшимся смертью), выдержать которые могли лишь немногие. Одной из жертв стал однополчанин и близкий друг нашего сына Рихарда. Шлабрендорф и Буше остались в живых чудом.

После окончания войны мы узнали в Риме от доктора Мюллера из Мюнхена, освобожденного из заключения исключительно благодаря своим энергии и упорству, что в ходе следствия постоянно упоминались визиты, которые убитый Донаньи наносил мне в Берлине. Доктора Мюллера, Р. Гильдебрандта, Канариса и других спрашивали обо мне, но они отрицали, что я играл какую-либо роль в заговоре. Когда во время предварительного следствия перед трибуналом допрашивали фон Тротта, он упомянул меня как главу оппозиционной группы в министерстве иностранных дел, поскольку предположил, что в Ватикане я находился в безопасности.

Риббентроп на это ответил главе отдела кадров в министерстве иностранных дел Шредеру, что уверен в том, что я знал о плане заговорщиков. Он дал распоряжение, чтобы все мои письма вскрывались и проверялись. Я же ничего не знал об этом. Но при отъезде в Германию я намеревался обратиться к помощи союзников, чтобы добираться через нейтральную территорию, например через Испанию. Но меня не отозвали, я планировал принять вызов в суд, причем только в одном случае, если моих родственников привлекут из-за меня, как часто бывало в то время. Но я не собирался оказываться дома, по крайней мере живым. Если бы Альбрехт фон Кессель не находился с нами в Ватикане в июле 1944 года, его обязательно бы отозвали домой, что, несомненно, хорошим для него не кончилось бы.

Очевидно, что властям в Германии не пришло на ум потребовать от меня послать телеграмму с выражением верности Гитлеру. Вероятно, они боялись, что могут получить отрицательный ответ. В августе 1944 года моя жена хотела отправиться из Ватикана в Германию, чтобы быть поближе к нашей дочери. Но хороший друг из отдела кадров министерства иностранных дел настоятельно посоветовал ей не делать этого, поскольку гестапо может взять ее в качестве заложника.

Несмотря на провал заговора и наше сочувствие жертвам, после 20 июля мы испытали чувство облегчения, потому что в любом случае была предпринята попытка спасти честь нации, и ее осуществили люди, благородство побуждений которых казалось очевидным. Нам показалось, что благодаря их поступку совершилось нечто имеющее непреходящую ценность.

Я не сомневался, рассуждая о том, имели ли право те, кто страдал от тирании, использовать против нее оружие. Чем более грубым и бесчеловечным являлось правление, тем более правомерным было использование против него соответствующих средств. Равным образом и клятва верности Гитлеру, которую были обязаны давать гражданские служащие, не имела в этом случае никакого значения, поскольку Гитлер первым предал тех, кто доверял ему.

За пределами Германии не поняли того, что произошло 20 июля 1944 года. Общественное мнение смешало в одну кучу Гитлера, партию, военных деятелей, гражданские службы и население Германии, не проводя различий между ними. То, что существовала другая Германия, иная, чем та, которой управлял Гитлер, воспринималось как недоразумение, а предположение, что с ней можно наладить отношения, казалось и вовсе шокирующим. Попытка свержения рассматривалась как единичный поступок неких реакционеров (так их называли и доктор Лей, и Гитлер), которые поняли, что Вторая мировая война проиграна, и хотели спасти Германию от третьей мировой войны.

Союзники считали бессмысленным любое сопротивление немцев, направленное на сохранение Германии как партнера в новой Европе. Неужели они на самом деле думали, что Европу можно было сохранить за счет создания на месте Германии вакуума?

Никуда не годная формулировка, появившаяся во время встречи в Касабланке (то есть безоговорочная капитуляция. – Ред.), соответствовала этой точке зрения в зарубежных странах. Выдвинутое там определение постепенно укоренялось, в октябре – ноябре 1943 года его включили в решения конференций в Москве и Тегеране. Всем, к кому я имел доступ в Риме на официальном уровне, я говорил, что эта формулировка будет стоить жизни большого числа солдат союзников.

Только политические деятели союзников могли разрешить проблему. Если бы они предложили умеренные требования Германии, освобожденной от Гитлера, то с германской стороны нашлись бы разумные люди, способные заключить договор без участия германского Верховного главнокомандования.

Мне же казался оптимальным вариант, при котором наши противники заняли Рим до лета 1944 года, поскольку только после их прихода Ватикан легко мог установить взаимоотношения с союзниками. После 4 июня 1944 года папа неустанно принимал политиков и солдат союзников, искренне стремясь покончить с войной. В политическом отношении Ватикан вовсе не стремился к тому, чтобы Германия, превратившаяся в заслон против большевистского вторжения с востока, была полностью уничтожена.

Не явилось ли совпадением, что произошло именно в то время, когда был снова поднят вопрос о канонизации Иннокентия XI (римский папа в 1676 – 1689 годах. – Ред.), в свое время объединившего Европу в борьбе против турок? Однако надежды, которые многие связывали с вмешательством папы, снова угасли через несколько месяцев. Стало еще более очевидным, что германским войскам было суждено сражаться до своего горького конца.

Нам же, членам германского посольства в Ватикане, также удалось вступить в контакт с союзниками. Когда в Риме оказался архиепископ Спеллман из Нью-Йорка, я отправил ему короткий меморандум для президента Рузвельта, составленный нами в посольстве. В нем рекомендовалось принять новую демократичную федеральную конституцию для рейха; предполагалось, что для ее реализации только английские и американские войска оккупируют Германию. В политическом смысле, как я отмечал, являлось нежелательным, чтобы союзные войска, начав наступление, вместе вошли в Берлин. Меморандум передал архиепископу, позже ставшему кардиналом, германский священник. Мне неизвестно, как поступили с этим меморандумом.

Мне удалось провести конфиденциальные и неформальные беседы с бывшим американским послом в Берлине Хью Уилсоном, а также с главой разведывательной службы Великобритании генералом Донованом, которого я знал с прежних времен. Я считал, что войну следует закончить с помощью политических средств, а не грубой силы. Донован поставил передо мной вопрос, каким я вижу будущее Германии – как объединенного государства или нескольких независимых государств. Я ответил, что все это представляет собой досужие домыслы и напрасную трату сил, поскольку, если Германию разделить, все равно ее части со временем соберутся вместе.

Говорили, что премьер-министр Черчилль также хотел увидеться со мной, когда оказался в Риме, но, к сожалению, этого не произошло. Я был уверен, что он поймет меня. Еще во времена его предка герцога Мальборо Англия задавала себе вопрос: как победить союзника и как избавиться от него? Я не мог себе представить, что Черчилль оставит русских, пока Гитлер находится у власти. Только наши лидеры могли тешить себя такими иллюзиями, считая, что смогут расколоть союзников, продолжая оказывать сопротивление на западе и представляя, что Восточный фронт будет обороняться автоматически.

Недостаточное внимание к востоку (на Восточном фронте находилось (на 13 октября 1944 года) в 2,5 раза больше дивизий, чем на Западном фронте. – Ред.) привело к многочисленным потерям. 12 августа 1944 года до нас дошли печальные известия, что наш любимый зять Бото-Эрнст, последний представитель своего доблестного рода, числится пропавшим без вести на Восточном фронте, позже мы слышали, что его не считают живым. Горько разлучаться с родными в такое время, но разве может сравниться наша печаль с горем нашей дочери и родителей ее мужа?

В сентябре 1944 года будто бы наметилось стремление Германии к миру (через Мадрид и, далее, Ватикан). Некоторые ошибочно связывают его с фон Папеном. Суть этого предложения заключалась в следующем: сепаратный мир на Западе в границах 1939 года, если же от гер-

манского предложения отказывались, то германские представители угрожали, что Германия в своих мирных усилиях развернется к Востоку, угроза эта подкреплялась предполагаемым заманчивым предложением со стороны Сталина.

Считая все это достаточно нелепым, я постарался не вмешиваться, ибо теперь взял для себя за правило использовать любую возможность для выхода из тупика. В германском Верховном главнокомандовании были далеки от политики; все говорили только о непоколебимом намерении продолжать борьбу, поскольку война разделит всех на нации победителей и побежденных.

Наши связи с Германией практически свелись на нет, и мы почти полностью должны были полагаться на собственные ресурсы. Среди прочих вещей я занимался тем, что составлял для союзников наброски по организации будущего мира. В своем послании к Рождеству 1944 года папа в принципе приветствовал проект создания ООН. Составив совершенно отличный по содержанию план мировой организации, я передал его ватиканским властям с устными разъяснениями, что не питаю никаких иллюзий по поводу того, что мой план получит одобрение со стороны союзников. По опыту работы в Лиге Наций я знал, что подобные организации, начав с непомерных планов и больших ожиданий, оказывались в дураках и на самом деле приносили только вред в деле мира.

Сама по себе никакая организация не может гарантировать мир, какими будут реальные дела – определит дух внутри самой организации. На самом деле необходимо, чтобы каждая нация добровольно устремилась к миру, готовая, говоря словами Канта, ограничить свою национальную свободу до такой степени, чтобы уважать свободу других. Прогресс в данном направлении возможен только при общем согласии. Если же такое согласие отсутствует, то стремление к миру может вырасти только из ясного понимания, что перед разрушительной силой современной войны политические разногласия не имеют никакого значения. Очевидно, причем не только с моральной точки зрения, что война больше не является удобным способом урегулирования международных споров. Конечно, о своих идеях и предложениях, направленных в сторону международного сотрудничества, я в наше министерство иностранных дел не сообщил. Я не хотел, чтобы в дело вмешались (и дали инструкции) люди из Верховного главнокомандования.

Только однажды, в начале 1945 года, мы предприняли политические действия согласно инструкциям, полученным от фон Риббентропа. Он заявил, что, если союзники не прекратят военные действия на Западе, Гитлер согласится на большевизацию Германии. Предложение, которое я должен был озвучить, оказалось совершенно нереалистичным. Я же использовал предоставившуюся возможность, чтобы преподать нашему Верховному главнокомандованию двойной урок. Первый заключался в том, что без перемены лидеров для Германии не откроется дорога к переговорам. Во-вторых, нам следует обороняться на Востоке и открыть Западный фронт. Не знаю, довели ли до сведения Гитлера мой ответ и он ли усилил его комплекс Самсона, но то послание, что я получил от Риббентропа, было по своему тону раздраженным.

Вопрос о перемене лидеров, сообщал он, не стоит, только национал-социалисты способны спасти Германию и Европу; что же касается открытия Западного фронта, то идея кажется ему абсурдной. Как я записал в то время, «все это означает дальнейшее разрушение Германии, разделение страны на две части, управляющиеся разными правительствами, которые станут противоборствовать друг с другом».

С точки зрения исчерпанности людских и материальных ресурсов Германии конец быстро приближался. Уже в Ялте (Крымская конференция 4 – 11 февраля 1945 года. – Ред.) здоровье Рузвельта оставляло желать лучшего и поведение было соответствующим. Он умер спустя два месяца. К моменту убийства Муссолини собственными соотечественниками он как политик уже прекратил свое существование. Гитлер оказал Германии невольную услугу, покончив с собой в рейхсканцелярии незадолго до падения Берлина (30 апреля. – Ред.). Его глав-

ный последователь Гиммлер предотвратил рождение любого нового «удара в спину», предложив собственную капитуляцию (Гиммлер попытался скрыться, был узан, арестован и 23 мая покончил с собой, раздавив ампулу с цианистым калием. – Ред.). Никто, даже самый необузданный фанатик, не мог обвинять немецкий народ в том, что он отказывался от борьбы в оппозиции лидерам, которые были уверены в победе.

Весной 1945 года, в период разгула ненависти и крушения опутавших страну оков (основная вина за все это лежала на Гитлере), я был рад услышать из Ватикана разумное предложение, высказанное следующим образом: «Тот, кто не может забыть и окончательно искоренить прошлое, не христианин и в то же время плохой политик». Действительно, это обращение церкви, обладавшей моральным авторитетом и способной прогнозировать будущее, ко всем народам было велением времени. Как всегда, душа Пия XII оказалась с теми, кто страдал и был поражен обрушившимися невзгодами.

КОНЕЦ ВОЙНЕ (весна 1945 г.)

После капитуляции Германия прекратила официальную политическую деятельность, но стала предметом проявлений христианского милосердия. Папа окружил своей любящей заботой как голодающее население Германии, так и немецких военнопленных. Хотя я и был протестантом, он нашел соответствующие слова, чтобы также утешить и меня. Один из находившихся в Ватикане итальянских кардиналов специально навестил меня, чтобы сказать, что он не забудет Германию в ее несчастьях.

Под давлением союзников германские миссии в нейтральных странах были закрыты правительствами этих государств. В конце мая, когда правительство Деница (главком ВМС и грос-адмирал (с 1943 года) Дениц (1891 – 1980) 1 мая по завещанию Гитлера сменил его на посту рейхсканцлера и Верховного главнокомандующего. Сформировав 1 – 3 мая новое имперское правительство в Шлезвиг-Гольштейне, Дениц пытался интриговать с западными союзниками, но после демаршей с советской стороны был 23 мая арестован англичанами. В 1946 – 1956 годах отбывал срок в тюрьме. – Ред.) было арестовано союзниками, моя миссия также потеряла легальное право на существование. С того времени мы стали считаться частными гостями Ватикана, и власти этого государства обращались с нами с чрезвычайной предупредительностью.

Еще одной хорошей новостью стало полученное в апреле 1945 года известие о том, что наш сын Рихард, получивший ранение в Восточной Пруссии, был переведен на госпитальный корабль, находившийся в Копенгагене. Таким образом он чудесным образом избежал судьбы, постигшей остальную часть его полка (в ходе Восточно-Прусской операции советские войска 6 – 9 апреля взяли Кенигсберг, к 25 апреля овладели Земландским полуостровом и портом Пиллау. Остатки германских войск отступили на косу Фрише-Нерунг (Балтийская коса) и сдались после 9 мая. Всего немцы потеряли в Восточно-Прусской операции свыше 300 тысяч человек, из них две трети пленными. В боях погибло 127 тысяч советских воинов. – Ред.), позже он отправился в Линдау на озеро Констанц поправлять свое здоровье. Менее приятной оказалась новость, что наш старший сын Карл Фридрих вместе со своими коллегами атомными физиками был вывезен в неизвестном направлении из своей лаборатории в Хехингене.

В это время глубокой депрессии и беспокойства мы находили разрядку в беседах с нашими приятелями-соотечественниками, нас посещали многие, начиная от германских светских священников и кончая членами религиозных орденов. Чем хуже шли дела в Германии, тем большее чистосердечие проявляли германские священники, остававшиеся в Риме. И снова мне приходится отступить от повествования и перечислить тех, кто с 1943 по 1945 год оказал дружескую помощь и поддержку бывшим германским дипломатам в Ватикане. В список входят немцы из Кампо-Санто-Теутонико (немецкое кладбище, примыкающее к Ватикану, с церковью. – Ред.) и церкви Святого Ансельма на Авентине (римский холм. – Ред.), григорианцы (то есть армянская церковь. – Ред.), из папского германо-венгерского колледжа, чей выдающийся ректор П.Й. Цейгер первым познакомился с нами в Риме и был также одним из последних друзей, кого мне было суждено вновь увидеть, когда мы неожиданно встретились перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Список священников может показаться слишком долгим, и я не знаю, в каком порядке я должен перечислить их, выражая свою благодарность.

В Риме нашлось несколько человек, считавших, что я мог бы продолжать работать и после крушения гитлеровского режима. Однако вскоре выяснилось, что каждый, кто имел какое-либо отношение к режиму, как сторонник, спутник или даже тайный, но активный оппонент, теперь оказывался вне закона. Тогда же возникло представление, что любой порядочный немец не соответствует положению, принятому союзниками.

Вот почему так долго велись переговоры о беспрепятственном и свободном возвращении домой членов нашего посольства. Нам хотелось вернуться домой, и мы прямо говорили об этом весной 1945 года, но, оказавшись в Германии, мы не хотели стать пленниками в лагере (как многие в то время) только потому, что были дипломатами.

Летом 1944 года, за девять месяцев до конца войны, я писал:

«К нам, немцам, историческая судьба не была благосклонна, когда мы терпеливо и каждый раз заново отстраивали свой дом, чтобы в конце концов достигнуть процветания, наслаждаясь миром. Снова и снова разные силы пытались установить свой порядок в Европе, оставив от Германии пустое место. Ни в прошлом, ни в будущем никакой стабильный порядок нельзя установить таким способом.

Мы не революционеры, а если и совершали революцию, то только в интеллектуальной сфере. Другие страны должны это учесть, и чем скорее они это сделают, тем лучше. Чтобы не заставлять нас нарушить их мир, нас также надо оставить в мире. Немцы хотят внести максимально возможный вклад в мировую культуру, в котором нуждается наша дряхлая Европа. В свою очередь, Германия требует, чтобы ей отвели соответствующее место в европейском сообществе и предоставили такие же меры безопасности, какими наслаждаются все остальные страны.

Наши враги теперь вынашивают планы лишения потерпевшей поражение Германии всех прав на самооборону. Но односторонние действия вроде запрета на ношение оружия или охрану собственности бесполезны в отношении всего народа и достаточно спорны в правовом плане. Разрабатывая новый международный порядок, необходимо устранить потенциальные причины конфликтов. Восточная мудрость гласит: «Мир не начинается, когда заканчивается война, война заканчивается, когда начинается мир».

Незадолго до того, как я написал вышеприведенные строки, кардинал – государственный секретарь Маглионе сказал мне: «Надо думать о том, что случится после войны». Возможно, он думал о том, что противоборствующие стороны не стремятся к примирению. И даже сегодня мир не извлек элементарных уроков из этих двух великих и ужасных войн, благодаря которым мы вступили в период всеобщей зависимости, когда благополучие каждого зависит от всех.

Вся моя молодость прошла в период независимых национальных государств. Они образовались при Людовике XI, Елизавете (Франция. – Ред.) и Петре Великом (Россия, думаю, гораздо раньше, с 1480 года, когда Иван III покончил с игом монголо-татар. – Ред.). Германия вошла в их число гораздо позже, только при Бисмарке, и едва мы это сделали, как наступило время, когда свободное развитие национальных сил пришло к концу.

И в Германии времен Веймарской республики, и в Лиге Наций не утихали споры по вопросу «коллективной безопасности». Единственным средством ее достижения является коллективная гарантия неприкосновенности национальных границ, обеспеченная всей внешней политикой. Следует также помнить, что все времена гарантией мира для частной собственности была социальная справедливость. Пакт Келлога – Бриана (27 августа 1928 года) объявил войну вне закона, но не изгнал ее из мира.

Тем временем идея международных полицейских сил становилась все более и более туманной. Техническое развитие вооружений достигло такой стадии, что война оказывалась возможной только по воле великих держав, и в то же время такое развитие доказывало, что война – это безумие, которое не может иметь никаких моральных оправданий. Вот какой опыт вынесло из пережитого мое поколение.

Очевидно, что мир склонялся к тоталитаризму сверхдержав, то, на что малые народы смотрят с большим недоверием. Некоторые люди говорят о третьей мировой войне. Легко представить масштаб разрушений в такой войне. А в результате опять же будет создана тоталитарная сверхдержава.

Мне трудно представить, что кто-то мог пожелать, чтобы события развивались таким образом, вместо мирного совместного движения к сверхдержаве на основе федерального устройства. Конечно, для достижения такой цели необходимо пойти на жертвы. Такая цель требует национального самоограничения, удовлетворения потребностей собственников и всеобщего примирения. Кроме того, необходимо, чтобы между государствами и отдельными людьми установилось то, что в течение двух тысяч лет лежит в основе морали и отношений между индивидуумами: уважение к своему соседу.

ПРЕБЫВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ГОСТЯ В ВАТИКАНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (1945 – 1947)

После капитуляции Германии мы оставались в Ватикане до конца августа 1946 года. Почти полтора года мы добивались от союзников гарантий, что после нашего возвращения домой с нами станут обращаться подобающим образом, но ответы по-прежнему были туманными, а то, что нам доводилось слышать о возвращении домой других немецких дипломатов, вовсе не вдохновляло. Мы были не единственными, кто пользовался гостеприимством Ватикана так долго. Кроме нас, здесь оказались японские, венгерские и словацкие дипломаты, среди нас даже был один француз, посол Берар, который достойно представлял Францию в Ватикане во время войны, не ожидая получить благодарность за то, что он делал.

Нам не приходилось скучать. Территория Ватикана, которую мы не покидали, возможно, немного больше, чем остров Линдау на озере Констанц, но в целом мире не найти места, столь богатого духовными ценностями, драгоценными произведениями искусства и архитектуры, не говоря уже о ватиканских садах. Здесь нигде не возникало ощущения, что мы находимся в замкнутом пространстве. Когда однажды папа спросил меня, нахожу ли я свое заключение тягостным, я искренне ответил отрицательно.

По утрам я обычно проводил значительную часть времени в Ватиканской библиотеке, где работал над основами новой германской конституции. В этой связи я изучал проблему отношений между церковью и государством и пришел к выводу, что на сегодняшний день в Германии разделение церкви и государства соответствует прежде всего интересам церкви. Кроме того, я наслаждался тем, что зарисовывал акварелью находившиеся вокруг меня редкости.

Все бывшие члены нашего посольства, ожидавшие отправки домой, находились в прекрасных отношениях друг с другом. Наша численность возросла на одного человека, когда на свет появился ребенок-протестант – внутри ватиканских стен – возможно, впервые в истории.

Едва ли найдется хоть один протестант, имевший такие тесные контакты с католической церковью, как мы, и так же глубоко переживавший разделение церкви, которое существовало со времен Реформации. Перед окнами нашего дома на палаццо дель Трибунале, едва ли на расстоянии в 50 – 60 метров, травертиновые колонны поднимались к куполу собора Святого Петра. Ежедневный перезвон колоколов, прекрасные проповеди в Кампо-Санто-Теутонио, мощные голоса немецкого хора в капелле швейцарской гвардии и торжественная папская месса в Сикстинской капелле, сопровождаемая величественной музыкой, доверительные отношения с интеллигентными и чуткими священниками различных национальностей – все это облекало в конкретную форму проблему единства церкви.

Во внешнем мире Ватикан ничего не мог сделать для примирения. В Нюрнберге союзники начали яростное судебное преследование руководителей партии и государства. Я попытался найти соответствующие параллели в истории, но в прошлом, когда победитель искал способы уничтожения своих оппонентов, он обычно делал это физически, не прибегая ни к каким законодательным процедурам. Едва ли следовало подражать театральным процессам над Конрадином фон Гогенштауфеном (1252 – 1268, герцог Швабский, последний представитель рода Гогенштауфенов. Пытался вернуть Сицилийское королевство, захваченное французами во главе с Карлом I Анжуйским, но был разбит последним в битве при Тальякоццо (1268), взят в плен и обезглавлен. – Ред.) или Мюратом (Иоахим Мюрат (1771 – 1815) – маршал Франции (1804), в 1810 – 1815 годах неаполитанский король. Выдвинулся как командующий конницей в армии Наполеона, в том числе в походе в Россию (где она вся и полегла). В 1814 году вступил в союз с Англией и Австрией против Наполеона. В 1815 году, после возвращения Наполеона с острова Эльба, выступил с неаполитанской армией против австрийцев, но был разбит ими

и бежал во Францию. При попытке вернуть себе власть в Неаполитанском королевстве был схвачен в городе Пиццо и казнен по приговору австрийского суда. – Ред.). Мне показалось верным решение, зафиксированное в политическом договоре 1815 года, по которому союзники согласились сослать Наполеона (на остров Святой Елены) без всякого суда.

Сам же я составил меморандум, который отправил главному американскому прокурору в Нюрнберге Р.Х. Джексону. В нем я указал, что, смешивая виновных и тех, кто преследовал благие намерения, суд впадает в опасность превращения последних в мучеников. В ответ Джексон написал мне, что я обратился не по адресу и мне следует переправить мое послание защите, что я и сделал.

Вот почему я искренне настаивал на том, чтобы отправиться в Нюрнберг в апреле 1946 года в качестве свидетеля по делу гроссадмирала Редера. Мне пообещали гарантии безопасности. Я не особенно верил в силу устного обещания, но не хотел оставлять Редера без поддержки. Поэтому в сопровождении хорошо воспитанного американского лейтенанта я перелетел из Рима во Франкфурт-на-Майне. Там выяснилось, что я прибыл слишком рано, и американцы хотели поместить меня в лагерь для перемещенных лиц в городе Оберурзель, пока не придет время для моего появления в Нюрнберге. Я категорически от этого отказался, тогда мне дали разрешение, чтобы я сам отправился в Нюрнберг через Хайдельберг, Штутгарт и Линдау. Так после трехлетнего перерыва я смог увидеться со своими родственниками.

Чтобы дать свидетельские показания по делу Редера, Нейрата и других, я вернулся во Франкфурт, где американские власти не заключили меня в тюрьму, а позволили мне беспрепятственно перемещаться по американской зоне оккупации, а затем отвезли меня обратно в Рим на самолете. Спустя несколько месяцев я получил похожее право на перемещения по французской зоне, так что в конце августа 1946 года мы смогли начать собираться, чтобы вернуться домой.

Хотя мои коллеги фон Кессель и фон Браун, а также мой превосходный личный секретарь фрейлейн Лотта Ральке, проработавшая со мной последние несколько лет, летели прямо в Германию, моя жена и я, любезно сопровождаемые французским и американским офицерами, были препровождены в удобной ватиканской машине через Ливорно, Геную, Ниццу, Лион, Страсбург (Страсбур) на озеро Констанц. Там я начал работать как фермер на нашем скромном участке земли.

Зимними вечерами я читал вслух моей матери, которой было почти девяносто лет, воспоминания ее отца и ее деда Мейбома. Ее отец, тогда молодой дипломат, представлял Гессен во франкфуртском парламенте 1848 года. Ее дед, гессенский офицер, которого она хорошо знала, принимал участие в наполеоновской кампании против России в 1812 году и сумел переправиться через реку Березину. (Через Березину, местами доверху заваленную трупами наполеоновских солдат и лошадей, сумели переправиться только 25 тысяч солдат и офицеров из 75 тысяч, подошедших к реке. Остальные 50 тысяч солдат Наполеона погибли в боях, замерзли, утонули или попали в плен. Русские потеряли при Березине 4 тысячи человек. – Ред.) Таким образом, мы смогли вернуться в германскую историю полуторавековой давности.

За прошедшее время мир не стал благоразумнее. Современные документы стали значительно менее достоверными. В начале лета 1945 года американский историк профессор Шустер навестил меня в Ватикане, в начале 1947 года два представителя англо-американской комиссии Е.М. Кэрролл и Дьюк добрались до меня в Линдау, чтобы задать вопросы о периоде Гитлера. Они говорили о своем намерении опубликовать в хронологическом порядке документы министерства иностранных дел, не снабдив их никакими комментариями. Их намерение показалось мне весьма спорным. Конечно, документы можно представить подобным образом, но не менее важно указать причины появления этих документов.

В Третьем рейхе политические инструкции дипломатам практически неизвестны. Весьма показательным, что Риббентроп категорически запрещал включать в дипломатические сооб-

щения какие-либо замечания совещательного или дискуссионного характера. Даже из совершенно частных записей того периода ясно, что их авторы боялись гестапо, и такие записи часто составлялись с явной целью ввести в заблуждение этот орган. Иронию – одно из лучших средств сопротивления диктатуре – нередко применяли для того, чтобы скрыть то, что боялись высказать буквально. В связи со всем сказанным существовала опасность, что подобные публикации могли скорее затуманить историческую правду, чем открыть ее. В конце концов я воздержался от участия в данной работе.

Тогда в марте 1947 года меня привезли в Нюрнберг как «добровольного свидетеля», где я был допрошен (к моему удивлению) американскими должностными лицами, в основном эмигрантами из Германии. Они спрашивали о некоторых документах, найденных в архивах министерства иностранных дел. Я никак не мог понять, в качестве кого меня привлекли – как возможного обвиняемого или только как свидетеля. В частности, они пытались доказать, что я был подстрекателем войны, даже принимал участие в разграблении Франции и, как член СС, участвовал в преступлениях, связанных со службой безопасности СС (СД) и так далее. Прежде всего суд интересовали документы, в которых говорилось об обращении с евреями в Третьем рейхе.

Случившееся представляло попытку вменить мне в вину все, что происходило, о чем отчетливо свидетельствовала и манера, в какой велось дознание, а также некоторые другие косвенные факты. Допрашивавшие давили на меня, заявляя, что именно гражданские служащие виновны в режиме Гитлера, без них он был бы беспомощным. Таким образом меня делали сообщником. Наконец мне задали прямой вопрос: «Почему вы не сотрудничали с нами [то есть с ведомством прокурора], как доктор Гаусс?»

Доктор Фридрих Гаусс, которого я хорошо знал в течение двадцати пяти лет, был юристом-консультантом министерства иностранных дел при всех правительствах Германии, от Ратенау до Риббентропа, он помогал составлять тексты всех важнейших договоров, от Рапальского до Локарнского, документов Лиги Наций, соглашений с Польшей и против Польши, с Москвой и т. д.

Теперь он сменил прихожую Риббентропа на помещения прокурора Соединенных Штатов доктора Кемпнера, а в начале 1947 года объявил себя и все германские гражданские службы виновными. Что же касается меня, то я не имел ни возможности, ни наклонностей следовать его примеру. После недели допросов мне разрешили вернуться в Линдау, предполагая, конечно, что при необходимости я появляюсь снова, «даже если мне предстоит отправиться на галеры».

Я не воспринимал случившееся серьезно, поскольку не потерял юношескую веру, что разум всегда торжествует. Кроме того, что еще могло произойти с таким старым моряком, как я? Моя лодка не дала течь, приборы и инструменты были в порядке. Почему же могло произойти кораблекрушение? Как могли выдвинуть против меня обвинения только потому, что я оставался на службе, чтобы предотвратить начало войны и затем пытаюсь ее прекратить?

Я ошибался. Несколько пунктов обвинения, инспирированного американцами, стали достоянием газетчиков. Тогда, в середине июля 1947 года, я узнал от французов, что они не заинтересованы в том, чтобы я предстал перед судом, но американцы хотят привлечь меня к ответственности. Я заявил, что не хочу уклоняться и готов приехать. Я также надеялся, что смогу хоть как-то помочь моим коллегам из министерства иностранных дел.

24 июля 1947 года французский офицер прибыл за мной на автомобиле. Мы поехали в Баден-Баден, где мне предложили бутылку вина. На следующий день поездка продолжилась в сторону Нюрнберга, где меня препроводили во Дворец правосудия, находившийся на Фюрерштрассе, где француз благоразумно удалился. Об отношении французов к делу можно было прочитать в газетах.

В присутствии американских официальных лиц немецкий полицейский объявил мне, что я арестован, как подозреваемый в совершении военных преступлений. Я спросил его: «Вы немец?» – на что он застенчиво ответил: «Да». После этого меня препроводили в тюрьму, где раздели догола (потом часть одежды мне вернули) и, наконец, отвели в одиночную камеру, где не было ничего, кроме железной кровати с матрасом, состоявшим из трех частей. Дверь заперли.

Теперь опустим занавес в моей истории. Не стоит описывать то, что связано с личной судьбой автора. Должен сказать, что я предпочел бы, чтобы меня допрашивал перед судом присяжных прокурор Гитлера, поскольку тогда бы я стоял перед судом по делу. Если я попытаюсь описать свой опыт общения с американскими прокурорскими работниками, меня могут заподозрить в том, что я субъективен. Только в одном я могу отдать им должное: в физическом смысле общение с ними оказывалось менее рискованным, чем с Гитлером.

Осталось рассказать совсем немного. Мне сообщили, что каждый может взять с собой в тюрьму четыре книги. Я выбрал английский словарь, Платона, Лао-цзы и Новый Завет в переводе моего деда. Вскоре я почувствовал себя в моей одиночной камере совершенно умиротворенным. Мне было жаль тех, кто остался снаружи: членов суда, надзирателей, моих друзей заключенных, некоторые из которых уже были осуждены.

Покидая Ватикан, я думал, что, поскольку мне уже исполнилось шестьдесят пять лет, мое имя не появится снова в газетах, так что я спокойно проведу остаток жизни в тишине и забвении. Но судьба решила иначе. Пресса обратила на меня внимание, никогда еще меня не захлестывали столь бурные выражения дружеского признания и уважения, как в заключении. Никогда я так отчетливо не понимал, что ненависть не способна победить любовь.

4 ноября 1947 года нам раздали копии обвинительного заключения. Всего обвинялся двадцать один человек: дипломатические представители, гражданские служащие, финансисты, бизнесмены, члены партии, противники партии – пестрое собрание. Журналисты называли нас «смесью» и «омнибусом», а прокурор именовал «подсудимыми с Вильгельмштрассе». Чтобы избежать обвинений в злоупотреблениях, подготовка к суду заняла длительное время, а сам процесс проходил достаточно медленно.

Прошел год, пока были заслушаны обе стороны, и обвиняемым разрешили обратиться с последним словом к суду, что и произошло 18 ноября, когда все показания были заслушаны. Моя собственная речь звучала следующим образом:

«Могу в заключение сказать всего лишь несколько слов. Я состоял на службе в двух молчаливых ведомствах и сам тоже предпочел бы молчать. Но сейчас я говорю не только за себя.

Что делает моряк, когда погода и неправильное управление подвергают корабль опасности? Разве он отправляется в трюм, чтобы избежать ответственности? Разве он не делает все от него зависящее, используя всю свою силу и умения?

Я не пытался избежать опасности, но попытался определить ее причину и ударить. Таковы были мои намерения.

Моей целью был мир для моей страны и мира, в котором я жил. Вначале мне удавалось действовать в этом направлении, со временем мои усилия оказались безуспешными. В результате меня не понимают ни с той ни с другой стороны. Однако нельзя судить о поступке только с точки зрения его успешности или его понимания окружающими. Сегодня, анализируя произошедшее, я думаю, что поступил бы точно так же.

Действительно, существует некоторый предел, за которым уже само намерение действовать считается благом. Это особенно важно в том случае, когда речь идет о жертвовании человеческими жизнями. Знаю, что я ни разу не переступил этот порог.

По правде говоря, всегда останутся дела, которые хотелось бы сделать лучше и иначе. Человек никогда не удовлетворится тем, что имеет.

Думаю, что для меня было бы слишком самонадеянным пытаться судить самого себя перед тем Судьей, который встретит нас после могилы.

Наконец, мои слова благодарности. Прежде всего они адресованы тем, и их достаточно много, кто значительно моложе меня, тем, кто понимает меня, кто верит в меня и, возможно, последует моему примеру.

В то же время я приношу свои слова благодарности тем, кто проявлял добрую волю в те смутные времена, которые мы переживали. Перед лицом людей доброй воли разрубаются видимые политические границы.

Не в нашей власти гарантировать мир, но мир всегда приходит вместе с людьми доброй воли.

Я же желаю, чтобы те, кто стремится к миру, в будущем преуспели в этом и добились результатов там, где мое поколение не добилось успеха».

Сочувствующие и помощники, с которыми я общался с тех пор, как англичане сочли нужным выдвинуть против меня обвинения перед американским судом в преступлениях, достойных смерти (и настаивали на этих обвинениях), оказались самыми лучшими из тех, кого только можно было пожелать. Причем я не искал их. Одним из таких помощников стал друг моих детей Гельмут Беккер, начавший свою карьеру как адвокат. Он увлекся моим делом с огромным энтузиазмом. Обладая острым умом, он видел дело в целом, а не какие-то его отдельные аспекты. Беккер оказался достойным сыном своего отца, бывшего министра образования Пруссии.

Кроме него, был еще восхитительный, опытный, понимающий и участливый адвокат из Вашингтона Уоррен Б. Маги, с которым я вскоре оказался в доверительных отношениях (его добровольному сотрудничеству я обязан своим друзьям со стороны). Конечно, должен вспомнить и преданного друга еще со дней Ватикана Сигизмунда фон Брауна, необычайно заинтересовавшегося нашим делом. В конце упомяну моего сына Рихарда, который сделал все, что обычно стремятся сделать родители, помогающие и защищающие своих детей. Он отдал способности и целый год жизни мне, старому отцу. Никто бы не защитил меня лучше.

Ноша, которую мы несли на себе в эпоху доминирования мужчин – в 1933 – 1945 годах, теперь легла на плечи женщин. Следуя примерам своих предшественниц из древней истории Вайнсберга (известная история о том, как германский император Конрад III в 1140 году решил покинуть упорно защищавшийся перед этим Вайнсберг (близ Хайльбронна в Баден-Вюртемберге) только женщинам и детям, разрешив последним взять с собой самое ценное. Каково же было удивление монарха, когда он увидел, что женщины несут на собственных спинах защитников города – своих мужчин. – Ред.), они смогли бы на спинах вынести мужей из тюрем, если бы им только позволили это сделать.

Если не учитывать моего беспокойства за семью, дом и родину, могу сказать, что, как обвиняемый на Нюрнбергском процессе и заключенный, я приобрел крайне важный для себя опыт. Не могу считать проведенное в заключении время потерянным, иногда оно сопровождалось спокойствием и одиночеством, иногда «штормило». И все же хорошо, что оно было в моей жизни.

Один матрос, когда его судно бросало из сторону в сторону во время шторма в Северном море, сказал: «Мне жалко тех бедняг, что остались на берегу».

Такова наша жизнь на океанской волне.